

хищным птицам), мы лишь за высокими стенами нашего посольства и под его усиленной охраной позволяли себе роскошь посидеть часок с биноклями в зарастающем парке, наблюдая птиц.

АФГАНИСТАН

...я слышу возгласы «урус, урус!» и вижу пять человек афганской прислуги: один из них кричит мне: «боро!» (прочь, вон!) — и прицеливается из винтовки, а остальные, сделав злобные глаза, ругательски ругают Россию и Персию. Тогда я снимаю с плеч ружье и, поклявшись, что застрелю кого-нибудь, если не прекратят ругань, подхожу к изгороди и спрашиваю о причине подобного отношения. «Имеем хукму (приказание) от сагиба Тренча (английский консул...) не пускать русских людей к колодцам и гнать их выстрелами», — отвечает один из нахалов. «Боро!» «Попробуйте сделать это», — возражаю я и, велев передать мистери Тренчу некоторые эпитеты, приказываю развьючить часть каравана...

(Н. А. Зарудный, 1916)

— Да будет известно вам, — возвестил он, стоя неподалеку от трона... — что с нынешнего дня ваша страна объединяется со страной Чин, правителем коей являюсь я... Если вы не согласны с моим решением, я тотчас уничтожу вашу страну.

(Хорасанская сказка)

«10 июня. ...Гнездящиеся в парке советского посольства сокопуть упорно игнорируют войну, легкомысленно занимаясь своими семейными делами, словно ничего вокруг и не происходит. Выясняя отношения, подергивают себе франтоватыми рыжими хвостами. Мы же с Володиным, на фоне осадной кабульской жизни, наслаждаемся урываемыми минутами наблюдений за птицами с особым упоением.

Пройдя автоматчиков у входа, можно расслабиться, даже, где-нибудь подальше от дорожек, незаметно развалиться на зеленой травке под акацией, сквозь ажурную листву

которой просвечивает серое от жары, безоблачное хорасанское небо...

«В Хороссане есть такие двери, где обсыпан розами порог. Там живет задумчивая пери. В Хороссане есть такие двери, но открыть те двери я не мог...»

Цветов в посольстве полно, поистине райские кущи. Эдем за трехметровой стеной с охраной у ворот. Все поливается, поэтому заросли и буйство жизни — как в джунглях. Вон сорокопут, сидя на сухой ветке, ловит, слетая в траву, четвертую огромную сочную гусеницу подряд. Лафа.

Пошастать бы по горам, посмотреть, как там орлы, и вообще. Зарудный сто лет назад в этих краях фасциатусов встречал постоянно. Интересно, какая популяция здесь сейчас?

Сэр Володин, кстати, поработав в полусотне стран по всему свету и птиц насмотревшись всяких, за историей ястребиного орла следит по моим рассказам с особым вниманием, выделяя эту птицу даже на престижном фоне прочих хищников.

Порой, минуя охранника с автоматом, я прихожу в володинский ооновский офис выпить кофе. Здравуюсь с Наби, его элегантным секретарем — высоким крепким афганцем западного склада, проработавшим десять лет в Штатах (интересно, шпионит он за нами или нет?), вслепую печатающим на английском и на дари, иронически улыбающимся на наши шутки и остроты, но никогда не присоединяющимся к неформальным разговорам «белых боссов».

Подчеркнуто дружелюбно киваю ханумке средних лет, неподвижно сидящей в углу на стуле со стеклянным взглядом, каждый раз судорожно скукоживающейся от моих приветствий.

— Привет! Кофе будешь? — Володин не прочь оторваться от своих бумаг по поводу моего прихода.

— Буду. — Вообще-то я кофе не жаловал до приезда сюда, но уже научился пить его в любое время дня на ооновских ту-совках.

Володин по-английски обращается к Наби, тот на дари — к ханумке-статуе. Она встает, как робот-мумия, и молча выполняет простые движения, наливая и подавая мне кофе, пилушку с маленькими кусочками сахара, блюдечко с ореховым печеньем, а потом опять садится на свой стул с по-прежнему непроницаемым лицом.

Ритуал, порядок, иерархия. Восток. Три языка друг за другом, и все из-за одной чашки кофе. Вот она, чарующая и неподдельная прелесть бытия...

Я присаживаюсь у окна, рассматривая буднично копошащийся внизу Кабул. Сегодня воскресенье, но здесь выходной по пятницам; и не десятое июня сегодня, как у нас, а двадцатое марта по местному календарю. А год, так и вообще не тысяча девятьсот восемьдесят пятый, а тысяча триста шестьдесят четвертый.

Слева от дороги по крутому склону горы карабкаются нагроможденные друг на друга глинобитные постройки, создавая в совокупности некое единое грандиозное архитектурное сооружение, небоскреб не небоскреб, муравейник не муравейник. На дорогах — желтые, как во многих странах (но не в Союзе), такси и такие же желтые автобусы с окнами без стекол и со свисающими из дверей гроздьями пассажиров.

На всех перекрестках царндоевцы в высоких ботинках и с «калашниковыми». Интересно, о чем думает оружейник Калашников, когда сидит вечером около телевизора с белобрысым внуком на руках и видит в программе «Время» свой автомат по всему миру у всех враждующих сторон?..

Из сутолоки автомобильного движения, непривычно пестрящего множеством незнакомых марок машин, каждую секунду вырываются сиплые гудки клаксонов; городская суэта озвучена непрерывной какофонией бибиканья по поводу и без повода, — непривычно после Москвы. Выглядит все это как волшебный калейдоскоп, как карнавал или ярмарка, зазывающая и распеваящая на тысячу голосов.

А прямо под окнами — базар, чем-то похожий на ашхабадский. На земле под ногами у покупателей и продавцов снуют малые горлицы — те самые, что воркуют по утрам под моим окном в Кара-Кале. Изумительная птица. Прекрасная винная окраска, изящные миниатюрные пропорции, великолепный летун, но при этом безнадежно и восхитительно глупа... Впрочем, нет, она не глупая. Она — по-девичьи недалекая, вот как.

Солнце светит так же; камни и полынь по склонам те же, что и дома; солнце то же... Та же земля! Точно такая же. Ну, добрался сюда человек века назад чуть иначе; говорит чуть на другом языке; одежда немного другая; но как это все не важно на фоне абсолютно таких же холмов...



Пиджак бы снять, но при Наби, в этом офисе, вроде как на ооновской территории, неудобно в открытую с пистолетом. Распускаю галстук и достаю из дипломата бинокль. Через оконное стекло видно нечетко, но все-таки.

— Эй ты, псих, хоть отступи от окна, совсем-то уж откровенно не дразни снайперов... — Володин, пожимая плечами, крутит у виска пальцем и продолжает перебирать бумаги, сидя под голубым флагом на стенке, как настоящий азиатско-ооновский босс. Башлык.

Заграница: ксерокс под рукой, факс на тумбочке. Как подумаешь, что дома для копирования одной странички три недели бегаешь по инстанциям, собирая подписи кондовых бюрократов и раздавая шоколадки избалованным секретаршам, чтобы эту страничку *залитовать*, страшно становится. И потом, когда получишь копии, чувствуешь себя если не героем-победителем, то уж человеком, успешно справившимся с трудным и ответственным делом, а что на этой страничке написано, и не важно уже.

Народу на базаре не очень много; в основном мужчины. Когда здороваются с близкими знакомыми, в качестве сердечного приветствия следует тройное соприкосновение щеками, сопровождающееся поцелуями в пустоту (Васечка, дурачок, точно так же старательно чмокает изо всех сил губами в пустоту, еще не умея попасть в прильнувшую к нему щеку).

Национальная мужская одежда у афганцев — мечта: широкие порты в обтяжку у щиколотки, с веревкой на поясе и свободная рубаха, свисающая до середины бедра.

Все женщины, какие есть, в парандже, через сетчатое окошко которой лица совсем не видно. Интересно, каково младенцам, которых на руках тоже под паранджой таскают. Детей не видно, только два мальчишки, лет по десять, работают, перекладывая арбузы из одной кучи в другую.

Детям, как всегда, достается от войны больше всех. Как увидишь ребенка, поспешно подьедающего что-то на жаре из вонючего помойного бака, волосы дыбом встают.

Такси остановилось у подъезда министерства; не успел пассажир (шурави) вылезти, как к нему откуда-то из-под колес подскочил оборванный юркий старикашка, выхватил у шофера цепкими паучьими лапками чемодан, бегом пронес его к входной двери, скинул там и бегом, подобострастно ще-

рсясь беззубым ртом, потрусил назад с протянутой рукой, в которую получил раздраженно сунутые смятые афгани.

Не ропщи, старик, радуйся, что хоть это дали; считай, повезло; шурави к культуре чаевых непривычные. Взятки давать умеем, чаевые нет. Взятку даешь отчасти сам себе, для *своего дела*, в себя инвестируешь, а чаевые? Это же вроде как просто так, за красивые глаза, отдать кому-то свои кровные?.. «Да вы шо, робяты?..» Интересно, старикашка этот тоже на душманов работает?»

«18 июня. Утром встал в 4-40, умылся-побрислся — и на психодром. Еще один прикол: майдан в советском микрорайоне, площадь перед *клубом* — это центр многих событий.

С утра майдан — это не майдан, а *психодром*, по которому совграждане-шурави (т. е. мы) всех возрастов, мастей, всех степеней худобы и толщины носятся, скачут, прыгают, дергаются и мотаются для утреннего здоровья, как ненормальные. («Отдыхаем хорошо, только устаем очень...») Это отчетливая мода, которой почти все поголовно (но не Володин, лентяй) следуют; катастрофически массовый энтузиазм. Полезно, полезно.

Среди с остервенением занимающихся зарядкой шурави, как степенные цапли среди суетливых куликов, медленно прохаживаются царндоевцы в форме и с автоматами (посматривают на нас как на странных). Стою, машу руками-ногами у баскетбольной стойки, и все это представляется мне тюрьмой будущего, где все держится на самосознании и ретивой самодисциплине заключенных, а охрана лишь для проформы.

По вечерам майдан психодромом уже никто не называет, и никто по нему не бегают, по нему все прогуливаются степенно, беседуют, глазуют друг на друга, обсуждают новоприобретенные наряды, строят глазки, сплетничают, шумно здороваются с друзьями и прочим образом общаются. А на следующее утро это уже опять психодром. И я тоже по нему утром бегаю, потею, а вечером прогуливаюсь с Володиными, лясы точу, глазею на гуляющих женщин, мысленно представляя их себе в разных видах.

После зарядки и душа — завтрак, газета («Геральд Трибюн» — это вам не «Правда») — и на работу. Последнюю неделю работаем не шибко обременительно — лишь полдня. У

афганцев пост, во время которого днем нельзя ни есть, ни пить, ни курить, ни любить. Может, и не смертельно, но попробуй не попить хотя бы день; все усталые, раздраженные. Уже кончается пост, ждут сигнала из Мекки, когда луна взойдет.

И вот сегодня утром вышли на работу и видим: девочка идет маленькая в нарядном платье и подчеркнуто открыто несет поднос с куском хлеба и огромной прозрачной кружкой воды. Я еще удивился этому — уж как-то демонстративно все это выглядело, не сразу и сообразил, в чем дело.

Приходим к стоянке, а там ни одной машины: кончился пост, ни один афганец нигде не вышел на работу, праздник. Рамазан! Даже к министру шофер не приехал, пришлось большому начальнику (Каюми — министр образования, приятный скромный дядька) на собственной машине пилить на правительственную молитву в партийную мечеть.

Сегодня вторник, на работу теперь в субботу (которая по-недельник по-здешнему), капитальный загул; как у нас 7 ноября в былые времена. Мы все потоптались, погалдели, поздравились с праздником и разошлись по домам. И уже на обратном пути увидели появляющихся на улице гуляющих афганцев в праздничных нарядах — покрой обычный, но материя тоньше, и все покрыто великолепной однотонной вышивкой, очень элегантно.

Сами мы хоть и не мусульмане, но домой тоже вернулись в праздничном настроении: загул! Взяли с Володиным бинокли и отправились в честь праздничка хотя бы по охраняемой округе в микрорайоне птиц посмотреть.

Забавно, как все меняется, лишь только выходим «на птичек», словно в другое измерение попадаем. Работая с Володиным вместе на кафедре (столы рядом), в поле вместе ни разу не были. Плюс, конечно, местный колорит: стоим на мосту через сейчас сухое речное русло посреди города, охотники не охотники; шпионы не шпионы; гражданские не гражданские; военные не военные; и не будни, но для нас и не праздник; вроде и не до этого, а рассматриваем птиц в бинокли и обсуждаем, какие же перед нами на речной гальке трясогузки расхаживают, качают гузками, можно даже сказать, трясут... Как говорят здесь дукашники, всучивая товар, — «очень прекрасно».

«9 июля. Третий день подряд провожу орнитологические экскурсии для биологов-афганцев, преподавателей будущего



пединститута. Шапито. Потому что накануне ездили с нашими из проекта в военный лицей из пистолетов стрелять, там нас в очередной раз инструктировали на предмет поведения в городе, незапланированных разъездов, недопустимости отлучек и проч. А я сейчас шастаю с пятью афганцами по паркам города, и мы птичек наблюдаем в бинокли. Это занятие афганским коллегам в новинку, дивятся, улыбаются, но старательно записывают особенности определения разных видов. Может, из вежливости?

Позавчера наблюдали в парке лицея Джамаллудина, вчера — на горе посреди Кабула вокруг шикарного отеля «Интерконтиненталь».

Повсеместно полно истошно-крикливых майн, которые настолько доминируют своими пронзительными воплями и хулигански-бравым видом, что за ними все прочее разглядеть — уже проблема. Только попугаи им не уступают по крикливости, летают редкими, но шумными стаями — завезенный из Индии вид (зеленые, длиннохвостые, с сороку размером), а ведь прижились, умудряются как-то холодные зимы пересидживать.

Я хожу, рассказываю афганским товарищам на английском языке про удивительное гнездо замечательной птицы

иволги, поющей сейчас в кроне огромной акации, и думаю: а вот, не дай Бог, случись сейчас что, поможет мне мой пистолет и запасная обойма или нет? Смешно, право. Но для само-успокоения годится».

«11 июля. В выходной (пятница) с утра по микрорайону ходит дед, который гортанными криками предлагает мумиё. Запрещенный к вывозу товар, но чудодейственный (и впрямь заживляет все на глазах), так что покупаем, бодро настраиваясь на не очень преступную контрабанду.

Кладешь асфальтоподобный шмат в воду на два дня, все растворяется. Потом несколько раз отстаиваешь, сливая осадок. Потом стелешь на противень кусок полиэтилена и наливаешь на него эту темно-коричневую жидкость испаряться естественным путем. А после испарения остается то, что принято называть «чистым кристаллическим продуктом бадахшанского генезиса».

Мужики с таможни говорят: за последние годы четыре тонны уже конфисковали; отправляют на изучение в спецлабораторию; там и констатировано, что качество высочайшее, из всех видов природного мумия это — одно из лучших.

Вокруг всех этих хлопот все острят про *искусственное* мумиё по моему адресу, потому что, как здесь вычитали в старинном индийском трактате, для его изготовления надо взять *мужчину тридцатилетнего возраста европеоидной расы, предпочтительно рыжего и белокожего*, забить его, часть внутренних органов вынуть, часть оставить, нашпиговать травами и поместить в керамический саркофаг на энное количество лет в раствор специальных смол... Вот и шутят, что нечего возиться с выпариванием, а надо П-ва обработать по инструкции, и все дела.

Дед с мумиё ходит каждый выходной, а сегодня прямо под окнами еще и другой дед, появляющийся лишь пару раз за лето. Сидит под деревом, на ветке которого подвешен деревянный лук, а к нему привязан уже другой лук, побольше и с проволочной тетивой.

Афганки выносят этому аксакалу матрацы, набитые овечьей шерстью, распарывают их с одной стороны, вываливают кучу примятой шерсти на кошму. Дед запускает лук в слежавшуюся овчину и принимается колотить по проволочной тетиве палкой. В результате во все стороны летят клочки взбитой

и разрыхленной тетивой шерсти, а сама куча разбухает прямо на глазах. Ханумки уносят потом матрацы, становящиеся в четыре раза объемнее».

«24 июля. Вечером после кино в клубе и променада по майдану подошли к подъезду: темно, тепло, домой не хочется. Я на асфальте под фонарем зеленую жабу поймал (точно как в Тарусе на растрескавшемся асфальте около колонки), потискал ее, выпустил.

Сели на скамейку, завели какой-то разговор на предмет морально-аморальных мировых проблем; орали, орали; Ханум говорит, мол, вы что, больные, что ли, так распяляетесь, когда трезвые?

И в этот момент в кусте у нас за спиной запело какое-то ночное насекомое, ни разу такое не слышал. Володин вскочил, полез туда, но что увидишь в темноте? Так он не поленился, сходил на второй этаж за фонариком. Потом на коленках ползали с ним вокруг этого куста, пока Ханум подошедшим царандоевцам пыталась объяснить, что мы делаем.

Все как всегда: светишь фонарем прямо на точку, из которой звук исходит в полуметре от твоего носа, но не видишь никого; вот он, звук, но лишь ветки и листья, и больше ничего. Не нашли. Наутро этот куст трясли по дороге на работу, но тоже пусто».

«29 июля. Сегодня было землетрясение. Сiju в полдень за столом, вдруг стены и потолок затряслись мелкой дрожью, Ханум заголосила из соседней комнаты: «Сереж! Землетрясение!!» Вскочили, я кинулся к столу за пакетом с паспортом, подхватил футболку и пистолет, а Танька вопит: «Нельзя на улицу, стой под *несущей балкой!*» Стоим в коридоре под *несущей балкой* между шатающимися стенами, неприятное ощущение; не доверяю я даже несущим балкам в советских хрущевках.

Хотя это все же лучше, чем втроем в тесном сортире во время ракетного обстрела, когда Ханум сидит на унитазе, как леди, с невеселым лицом и напряженно сцепив руки, а мы с Володиным стоим, почти распластавшись вдоль стен, как ее пажи или стражники. Выглядит ситуация так, что вроде самим смешно, но контекст ее таков, что не особенно и посмеешься; особенно когда ракеты воют на подлете и потом взры-

вы грохают, а ты стоишь и каждой фиброй пытаешься понять по звуку, на тебя это летит или нет... А сортир — самое безопасное место в такой обстановке, это уже без шуточек и проверено в совсем несмешных ситуациях (при анализе разрушений после обстрелов).

Короче, когда я Ханум на улицу вытолкал, там уже полно народа. Тетки растрепанные в халатах, мужики чуть ли не в семейных трусах. Сильнее трясти не стало, поэтому все постепенно «ха-ха, хи-хи», но явно в мандраже. А вода в арыке качается, как в неустойчивом корыте — очень странное зрелище, и ощущение странное — нет надежности в привычно незыблемой земной тверди.

Разговоры, ясное дело, весь день только про землетрясение. Света из нашего проекта при знаменитом землетрясении в Ашхабаде в сорок восьмом провалилась в колыбели вниз с верхнего этажа в рухнувшем здании, ее плитой накрыло; когда нашли — спала.

Всплыло, что очень многие с утра чувствовали себя необычно плохо. И правда, Ханум на работу не пошла из-за ужасной головной боли, сказала, что заболевает; я сам дома остался, потому что Карим ко мне лекцию переводить не приехал (жена неожиданно слегла с сердечным приступом).

Володин землетрясение пропустил, ехал в машине, не почувствовал ничего, догадался лишь по суете на улицах; отменил дела, принесся домой узнать, как и что у нас. А я решил, что буду теперь на всякий случай спать в галстук и с паспортом в кармане, чтобы не выглядеть потом глупо в посольстве, когда будут разбираться, кто есть кто среди полуголых шурави без документов...»

«10 сентября. Из окна володинского офиса всегда видно внизу множество людей. О том, что у них на уме, можно только догадываться. Много загадок в восточной жизни. И в культуре, и в религии, и в экономике.

Красивый народ. Мужики-афганцы — все как на подбор. Как и наши южане. Жаль, что не получается у нас с южанами. Второй век не получается. Как царь-батюшка залудил войска на Кавказ, вырубая леса и выжигая селения, так и не получается. А уж как Коба, козел, накрутил делов с переселением народов, так и вообще пиши пропало. Обидно мне это, ох обидно. Ни с кем таких уважительных и легких отношений у

меня не было, как с нашими кавказцами. Легкий на общение народ. Особенно в глубинке. И уважительный. Гордые, а раз есть самоуважение, то есть и уважение к другим. А уж когда расскажешь, что птиц приехал изучать, тогда вообще после первого недоумения — вдвойне радушие (как к больному, что ли?), и как-то оно мне особенно созвучно: чувствую именно то, к чему всю жизнь стремлюсь — взаимное щедрое товарищество.

Здесь могло бы так быть? С теми афганцами, с которыми работаем, вроде хорошие отношения (насколько могу судить со своей колокольни, понимая, что чужая душа — потемки, а уж восточная — вдвойне). Но большинство наверняка в гробу нас, шурави, видали.

Только меня не убивайте. Я не оккупант. Я при ЮНЕСКО для ваших будущих студентов учебник сочиняю. И Володина не убивайте — он при ООН и тоже не оккупант (и тоже сидит сейчас с «макаровым» под мышкой...) И Ханум, жену его, не убивайте, она-то уж точно не оккупант. А кто оккупанты? Вон те девятнадцатилетние пацаны в пропотевшей форме, что режут дыню на бэтээре? С кем же тогда бороться кровожадным моджахедам, если мы здесь все такие хорошие?

Солдатики-то наши здесь по приказу, вот уж у кого выбора не было. А вот мы-то, «гражданские специалисты», здесь добровольно. Экзотики понюхать, престижную *заграницу* посмотреть, деньгу подзашибить. «Ташакор тебе, Кабул, ты одел нас и обул...»

Кстати, наше совдеповское жлобство принимает здесь самые разнообразные формы. Дуканщики на маркете обсуждают сейчас, как проработавшая тут три года «красивая Наташа» (секретарь-машинистка из экономического проекта), с которой все продавцы кокетничали с удовольствием, прошла давеча по рядам дуканов, набрала всего у всех, привычно получив кредит до понедельника, а наутро улетела в Союз — и с концами (контракт закончился).

Иду я на днях по майдану, еле ташу сумку с дарами природы, которые мы с Ханум на рынке накупили: лук, салат, петрушка, редиска круглая красная, редиска длинная белая, редька, картошка двух сортов, яблоки, груши (офигенные груши, «Бэлла» называются — насквозь просвечивают, словно светятся изнутри), огурцы, помидоры, гроздь мелких индийских бананов (дорогие), дыня. Радуюсь, что манго хоро-

шие попались (любим манго), вспоминаю, как Зарудный описывал хорасанское земледелие в своих экспедициях («Шалган походит на репу, но не так сладок. Торп имеет вид крупной редиски, но далеко менее остр»).

Чего это мы, прямо как с ума сошли, нахватили всего подряд, словно голодные, которым вдруг деньги перепали. Я сразу заявил, что укроп и прочую зелень мыть не буду, не занимался! Хватит того, что помидоры щеткой тру, расскажи кому в Москве — засмеют. Ладно арбуз щеткой мыть, это еще куда ни шло, но уж огурцы с помидорами — дурдом, да и только.

А куда денешься? Мытье овощей и фруктов здесь — то ли рабство, то ли бесплатное кино. Сначала все кладется на пятнадцать минут в пополам разведенный уксус. Потом каждый корнеплод и прочий райский овощ персонально моется вручную щеткой со специальным пищевым финским мылом (здоровый зеленый брикет). Потом все снова споласкивается уксусной разбавкой, а уж потом начисто моется кипяченой водой. Ужас. А иначе запросто подцепишь что-нибудь, и хана; сиди потом весь рабочий день на горшке; примеров предостаточно.

Короче, подхожу с этой сумкой к *совмагу* сигарет купить: там втрое дешевле, чем в дуканах. Был как раз понедельник — наш день в совмаге, отпускали по ведомости проекту пединститута (я на ней снизу от руки приписан как консультант). Закупаем в совмаге популярные товары, и все отмечается в ведомости (в прошлый раз народ с воодушевлением набирал селедку и майонез). Раз в месяц брали и «норму» — полагающуюся на человека бутылку водки, — но лишь до небезызвестного постановления; теперь боремся с пьянством, как и вся наша далекая страна.

Так вот, у входа в совмаг крутится пацан шуравийский, ждет мамашу. Ходит, неудобно засунув кулак в нагрудный карман клетчатой рубашки, бубня что-то про себя. Вижу, распирает его прямо, подхожу... Он, как поймал мой взгляд, прямо кинулся ко мне и бережно раскрывает потный кулак: «Дядя! Смотрите! Мама купила мне три сливы!» Трам-та-ра-рам, думаю, честное слово, дожидаться бы сейчас эту ханумку да накрутить ей хвоста под видом особиста за такую экономию и урон советскому авторитету... Впрочем, какой из меня особист с этой сумишей...

Обсуждали это вечером. Наши мужики из проекта собираются иногда вечерком в преферанс поиграть, так, входя, складывают пистолеты на стол в прихожей. Преферанс — дело такое, сидят до последнего, когда уже бежать надо, вот вот *дрейш*, то есть комендантский час, когда часовые-царандоевцы, завидев кого-либо на улице, орут ужасающими, гортанно-звериными воплями: «Дрейш! — Стой!» (европейцу так вовек не крикнуть). Тут картежники вскакивают, оружие свое в толкотне расхватывают, распихивая по карманам, а жены на них покрикивают, чтобы опять пистолеты не перепутали...

В микрорайоне между нашим домом и домом напротив поставили недавно еще один бэтээр, так под ним через неделю уже все окрестные собаки ночевали. Как ни посмотришь из окна, в люке торчит то хвост, то голова толстого черно-белого щенка. Потом бэтээр уехал, а щенок этот день за днем все лежал на том самом месте и еду ни у кого не брал. Потом уже другой бэтээр поставили недалеко, и вскоре этот пес уже гордо на нем восседал вместе с нашими солдатами. Как с грустью сказала, проходя мимо и глядя на это, наша соседка, медсестра из госпиталя: «Хоть кто-то здесь рад нашему присутствию...»

О, вон наш самолет летит, празднично отстреливая из-под хвоста ярко горящие шашки для отвода теплонаводящихся ракет. А взлетают самолеты в аэропорту всегда очень круто, сразу вверх, вверх; а ночью гудят без бортовых огней. И всегда пара вертолетов при взлете в воздухе для прикрытия; вертолеты здесь — дружные животные, всегда парами или стайками.

Горы как в Кара-Кале. Пройтись бы по ним ногами, а то все на машине и на машине, не сунешься пешком никуда. Солнце то же самое. Горляшки те же самые. Одна загнездилась на балконе; точно так же замирает в испуге, когда выхожу покурить, как и у Муравских на веранде под козырьком крыши. Я сам был там, сейчас здесь. А контекст ситуации другой...

Иногда в такой момент Володин, продолжая заниматься бумагами, вдруг спрашивал меня, стоящего у окна, про Туркмению и про орлов что-нибудь совершенно неожиданное и конкретное, явно не согласующееся с текстом читаемого им документа...

Из окна «тойоты» мы раз за разом рассматривали окружающие Кабул, недоступные для нас предгорья Гиндукуша, ще-

мяще похожие на Копетдаг, — даже пыль и ветер там пахли так же, как в Туркмении. При этом мы нередко говорили о фасциатусе, встречающемся и в Афганистане тоже, и порой всерьез высматривали его в парящей на горизонте хищной птице...»

НОЧЬ В КАБУЛЕ

У меня проходит сон, но я не сожалею о нем, так как чувствую, что и без него хорошо отдыхаю в наступившей тишине... Душою моею овладевает беспричинный восторг; я люблюсь на блестящие звезды, прислушиваюсь к неясным звукам горячей южной ночи, наслаждаюсь одиночеством и восхищаюсь тишиною.

(Н. А. Зарудный, 1901)

Горько плачет он ночью, и слезы... на лантах его...

(Плач Иеримии, I: 2)

«25 августа. Проснулся оттого, что на руке пикнули не выключенные перед сном часы. Три часа. Проснулся с праздничным ощущением здоровья и благодати жизни.

Встал, умылся, вышел на балкон. Темнота.

«Отчего луна так светит тускло на сады и стены Хоросса-на? Словно я хожу равниной русской под шуршащим пологом тумана...»

Ночь еще летняя, очень тепло. Но уже не то тепло, которое характерно именно для тропических стран, которое, будучи россиянином из средней полосы, постоянно отмечаешь с удивлением. Выходишь ночью на воздух, накатывающий на лицо теплыми волнами, и раз за разом ощущаешь, что в сочетании с ночной темнотой это очень непривычно для человека, выросшего в средних широтах. Нет, сейчас уже не так. Уже чувствуется, что это тепло вот-вот начнет сменяться летней ночной прохладой.

Небо черное, но звезды где-то далеко. Такое чувство, что отсюда до них дальше, чем это казалось дома. Из-под балкона, снизу-сбоку, раздается приглушенный разговор царандовцев; не спит охрана.

И вдруг накатило (почему-то почти до слез, пардон уж за сантименты) воспоминание о всех былых ночах, когда доводилось остановиться вот так, глядя в теплую ночную темноту, и ощутить такую волнующую и щемящую исключительность этого ночного тепла и собственного в нем пребывания. Даже шире: собственного и всеобщего в нем бытия.

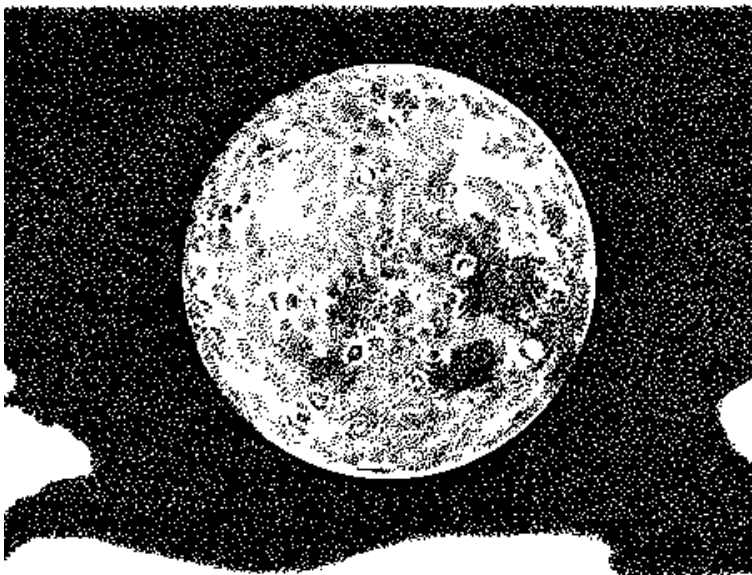
Всегда так — вспоминается обо всем сразу, когда накатывает ощущение беспричинного счастья. Почему в несчастье думается о чем-то конкретно, а в счастье — обо всем сразу? А стержень ассоциаций — именно ночное тепло.

На его фоне конечно же в первую очередь вспыхивает Туркмения, Кара-Кала, Сумбар и Копетдаг. Громаднейший, значимейший кусок, последняя стометровка юношеского разбега, как у самолета перед отрывом от взлетной полосы. Когда предварительные проверки-продувки уже позади, когда энергия прет, когда ее с запасом, когда все движение ориентировано вперед и никаких раздумий (взлетать или не взлетать) уже нет. Когда ясно, что все дальнейшие резервы, возможности и главные летные качества машины можно будет оценить уже лишь после взлета... (Хе-хе, многовато на себя берем и слишком патетически звучим... «Рожденный Полозовым летать не может!..») Хотя, с другой стороны, подумаешь, делов-то... Ведь *лететь* само по себе не многого стоит. Гораздо важнее — куда, зачем и с кем...)

Вспоминаются сразу все былые кара-калинские луны, горящие, как анти-солнца, прохладным белым ночным огнем. Либо через ветви мелии в ВИРе, либо высоко и кругло над голыми пустынными холмами. Над неожиданным и близким раскатистым хохотом шакалов, из-за которого идущая рядом девушка-женщина, которая в такой момент кажется девочкой-ребенком, вдруг цепляется тебе за руку от страха, а потом сама смеется над своим инстинктивным испугом.

Или ночь над долиной Сумбара, когда машина останавливается, молкнет ревуший мотор, и, вдруг разом, словно из ниоткуда, появляются горы по краям долины, нависающие над дорогой скалы, черное небо над ними, шум текущей реки, и эта молчаливо светящая надо всем и всеми огромная, спокойная, искусственно-яркая луна.

Или когда, наоборот, трясешься ночью в кузове без остановок, вповалку со студентами; кто-то спит, кто-то смотрит назад по движению застывшим взглядом. От теплого ночного



воздуха не холодно даже во время езды, хотя лицо на ветру остыло. Когда все условности растворяются в лунном свете, и первокурсница может вжаться в тебя целиком в этой груде спрессованных в кузове тел, но все происходящее под этой лунной настолько ирреально, настолько значимее человеческих масштабов, что снисходит высшее целомудрие, рождающее шемящее, до слез, ощущение всеобъемлющего счастья и, как всегда в такие моменты, восторженное, щедрое и искреннее пожелание счастья «для всех даром!».

Или другой пласт — Аграхан на Каспии. Другой воздух, другой запах, никаких скал, один песок, но такое же ночное тепло и лунный свет. Прибрежная равнина под полной луной; море, перемешивающее нас с Ираном; тростники; непостижимая огромность всех этих равнинных пространств; лишь угадывающаяся, но не поддающаяся разумению мощь дремлющих стихий, для которых эти бескрайние просторы — ничто, микромир, точка в беспредельности. И вот во всем этом — ты, такой маленький, но такой близкий сам себе; и, хочется верить, близкий тем, кого любишь; идущий к огоньку экспедиционного вагончика по ровной и мягкой песчаной дороге вдоль берега.

Но главное всего вспоминается теплая летняя ночь в Едимново на Волге: полная луна; мне пять лет; родители

младше, чем я сейчас. Сидим с Мамой на скамейке на берегу и смотрим на мерцающую лунную дорожку, волшебной диагональю рассекающую черное водное пространство. И вдруг на эту сверкающую полосу из темноты всплывает лодка — это Папан с Ирисой плывут на веслах проверять перемет, а меня не взяли, потому что хоть и тепло, но ночь, а я маленький...

Почему же именно ночью так отчетливо и полно ощущаешь и осознаешь частицу счастья, щедро отпущенного тебе в краткий момент твоего земного бытия? Так емко впитываешь вечность и целостность всего, что вокруг? Ироничную мимолетность собственного нынешнего существования и всеобъемлющее могущество вечного Целого, микроскопической Частью, частицей воплощенного в тебе самом и в тех, кто рядом? Кто так же, как и ты сам, весело мелькнет в одно мгновение и так же исчезнет навсегда. «Бас-халас»...

Как же пронзительно обидно это «исчезнет навсегда». Насколько обидно, что не воспринимается всерьез. И верится поначалу, что уж ты-то будешь во всем этом вечно.

Может быть, в этой горечи, выражающей почтительную невозможность согласиться с тем, что когда-то ты навсегда будешь вырван из этой подлунной жизни, и кроются истоки веры в бессмертие души и во множественность ее форм? И может, это лишь подсознательное желание не отрываться от ночной подлунной красоты, рождающей слезы счастья на глазах? Желание и потребность ощутить что-то, дающее надежду быть сопричастным к этому великолепию вечно? Даже и не важно, в какой форме?

Ведь человек перед Богом, перед миром вокруг, перед природой всегда был, есть и будет как ребенок перед матерью: днем и капризничает, и подчеркнута игнорирует, и демонстрирует свою полную самостоятельность; порой обижает, под детски отрекается, делает больно... Но ночью наступает момент, когда вдруг становится беспокойно или откровенно страшно, и тогда уже ничего не надо, кроме как приблизиться к знакомому и надежному, ко всепрошающему, которое всегда защищало и сейчас должно защитить. К ночному теплу, пронизанному лунным светом, которое спасет от всех бед, от всех невзгод; главное — лишь не потерять возможность ощутить его иногда. И вот в такой момент готов заплатить любую цену, чтобы остаться хоть чем-то, хоть осколком чего-то во всем этом вечном Целом, погруженном в лунный свет...

Но на самом деле все, наверное, совсем не так. Волнение от подлунной красоты — это скорее не стремление остаться *здесь* подольше, а лишь тренировка души перед тем, что ждет *там*, *впереди*, после ухода отсюда. Потому что, хоть и заманчиво порассуждать о самодостаточности рая и спасенной в нем души, но уж больно идилически это звучит, чтобы быть правдой.

Во-первых, жизнь на небесах наверняка не так проста, как кажется. Во-вторых, Бог нас самих, я надеюсь, уважает больше, чем принято думать; уважает достаточно, чтобы не унижать блаженством на халяву.

«Не на халяву, а за праведную жизнь!» — во, делов-то. По-человечески жить надо, не рай себе зарабатывать, а просто чтобы свиньей не быть. Честная жизнь — это не особая заслуга, это прожиточный минимум.

Никогда не поверю, что Он возносит в вечное блаженство без необходимости последующей работы над собой не только здесь, но и там, уже вне земной подлунной жизни с ее днями и ночами, солнцем и луной, четвергами и вторниками... Ни фига подобного. Любишь кататься — люби и саночки возить; это — незыблемый закон. Лямку тянуть и там придется. Хотя вся разница, наверное, в том, что там эта лямка — не лямка, а эти саночки — никогда не в тягость. Потому что там — *Все Всегда На Вдохновении*. Кто испытывал вдохновение здесь, тот меня поймет. Жаль, что не всем туда дойти... А ведь уже скоро, «...ибо время близко»...

Надо же, ни одного комара.

Ночь. Луна. Тепло...

«Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Буду резать, буду бить. Все равно тебе водить...»

26

— Что кроется за всем этим? Надо мне побыть здесь денек-другой, быть может, удастся разгадать тайну...

(Хорасанская сказка)

В итоге прошел еще год, прежде чем я, сразу после Афганистана, зимой опять приехал в Туркмению и узнал, что в нескольких километрах от Казан-Гау, где я показывал Роману

орлов два года назад, он видел каких-то молодых летающих птиц, которых предположительно определил как слетков ястребиного орла. Я, после долгих размышлений, с некоторым скрипом согласился по его описанию и по одному нерезкому слайду с этим предположением и в продолжение предшествующих работ даже написал об этом факте небольшую заметку под двумя нашими фамилиями.

Выводок этот почти наверняка принадлежал виденным нами ранее у Казан-Гау орлам, потому как наличие другой пары в нескольких километрах от наблюдавшихся птиц вряд ли можно предполагать. Исключительная, рекордная, известная близость двух соседних пар — два с половиной километра, но это в Испании, где ястребиный орел многочисленнее, чем где-либо; а в Копетдаге, на краю ареала, такое совершенно невозможно; фасциатус даже в Индии не гнездится с плотностью, допускающей столь близкое соседство двух разных пар.

И вообще, вопрос был далек от разрешения: слетков неоднократно видели и раньше в других частях Средней Азии, а гнезда с яйцами или нелетающими птенцами — единственного однозначного свидетельства гнездования — не было. Имевшиеся факты все сильнее подталкивали к подтверждению статуса ястребиного орла как гнездящегося в СССР вида, но кристаллизации этих данных не происходило.

Мы предприняли с Романом выезд к тому месту, где он видел птиц, посмотрели на Казан-Гау с противоположной Чандыру стороны, но это ничего не добавило в нашу копилку.

ВЕЧНАЯ ВЕСНА?

...мужчины добродетелям своей жены неизменно предпочитают пороки чужой...

(Хорасанская сказка)

«30 ноября. Здравствуй, Роза!

Про абортивный цикл у птиц слышала? Это когда осенью многие птички вдруг начинают сходить с ума, как в весеннем любовном порыве. Обрати внимание — солнечным

осенним днем воробьи около метро безумствуют, как молодые, ухаживая за самками шумными гусарскими компаниями. Так вот — это все потому, что освещенность осенью похожа на весеннюю, что их и обманывает. Многие даже строят гнезда осенью и пытаются спариваться, бедолаги, но безрезультатно.

Впрочем, кто знает, может, это наше, человеческое, понимание воробьиной жизни, а для самих воробьев это как раз сладостная возможность отдалиться безумству и искушению, не страшась последующих родительских обязанностей?.. (Шутка.)

Это все к тому, что сегодня, за один день до начала зимы, по всей долине Сумбара над опустыненными холмами, как и всю предшествующую неделю, расппевают, летая кругами в вышине, лесные жаворонки. Солнце светит, тепло, но ведь никакие другие жаворонки (а их здесь полно) не поют, а вот лесной (еще называется «юла») поет в массе и прямо-таки на надрыве. Почему? Что за особый талант? Откуда такая любвеобильность?

Хотя на фоне прочих жаворонков юла конечно же многим отличается и по экологии (живет в России по лесным опушкам, перелескам и вырубкам), и по поведению (грустная повторяющаяся ритмичная песня вместо типичной журчащей трели; стаи меньшей численности; кормится иначе).

Самобытная птичка».

ЧИБИС

— Кто знает меня, тот пусть знает, а кто не знает, тому я скажу, что...

(Хорасанская сказка)

«16 декабря. Дорогой Васечка!

Сегодня вспугнул с поля от Сумбара сорок семь чибисов. Помнишь, мы видели чибиса в деревне на мокром поле? Что за птица! Мечта. Не знаю другого вида, который бы выглядел одновременно так элегантно, так нарядно и так по-доброму. Какое бы ни было у меня настроение, как увижу чибиса с его смешным хохлом, сразу легчает на душе.

Здесь у нас чибисов нет; эта стая — явно пролетные отдыхающие птицы. А я не дал им посидеть. Набрали сразу большую высоту, покрутились над этим местом, как бы говоря: «Мы здесь чужаки, пролетом...» — перестроились несколько раз, словно принаравливаясь к продолжению далекого пути, и полетели вдоль долины к неведомой для меня, но, видимо, хорошо им самим известной цели.

А весной они полетят назад, на север, в наши края. Но это еще не скоро. А я вот уже скоро приеду, и мы все вместе отметим Новый год! Будь здоров! Целую тебя очень крепко».



СТРАННО

Ведь я — существо земное, а провела всю жизнь на дереве...

(Хорасанская сказка)

«17 декабря. ...Два больших баклана летят над опустыненными холмами. Причем летят не транзитом, как летают уверенно мигрирующие даже над не подходящими для остановки местами птицы, летящие откуда-то издалека куда-то далеко, а мотаются потерянно, словно не зная сами, зачем они здесь оказались и что здесь делают. Видеть морскую птицу в пустыне нелепо: «Подводная лодка в степях Украины».

ЗООСЮР

Никогда еще не видывал я такого!

(Хорасанская сказка)

«15 января. ...Самолет садится в Ашхабаде. Каждый раз, прилетая в Туркмению, я сижу перед посадкой в снижающемся аэроплане, специально обращая внимание на специфичес-

кий запах в салоне. Воздух, пропущенный через фильтры и вентиляторы, насквозь пропитан искусственными запахами пластика, металла, обогревателей и кондиционеров. Это самолетный воздух.

А принимаюсь я к нему потому, что в радостном нетерпении жду момента, когда, нагнув голову, выйду из проема самолетной двери и, сделав первый шаг на трап, вдохну столь особый легкий азиатский воздух, совсем непохожий на прохладный, влажный и густой московский, из которого я улетел три с половиной часа назад. И увижу Копетдаг на горизонте.

Запахи не забываются, поэтому, когда этот момент наступит, я с первым же вдохом туркменского эфира, сочетающего в себе запахи дыма тандыров, хлопкового масла из раскаленных жаровен и таганов, прохладного зноя зимней пустыни, пыли и еще чего-то неведомого, в мгновенном восторге яркой вспышкой вспоминаю свой прошлый прилет сюда и все, что происходило со мной в Туркмении ранее.

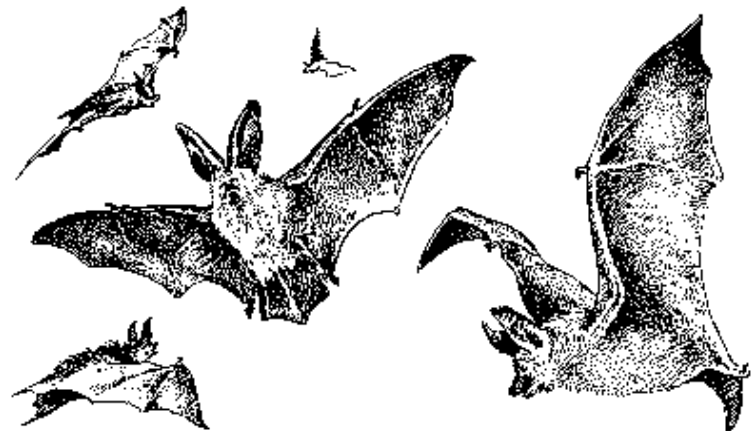
Проезжаю от самолета к зданию аэровокзала в автобусе без сидений и останавливаюсь с прочими пассажирами в ожидании багажа. Ждем на улице. На небе ни облачка, солнце сияет всюду; январь, теплынь, явно за двадцать.

Осматриваюсь по сторонам и вдруг ловлю себя на ощущении, что в окружающем что-то не так. Что-то неправильно. И в следующий момент уже понимаю, что именно. Присматриваюсь и не верю своим глазам.

Около белой стенки одного из зданий, сияющей на солнце так, что невольно прищуриваешься, под козырьком крыши я вижу порхающие черные силуэты четырех... летучих мышей!.. Зимой. В полдень. На солнечном припеке. Полный атас.

Первая ошалелая реакция сменяется невольным изумлением и преклонением перед изяществом происходящего в природе.

Проигрывая в конкуренции с птицами (птицы — более совершенные летуны) и будучи отжатыми из дневной активности в ночную, летучки мгновенно используют кратковременное зимнее послабление в этом конкурентном противостоянии: зимой стрижи, ласточки, мухоловки, славки и пеночки далеко в Африке. Их экологические ниши можно временно занять, изменив даже столь типичному для себя ночному об-



разу жизни. Великолепно. (Через несколько лет я увижу такое же на зимнем солнцепеке у диких скал в долине Сумбара.)

Вспомнил увиденное вечером, уже в сумерках, и думаю: во дела-то... Изменись вот так что-нибудь более важное в нашем подлунном мире, ослабни снаружи или внутри нас Госконтр-роль, ползут ведь упыри и вурдалаки со всех сторон на белый свет... Упаси Господи».

ХОХЛАТАЯ МОЛОДЕЖЬ

— О наивные юноши!..
(Хорасанская сказка)

«22 января. ...Кормясь около кустиков полыни, хохлатые жаворонки периодически с особой силой колотят клювами по ее стеблям, склевывая затем свалившиеся на землю семена. Некоторые даже ложатся под кустик, сильно клюют по нему, а потом склевывают вокруг лежа, не вставая: и кормишься, и отдыхаешь, и для хищника менее заметен.

Еще они непревзойденные долбители. Острый клюв этого вида работает как долото, когда, размахиваясь так, что спина прогибается назад, и привставая на лапах, хохлатые жаворонки мощно долбят землю, выдалбливая и выковыривая зимой семена, а весной — насекомых (с глубины аж сантиметра три). Наблюдал одного, долбившего, не переставая,



на одном месте двадцать три минуты; выкопал целую яму.

Молодые птицы, видя в стае, как это делают взрослые, стоят рядом с ними, внимательно наблюдая происходящее, по-куриному наклоняя голову и поворачивая ее то одним, то другим глазом, а потом отбегают и начинают изо всех сил, «с упорством, достойным лучшего применения», долбить землю сами просто

так. Не озадачиваясь особо тем, что долбить-то надо со смыслом, добывая жука или жирную вкусную личинку, окупающих столь высокие затраты и усилия. *Молодежь, как всегда, долбит сначала просто ради того, чтобы подолбить.* Молодо — зелено; школа жизни. Использование этого приема всерьез придет позже.

Привык я к хохлатому жаворонку, везде он меня здесь сопровождает: и в холмах, и среди скал, и на дорогах в аулах. А его свистяще-мяукающий позыв — самый узнаваемый звук из Туркмении. Спроси, какой звук символизирует для меня Копетдаг, не раздумывая отвечу: позыв *Galerida cristata* (Галерида кристата) — хохлатого жаворонка».

ЧЕТЫРЕ РАЗА ПО СОРОК СОРОК

Достоинства наружности сороки справедливо оцениваются весьма немногими. Встречайся она редко, все бы, наверное, восхищались и ее длинным с металлическим блеском хвостом, и снежно белизною груди, и общей грациозностью фигуры.

(Н. А. Зарудный, 1888)

«3 февраля. Дорогая Дашенька!

Когда я не в горах, по вечерам часто выхожу в дендрарий ВИРа посмотреть ночевку птиц. Дендрарий — это как густой лес, а настоящих лесов здесь вокруг уже почти совсем нет. Поэтому лесные птицы, прилетающие в Туркмению на зимовку, днем едят, что найдут, в окрестных холмах, а на ночь собираются в дендрарий: спать на деревьях безопас-

нее. Местные древесные птицы тоже скапливаются здесь в самых густых зарослях.

И вот сегодня я видел на одном дереве сразу сто шестьдесят сорок! Ты ведь помнишь, как громко сорока стрекотала в деревне летом. А теперь представь, что их сто шестьдесят и все они стрекочут! А смотреть на них при этом еще более удивительно: они сидят на высоком тополе, который сейчас, зимой, без листьев и весь насквозь просвечивает, а сороки выглядят на нем как какие-то черно-белые украшения. И все время перепархивают и подергивают своими длинными нарядными хвостами. А наговорившись про свои дневные новости (слышала выражение «Сорока на хвосте принесла?»), они все соскакивают вниз, в кусты колючей ежевики, и там уже могут спать спокойно: в таких колючих зарослях им ни один хищник не страшен...

И еще про сорок интересно. Их много-много кормится в ВИРе на пашне, где только что посеяли ячмень. Эти хитрюги конечно же тут как тут, поклевать дармовой еды, это дело обычное. Но когда наблюдаешь за ними внимательно, удается увидеть много интересного, чего обычно не замечаешь.

Например, то, что все сороки разные по характеру. Оказывается, есть среди них смелые птицы, которые других собратьев не боятся, кормятся себе, не обращая на соседних птиц никакого внимания, расклеивают неторопливо семена прямо на пашне, прижав семечко пальцем к комку земли. Если к ним кто-то суется слишком близко, такие сороки-командиры сразу наскакивают на невежливого соседа и нередко задают ему трепку: валят на землю, наступают лапой на живот и при этом кричат, хлопают крыльями, создавая шум, гвалт и всеобщую сумятицу, когда все окружающие птицы смотрят на происходящее и запоминают, что к таким драчунам лучше не соваться.

А есть сороки пугливые, которые сразу шарахаются от любой приближающейся к ним птицы. Этим и поесть-то спокойно не удастся, они спешат нахватать как можно больше семян, набивают ими мешок под клювом и отлетают расклеивать уже куда-нибудь в укромное место за деревьями.

Сороки всегда очень внимательно наблюдают за собратьями, таскающими в клювах что-то необычное. Одна птица прилетела на пашню с маслиной в клюве, так за ней несколько других сорок гонялись поочередно, так и вынудили улететь. А ведь они часто и с несъедобными предметами играют,

такие уж любопытные птицы. Слышала, говорят: «Сорока-воровка»? Это потому, что они часто даже у людей интересные и блестящие вещи таскают.

Необычно то, что среди сорок здесь на пашне были две сороки-инвалида. У одной отломана верхняя половинка клюва. Она выискивает семечко в земле, подцепляет его снизу под клювом, как ложкой, подкидывает слегка в воздух, хватается ртом на лету и вынуждена глотать не расклеывая.

У второй птицы нет одной ноги. Она кормится, прыгая на одной лапе. Удивительно. Никогда не думал, что птицы с такими увечьями могут выжить. А вот надолго ли?

Интереснейшая птица. Летом мы с тобой сорок специально наблюдаем.

Целую тебя и до свидания. Передай там привет Маме Розе».

МОББИНГ

Затем поднимите шум, тогда прибежит жители... и собственными глазами узрят грязные проделки сих нечестивцев...

(Хорасанская сказка)

«22 января. ...Раз за разом, наблюдая моббинг — окрикивание хищника потенциальными жертвами в ситуации, когда он не представляет для них реальной опасности, поражаюсь тому, насколько своеобразно это явление.

Вдохновеннее всех других птиц окрикивают хищников врановые. Летит себе солидный канюк или орел по своим степным делам, вдруг к нему прямой наводкой (порой подлетая специально аж с полукилометра) — несколько ворон.

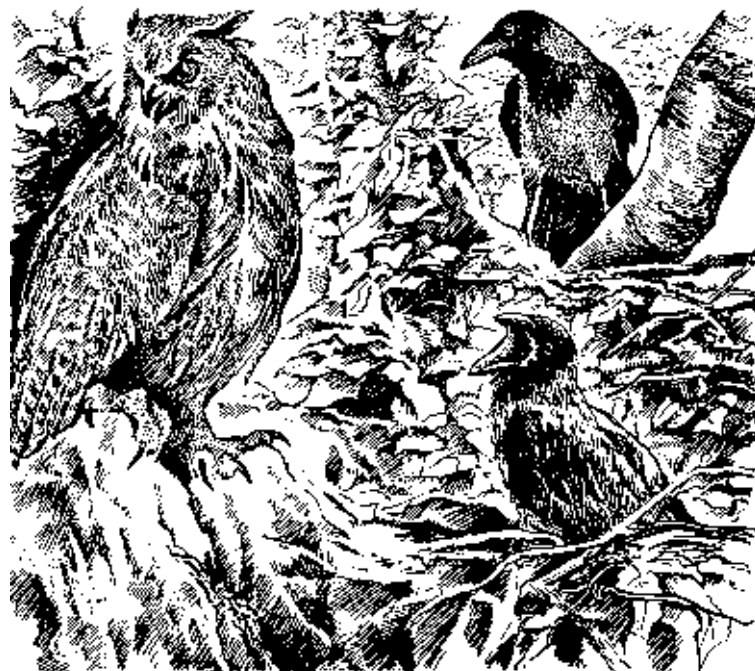
Врановые настолько умны и настолько эмоциональны, что в отдельных случаях, наблюдая, как они группой ли, одиночке ли налетают сверху на гораздо более крупных хищников, просто невозможно удержаться от того, чтобы не приписать этим хулиганам человеческие эмоции.

Биологический смысл биологическим смыслом: подкрепление образа потенциального хищника; обучение молодых неопытных птиц тому, кого бояться, это все понятно. Но иногда вороны явно получают удовольствие, доводя неповоротливых канюков, безуспешно пытающихся увильнуть от надоедливых атак задиристо каркающей братии».

«23 января. Курганник, сидя на столбе, разделявает добычу и ест, отрывая по кусочку. Подлетела стайка среднеазиатских щеглов, подседа на провода не куда-нибудь, а в нескольких метрах от него, посидели, возбужденно щебеча, насмотрелись, снялись и полетели дальше».

«24 января. ...Сорока насаждает на пустельгу, сидящую на телеграфном столбе, подлезая к ней почти вплотную и в бесильной вредности долбя клювом по керамическому изолятору. В ста метрах от них на дереве аналогичная картина: другая сорока достает другую мирно сидящую там пустельгу. Порозня делают общее дело: низводят невиновных».

«27 января. ...Огромный филин вылетел от меня из плотной кроны высокого кипариса и уселся, бедолага, открыто на высоком тополе. К нему сразу же с истошным скандальным карканьем со всех сторон налетело с десятков ворон. Не решаясь приближаться вплотную, они взволнованно перескакивают по ветвям вокруг него, каркая и нервно дергая хвостами».



«5 февраля. Над узкой щелью, почти каньоном, недалеко друг от друга в воздухе два ворона, беркут, балобан, бородач и четыре белоголовых сипа. Ну и компания! Один из воронов, не обращая ни на кого другого никакого внимания, пять раз подряд зло спикировал на беркута, заставив его поспешно отлететь подальше, а сам после этого сложил крылья и стремительно спланировал куда-то вниз в ущелье. Красота».

ДВУПЯТНИСТЫЙ ЖАВОРОНОК

— Надо узнать, кто они такие и зачем сюда пожаловали, — сказал первый див.

— И что за надобность тебе соваться в чужие дела? — возразил второй.

(Хорасанская сказка)

«25 февраля. ...Четырнадцать двупятнистых жаворонков подсели такой плотной группой и кормились, перебегая по склону в такой толкотне, что даже в лучок попали сразу два. Внешне, на первый взгляд, двупятнистый жаворонок очень похож на степного, но по поведению это совсем другая птица. Пока окольцевал пойманных и покрасил их флюоресцентно-малиновым родамином, остальные отлетели. Вот и думай теперь, как и что будет с этими двумя, отставшими от стаи по моей вине».

ШАШКИ НАГОЛО

— Эй, трусливый шах!.. Выходи на поле боя и ты увидишь, на что я способен...

(Хорасанская сказка)

«29 января. ...Два балобана активно преследуют в воздухе могильника; пикируют на него сверху-сзади зло и стремительно. Орел явно обеспокоен, при каждом пикировании ставит тело в воздухе вертикально, встречая атаку выставляемыми вперед когтистыми лапами. Сокола не развлекают, а всерьез гонят его со своей зимней охотничьей территории. Преследовали четыреста метров до определенного предела,

потом бросили. То же самое наблюдал здесь же через три часа. Опять гнали уже другого орла примерно до того же самого места: здесь явно граница их охотничьих угодий. А ведь это не гнездовая территория весной, это их зимнее охотхозяйство...»

«2 марта. ...Среди опустыненных холмов на телеграфном столбе сидит беркут; на соседнем столбе — балобан. Беркут взлетел, перелетел к соколу и опустил прямо сверху на его место, вынудив тем самым балобана слететь. Встряхнулся и уселся на столбе с видом не очень умного, но явно более сильного (беркут вдвое крупнее балобана по размаху крыльев).

Вытесненный со столба сокол сразу набрал высоту и спикировал на орла раз, потом другой. Орел истошно, атакует всерьез, заставил тяжеловесного беркута слететь и не отстает, преследует с воплями, вновь и вновь пикируя сверху.

Орел при каждой атаке переворачивается в полете на спину, заслоняясь лапами. Сделал круг, опять вернулся и сел на тот же столб, но сокол не отстает, продолжает пикировать снова и снова, злится, не отстает. Беркут опять слетел и уселся на землю под столбом, а балобан настырный попался, спуску не дает, продолжает пикировать. Орел пригибается, вскидывает крыльями, а балобан орет и орет, атакует и атакует. Кончилось тем, что беркут взлетел и поспешно полетел оттуда в метре над землей, сопровождаемый соколиными атаками. Все правильно: сам нарвался».

ОХОТА БАЛОБАНА

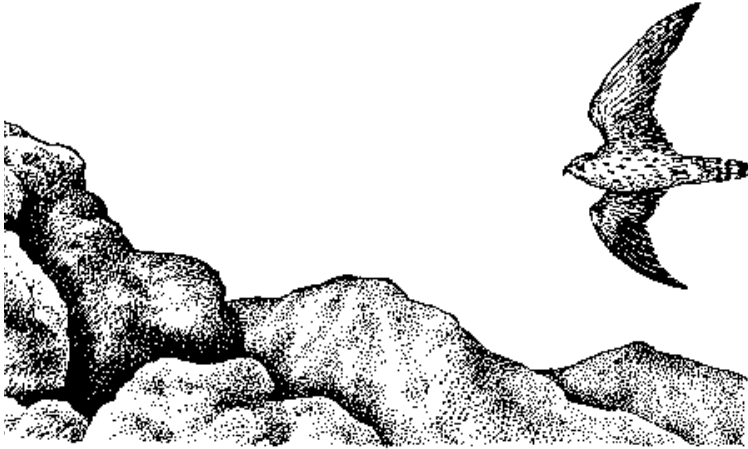
Взяли они с собой ловчих птиц и покинули дворец.

(Хорасанская сказка)

«2 февраля. ...Охотятся балобаны зимой в долине Сумбара на колониях песчанок. Иногда вижу в разных местах четырех соколов одновременно — соседствуют друг с другом вполне мирно вопреки традиционным представлениям о соколиной агрессивной территориальности. При этом, однако, гоняют с зимних охотничьих участков других хищников (например, орлов); так что поди еще разберись... Совершают обзорные полеты на большой высоте и довольно далеко от колоний грызунов.

ПРИКОЛ В КИЗЫЛ-АТРЕКЕ

Падишах, прикусив от изумления палец, молчал...
(Хорасанская сказка)



Вот, полетав некоторое время в полукилometре от спокойно кормящихся зверьков, неосмотрительно удаляющихся от своих нор, самец балобана резко снижается до высоты метра-двух и стремительно летит, наращивая и наращивая скорость, как крылатая ракета, следуя рельефу холмов.

Появляясь бесшумной тенью из-за гребня холма, сокол с налета либо хватает песчанку (не успевшую даже пискнуть), раскрыв крылья и мгновенно погасив скорость, либо бьет жертву лапой, не замедляя движения, стремительно проносясь дальше по плавной дуге на разворот, чтобы вернуться и подобрать добычу.

Пораженная молниеносным ударом, жертва летит кувырок в воздухе несколько метров и падает на землю безжизненным трупиком с почти всеми переломанными костями — настолько силен удар. Вернувшийся сокол присаживается на жертву, сидит секунду, глядя по сторонам, потом взлетает, прижимая добычу к брюху, — лишь ее длинный хвост с кисточкой на конце свисает вниз.

Не успевает удачливый охотник отлететь от мгновенно опустевшего склона холма, как на него с требовательными криками налетает капризная самка. Обе птицы выделывают в воздухе необычные кульбиты, хлопая крыльями, после чего самка получает свой обед от добытчика-супруга и усаживается за трапезу на кромке высоченного лессового обрыва, поглядывая с высоты на многие десятки километров вокруг (Есть песчанку начала с головы.)».



для сбора дождевой воды, которая здесь часто — лучшая по качеству. Да и вообще, терять воду от зимних дождей — недопустимая роскошь. Обо всем этом, смывая мыло с рук под умывальником с соском, уже не забываешь.

Вчера, добравшись до места, нашли директора станции субтропических культур; он вышел к Степанычу в зимней шапке, пиджаке, белой рубашке, всегдашних здешних полосатых пижамных штанах и в резиновых сапогах: зима, дожди, грязновато.

Степаныч остался дела обсуждать, а мы с Бегенчем покатили по поселку, заглянули в магазин. На прилавках пусто: жрать нечего; в отделе книг на русском языке только запыленные материалы съезда в добротных бордовых переплетах и «Оленеводство» в невзрачной серой обложке. Я сначала аж сморгнул, не поверил глазам, все же, думаю, «Овцеводство», наверное; ан нет, не галлюцинация, все как есть. «Утверждено в качестве пособия для сельскохозяйственных техникумов». Ну и правильно: верблюды — хорошо, осел — хорошо, «а олени — лучше».

Вот как, видя такое, сдерживать искренний восторг от сознания того, насколько же действительно велик, необъятен и могуч Советский Союз? И как непобедим наш *единый дух советского народа*? Ну кто еще с оленеводством в пустыне сдюжит?

Кстати, даже по поводу этого трогательного книжного идиотизма про необъятность без сарказма говорю. Все время это ощущаю. Мне силуэт страны на карте с его загогулиной Кольского полуострова, вырезом Каспийского моря, бантиком Памира, прорезью Байкала и подвесками Сахалина и Камчатки — каждый раз, как взгляну, — отрадой на сердце. И такое ощущение, что будь держава меньше — задохнулся бы. Как люди в Люксембурге живут? Или в Швейцарии? Или даже в Англии? Ведь плюнуть некуда. А у нас где хочешь выходи куда хочешь и плюй в любую сторону; везде раздолье...

Вон пустельга подлетела озабоченным утренним полетом — голодная, наверное; села на провод, а он не натянут, качается под ней, когда она, дергая нарядным хвостом, удерживает равновесие, — хороша все же птица.

В центре Атрека, напротив поссовета, есть парадный официальный газон — бетонная ванна два на шесть метров, двадцать сантиметров глубиной, в которую насыпана привезенная откуда-то темная почва, посажена травка, и все это поливается из водовоза.

На окраине, уже чуть в отдалении от жилых домов, — крупнейшая в стране плантация маслины на искусственном поливе. Вчера, когда выбирали там саженцы со Степанычем (ему в Кара-Калу для ВИРа надо), из кроны одного дерева выпугнул сразу семь ушастых сов: древесная растительность в таком дефиците, что все зимующие дендрофилы жмутся в эти садовые рощицы.

Чего-чего, а тепла здесь предостаточно; была бы вода, ждало бы этот край счастливое зеленое будущее. То самое, что пророчили с прокладкой каракумского канала, который не достроен и никогда не будет достроен, но проблем создал уже выше крыши, а дальше будет только хуже. Ни канала, ни Амударьи, ни Арала...

Пасмурное утро, облака тянет с запада — до Каспия-то рукой подать. Однако каково же здесь летом?..

Из дома выходит Бегенч, шуруется на солнце, поправляет мятый пиджак (видно, что спал прямо в нем), расчесывает пятерней густые черные волосы, потом внимательно смотрит, как я умываюсь. Когда я начинаю бриться, заглядывая в свое маленькое небьющееся зеркальце, приспособленное рядом с умывальником, Бегенч подходит ко мне и с решительным воодушевлением говорит:

— Сыргэй, дай-ка мне твою шотку, я тожа зубы почишу...

Я так опешил, что даже не сообразил отговориться тем, что это ему самому может быть бесполезно; дал. Он зубы почистил, возвращает мне ее, а я: мол, храни, дарю. А он: мол, да не-е, не надо, это я так, за компанию... (А у самого при этом и без моей щетки зубы как на подбор: белоснежные, ровные — голливудский оскал.)

На обратном пути в Кара-Калу вытащили застрявший на обочине рейсовый автобус-пазик (Бегенч проявил пилотажа); дали масла какому-то шоферу со сломавшейся машиной (опять Бегенч притормозил: «Нелза чэловэка в бэде оставлять»); подобрали около дороги два мешка селитры, валявшихся просто так (Степаныч прав: «В хозяйстве пригодится»).

Когда приехали в ВИР, я хотел взять один оливковый саженец, чтобы явиться к Муравским как голубь мира, но Степаныч, жмот, сказал: «Завтра, завтра...» — и я явился и без зубной щетки, и без оливковой ветви, просто как голубь...»

— Не печалься, о падишах! Ведь судьбу изменить невозможно...

(Хорасанская сказка)

Время шло, особых находок не было, а сотрудничество наше с Игневым, к сожалению, развивалось как-то кисло. Я не придавал значения мелочам, считая, что главное — относиться друг к другу по-человечески и делать вместе дело, но, как выяснилось позже, зря игнорировал некоторые психологические нюансы.

Как бы то ни было, мы договорились спланировать на предстоящую весну решающий удар: отправиться вместе на заключительные поиски, для чего я разрабатываю детали маршрута, а он продолжает до весны наблюдения и обеспечивает транспорт.

Какую жертву принести?
Что воле волн доверить надо,
Чтобы нашла тебя за то
В пустыне вышняя награда?..

(Хорасанская сказка)

Пришла следующая весна — четвертая после начала орлиной эпопеи. Я приехал в Кара-Калу, подготовившись к решительному штурму уже привычно сопутствующей мне проблемы, с которой я, как и с образом самого ястребиного орла, уже сжился очень прочно.

СТЕПНОЙ ЖАВОРОНОК

Как говорится в мудрых дастанах, кого выберет сердце возлюбленной, тот и победит..

(Хорасанская сказка)

«7 февраля. ...Степные жаворонки, которые гораздо крупнее других видов и нередко доминируют в смешанных группах, вытесняя иных птиц от мест их кормления, часто выгля-

дят на кормежке как пасущиеся коровы или овцы: они двигаются с опущенными к земле клювами и щиплют зеленую травку мелкими, теребящими движениями головы. Иногда же они свирепо выкорчевывают целые кустики полыни, отламывая от них крупные ветки и расклеывая их затем уже на земле. Становится понятно, зачем им такие мощные, по сравнению с другими жаворонками, клювы.

«28 февраля. ...Самец степного жаворонка на припекающем уже солнышке воображает перед самкой, двигаясь вокруг нее сужающимися кругами в позе токующего тетерева, распушив перья на груди и голове, задрав раскрытый веером хвост и волоча приспущенные крылья концами по земле. Торопится: еще целая неделя до Восьмого марта. Но я бы все равно на ее месте перед таким не устоял».

«17 мая. Степной жаворонок с кормом в клюве вылетел прямо из зарослей тростника от арыка (очень необычно, это же не скворец) и быстро полетел к открытым адырам, безразлично сереющим уже выгоревшей травой. Вот тебе и птица засушливых открытых пространств. Жизнь заставит — не только в заросли, и в речку полезешь... Необычно засушливая весна в этом году, насекомые только у воды».

ЭРОТИЧЕСКИЙ ЦЕМЕНТ

Утки к селезням плывут,
Глазки к глазкам тянутся...
Кавалеры не идут,
Только обещаются...

(Русская народная песня)

Так до позднего вечера вели они любовную беседу, а когда наступила пора вернуться птице Симург, отправился шахзаде на берег реки, залез в лошадиную шкуру и снова провел всю ночь в мечтах о любимой...

(Хорасанская сказка)

«8 февраля. Дорогая Клара!
...Сегодня впервые в огромных стаях кормящихся жаворонок единичные птицы вдруг начали взлетать свечкой

вверх, зависая там с пока еще короткой, словно пробной, песней. И я бы спел (хоть всю зиму петь могу), но у нас опять сплошная кайтарма; не допоешься до тебя...»

«28 февраля. Здравствуй, Зина!

До начала календарной весны еще один день, а весенние флюиды уже всю проникают в поры бытия. Вновь замешивается магический раствор, без которого невозможно вымостить Дорогу Жизни... А я по-прежнему занимаюсь какой-то фигней типа экологической изоляции жаворонков, вместо того чтобы заняться делом и изучить что-нибудь стоящее типа сексуального поведения саксаульной сойки (открытой, кстати, в прошлом веке Зарудным) или на худой конец — саксаульного воробья (такой тоже есть).

Жаворонки мои чирикают все вдохновеннее, все меньше тратят сил, добывая хлеб насущный, все чаще прерывают ненасытные групповые кормежки лирическими парными полетами.

Я бы тоже, Ирида, с тобой парно полетал... Ведь я сам, как ты, Цитера, знаешь, нахожусь вне этой фенологии. Потому что в моих душе и теле, как и в твоих, Рати, стройных ногах, круглый год — вечная весна. Даже в самый что ни на есть зимний дождь или осенний снег. Потому что, сама пойми, Киприда, мотаюсь я по здешним красотам день и ночь; вокруг солнца, ветер, птицы, счастье... и никаких мирских отвлечений от вдохновенного и самоотверженного, но столь бездарно-аскетического аспирантского труда... Гори все синим пламенем. И поэтому, как ни скучаю я по тебе, Пафия, беспринципное мужское воображение все же постоянно рисует бесконечный калейдоскоп откровенно смелых образов, придавая необузданным фантазиям почти осязаемую реальность. Почти. В этом, радость моя, Исида, и весь вопрос. Ведь ты, как всегда, понимаешь меня, Книдия? Просто не знаю, Ювента, что и делать...

В конце концов, Клава, ради чего я здесь корячусь? Ради того, чтобы другим сделать лучше, и самому быть лучше. А это значит, опять все ради того же. Ведь недаром вон за тем бугром (в Иране) считается, что душа смертника у входа на тот свет будет встречена либо прекрасной девушкой, либо ужасной старухой — по благодати дел и устремлений покойного. Моя надежда, Роза, — быть встреченным там тобой...

Вот и получается, Лиза, что твой образ и все прочие образы — это как лежащие на столе любимая книга в знакомом тисненном переплете, книга, которую с удовольствием перечитываешь по многу раз, а рядом с ней — мимолетные красочные журналы, поражающие качеством полиграфии ненаатурально-идеальных иллюстраций.

Когда все путем, все на своих местах и все движется, невозможно удержаться от соблазна, чтобы, плюхнувшись после мирских мотаний перевести дух, не полистать экзотически-притягательные картинки.

Но вот если что-то не так или в чем-то туго, и все буксует, и свет не мил или если вдруг о главном подумается, то в такой момент даже от случайно брошенного взгляда на яркую журнальную обложку откровенно мутит. И тянет к той самой заветной книге, которую берешь в руки и уже от одного этого в душе разливается успокоение и начинает замешиваться уже не просто магический, а Самый Главный Вселенский Раствор; начинают вновь пробуждаться казавшиеся исчерпанными силы. Потом открываешь ее, либо случайно, наугад, либо на оставленной в прошлый раз закладке, либо заново с первой страницы, и начинаешь переживать ее снова, поражаясь непреходящей новизне, средству ее ауры твоим собственным электронам, своей от нее зависимости и нежеланию когда-либо читать что бы то ни было еще.

А поднабравшись от знакомых страниц утешения и поддержки (без которых — хоть в петлю), заново встаешь, расправляя, блин, вновь ставшие широкими и надежными плечи; вновь смотришь на далекий горизонт мужественным стальным взглядом (круто играя желваками на скулах); вновь ощущаешь силу в своих (опять мужских и надежных) руках; вновь не роняешь уже (скупую мужскую) слезу; и вновь непроизвольно, дрын зеленый, заглядываешь под диван: не там ли закинутый куда-то накануне журнал?..



И ты знаешь, что примечательно? Как раз перед нахождением гнезда фасциатуса в Копетдаге в 1892 году Зарудный радикально изменил всю свою жизнь, переехав из Оренбурга в Псков. И знаешь почему? Спасался от нависшей над ним женитьбы на какой-то из оренбургских красоток! Эх!..

Говорят, не чурался Николай Алексеевич дамского общества... Так-то вот... А иначе и быть не могло, это сразу чувствуется, когда читаешь, как он про птиц пишет. Сильно пишет, ярко и ласково».

ЗЕЛЕННЫЕ УСЫ

На пути попадается тамариковая роща...
Птиц здесь найдено множество...

(Н. А. Зарудный, 1892)

Там же подряди строителей и мастеров и скажи, что им предстоит возвести небывало прекрасный город.

(Хорасанская сказка)

«27 апреля. ...Двигаясь вниз по Сумбару, в тугаях около совхозной фермы с простым туркменским названием «Комсомол», нашел огромную колонию черногрудых воробьев (похож на обычного городского, но с черной грудкой).

Во всей округе стоит непрекращающийся гвалт тысяч птиц. Идет строительство гнезд: из зеленых стеблей травы птицы повсеместно вяжут на кустах сферические гнезда с круглым боковым входом. Зеленая трава гибкая, удобна для строительства, а потом высохнет и гнездо превратится в легкую, прочную, упругую и надежную постройку, защищающую и от палящего солнца, и от холодного ветра.

Ежесекундно от колонии на соседнее поле струится непрекращающийся поток птиц, летящих за материалом для гнезд, а им навстречу — такой же поток птиц, несущих в клювах длинные зеленые травинки. От реки к полю летят просто воробьи, а от поля к реке — воробьи с зелеными усами».

САКСЕТАНИЯ КОПЕТДАГСКАЯ

Перевернув по дороге... не менее тысячи камней, мне удалось найти лишь нескольких жучков и мурашек, но и те были мертвыми...

(Н. А. Зарудный, 1916)

Такого страшилища мне нигде и никогда не доводилось видеть! ...Я должен непременно узнать, что он здесь делает и где его обиталище...

(Хорасанская сказка)

«5 мая. Привет, Чача!

Пишу на Сьунт-Хасардагской гряде — прямо на камнях, где остановился, возвращаясь из маршрута.

Спускаясь вниз по сухому щебнистому склону, вдруг попал на зыбучий его участок и медленно пополз вниз, увлекая за собой камни в метре вокруг. Потерял равновесие и сел на еще ползущую вниз щебенку, лениво переводя дух и решив осмотреться, благо никуда не тороплюсь.

На северном склоне хоть и нет густой тени, но все же не так жарко, как на прямом солнце. Решив немного посидеть, посмотрев на округу в бинокль, я стащил с себя ляжку саквояжа и поставил его рядом на камни. И в этот самый момент один из обломков щебенки вдруг отскочил от меня на полметра.

Честно говоря, даже будучи от природы субъективным идеалистом, я все же не люблю, когда камни сами по себе прыгают... Смотрю — ничего. Присматриваюсь внимательнее и вдруг вижу, что один из кусков щебня привстает на толстеньких ножках и медленным основательным шагом направляется в противоположную от меня сторону... Саксетания!

Среди всех саранчовых, от певучих сверчков и длинноусых кузнечиков до огромной всепожирающей саранчи, саксетания — мой любимый зверь. Представь себе серо-коричневого кузнечика сантиметров пять длиной, без крыльев и без усов; тяжеловесного, корявого; с мощным бизоньим горбом, с толстыми ногами; с шершавыми покровами, по цвету и текстуре точно напоминающими кусок щебенки, и ты получишь это удивительное насекомое, обитающее только в Копетдаге.

Во всем облике этого копетдагского эндемика отчетливо просматривается такая основательность, устойчивость и неторопливость, что, глядя на него, невольно чувствуешь, что это создание ощущает себя весьма уютно на этом неуютном склоне.

Обитая в засушливых горах, саксетания великолепно приспособилась к этим негостеприимным условиям: внешний вид в точности соответствует виду окружающих камней, если она не двигается, то и в упор не отличишь (даже сидя, она умудряется расположить тело так, чтобы ее не выдала падающая от солнца тень).

У самца, которого я держу в руках, внутренние части задних ног ярко-синие; не знаю как, но насекомые явно используют это при общении с себе подобными. Крыльев у этого пустынно-каменистого мини-танка нет, летать не может, ходит пешком по небольшому пятаку своего местобитания, а в случаях крайней опасности неохотно прыгает. Я своего знакомого после первого прыжка прыгнуть больше уже так и не заставил, даже подталкивая сзади пальцем.

Неравнодушен я к этому виду: уж больно особое существо; да и живет только здесь, что невольно создает у меня ощущение особого с ним родства. А с другой стороны — тоже ведь своего рода саранча; наловить да поджарить. С нас станется, еще и в ресторанах будем подавать «уникальное национальное блюдо из краснокнижных эндемиков».

Как у Зарудного: «В годы обильного своего появления саранча может доставить быстро приготовляемое, жирное и лакомое блюдо. Его делают таким образом: у пойманных насекомых обрывают крылья и ноги, оставляя, однако, задние бедра; затем еще живыми, бросают в котел и, посыпая мелко истолченной солью, пекут в нем, все время помешивая палкою. По вкусу и запаху саранча, изготовленная так, напоминает наших речных раков... Что касается до меня, то я всегда с большим удовольствием разнообразил (этим кушаньем) свой стол. Белуджи... пекут саранчу просто в горячей золе».

Да-а... Интересно, что у Муравских дома сегодня к ужину?..



Саксетания копетдагская. Может, и мне псевдоним взять: П-в-Копетдагский? По-моему, шикарно. Насекомое ушло по своим насекомым делам, уже и не найти. Мне тоже нечего рассиживать, домой-то еще пить и пить.

Военному, Ленке и Эммочке привет!»

ВНИЗ ГОЛОВОЙ

Объясни нам все это, если можешь...

(Хорасанская сказка)

«7 мая. ...На глинистом обрыве из трещины торчит голова очень маленькой ящерицы. Я не специалист, поэтому мне легко что-то кажется необычным, я сажусь на камень и начинаю наблюдать. Через секунду ящерица меняет позу, и я вижу на лапе широкие уплощенные пальцы — это геккон. Группа для любого зоолога особая; каждый читал в детстве об этих уникальных пальчиках с миллионами микроскопических ворсинок, позволяющих бегать даже по вертикальному стеклу и по потолкам.

Сию смотрю, никуда не тороплюсь. Интересно, почему здешние гекконы не кричат? Ни разу не слышал. Тропические виды резко рывкают необычным для ящериц образом. Я так вообще уверен, что название «геккон», «гекко» — звукоподражательное, имитирующее их крик.

Геккон мой выскакивает из своего укрытия целиком, пробегаем сантиметров двадцать, хватает что-то мне невидимое и вновь замирает неподвижно, но я уже могу разглядеть его целиком, вместе с кольцами жестких шипиков на хвосте: это колючехвостый геккон!

Хо-хо! Я знаю, по крайней мере, несколько герпетологов, которые позавидовали бы мне сейчас черной завистью: это — редкость. Хотя как знать, может, просто не искали достаточно внимательно?

Иногда, наблюдая такое, невольно задумываешься о том, как важно,



чтобы на каждый интересный объект или проблему нашелся интересующийся ими человек. Уж, казалось бы, кто только и чего только не изучает, а все равно неизученного больше, и ни конца ему не видно, ни края. Может, и с этим колючевоостым лилипутом так же?

В любом случае непонятно, чего ради он торчит здесь на виду, когда еще светло, зверь-то ночной. Впрочем, голод не тетка...»

ЧЕРЕПАХА НА ЛЕТУ

— Мы видим то же, что и ты, о мудрейший!
Только как сие могло приключиться?..

(Хорасанская сказка)



«10 мая. ...Долго шли с Наташей к Сумбару по дороге от Сайвана. Западная окраина Сайван-Нохурского плато. Место уникальное: отдельные деревья боярышника разбросаны среди открытого пространства покатых склонов, сохраняющих здесь почти исчезнувшие повсеместно зовыльные травянистые сообщества; роскошные травы с мягкими светлыми метелками переливаются под слабым ветерком нежными серебристыми волнами. Когда смотришь вокруг, скалистых ущелий не видно, они лишь проваливаются вниз крутыми склонами, а сбоку не видны.

Беркут летает над ущельем, свесив в полете лапы вниз и держа в левой из них черепаху среднего размера. Вдруг она выпадает у него из когтей, но через несколько метров хищник в воздухе вновь подхватывает ее на лету — и опять левой лапой. Пилотаж, глазомер и ловкость ног: непросто, наверное, прихватить круглую и гладкую тортилли, камнем падающую вниз. Впечатляет.

А ведь он левша».



РАДОСТЬ КРОВОСОСА

В трещинах глины, покрывающей сухие части русла и его берега, во множестве обитают клещи; на шум шагов они выбегают целыми десятками из своих убежищ и быстро направляются к человеку.

(Н. А. Зарудный, 1901)

«15 мая. Привет, Жиртрест!

...Возвращаясь с Пархая, сошел с дороги посмотреть птичку на дереве и сразу обнаружил на штанине уйму клещей, в радостном возбуждении карабкающихся вверх, вверх, к моей пропотевшей кровонасыщенной плоти.

Во клёво-то: сидят клещихи на травинках, ждут своего часа, когда зверь какой теплокровный, или скотина домашняя, или орнитолог пройдет в доступной близости, чтобы ухватиться коггистыми, поднятыми на изготровку лапками, зарыться поспешно в мех или пролезть под ткань, вспороть теплую кожу жесткими зазубренными члениками рта, проникнуть головой через ранку в податливую плоть и засосать, засосать наконец так неумно желанную дурманяще-пьянящую кровь. Хоть один раз за жизнь, но вдоволь, раздувшись пресыщенной кожистой фасолиной, наполнив вожделенным тяжелым теплом неимоверно растянувшееся тело и черпая потом из этой питательной тяжести жизнь для тысяч яиц — будущего потомства на благо продолжения удивительного и неповторимого клещиноного рода...

Ведь каких только клещей и где только нет; целый мир клещей, в котором лишь малая часть — паразиты. Но уж зато эти — всем паразитам паразиты, такого изящества и совершенства адаптаций еще надо поискать...

Это я сейчас соловьем пою про клещей, а тогда я непроизвольно стряхнул сразу «эту гадость», а потом уже удивился их не виданному мною ранее обилию, интересно стало проверить, сколько же их тут обитает.

Прошел для эксперимента ровно двадцать шагов по траве (она здесь, поблизости от ручья, довольно густая и по колесно), вылез на голое каменистое место и посчитал на штанах поштучно братьев меньших: семьдесят два клеща во всей своей весенней красе и ненасытности. А я, опять стряхнув их с

выцветших штанов, бессовестно и сознательно (как может сделать лишь человек) обманул все их несостоявшиеся восторги, предчувствия и ожидания. Бывают и в клещиной жизни горькие, безрадостные минуты разочарований...

Впрочем, это не самый удачный предмет для словоблудия, зря я изгаляюсь. Когда подумаешь, какие последствия может иметь один-единственный энцефалитный укус, понимаешь, что глупо шутить на эту тему. Ну так ведь для этого *подумать* надо...»

29

Снарядив верблюдов, мы отправились в дорогу.
(Хорасанская сказка)

До начала нашей запланированной работы с Игневым я поехал на Чандыр с приехавшими из Москвы на машине Академии наук двумя Андрюхами — Неделиным и Поляковым. Неделин — длинный и деловой, с явной жилкой научного менеджера и бизнесмена, учился несколькими годами позже на том же геофаке МГПИ, что и я, и я помнил его студентом.

Поляков — обаятельный скромный человек, наш ведущий специалист по экологии и поведению бродячих домашних собак (интереснейшая тема, привнесшая много нового в изучение как домашних, так и диких животных).

УДОД

Посредине у него огромная слоновья голова с тремя глазами, а вокруг нее — еще шесть голов, похожих на львиные...

(Хорасанская сказка)

«22 марта. ...Удод — все же это нечто. Внешность экзотическая, ни с кем не спутаешь: огромный подвижный хохол, симметрично ему спереди длинный изогнутый клюв. Сам бежево-винного цвета, почти розоватый, крылья черные с белым. Голос — глухое гулкое уханье. Кормится, зондируя мяг-

кую почву длинным носом. А когда ухаживает за самкой, складывает и распускает свой роскошный хохол; глупо прыгает вокруг нее, хлопая раскрытыми крыльями. Экзотика. И даже кожа у него необычная, непонятно почему очень тонкая; шкуру снять — мучение.

Как-то у меня кощунственно получилось: описываю птицу, а потом — «шкуру снять». Неправильно это».

ПОЧТИ ГАЛКИ

— Может, он, а может, и не он... Случаются люди столь похожие между собой, что их не различишь...

(Хорасанская сказка)

«15 апреля. ...Гораздо выше меня, у недоступных вертикальных скал, крутятся в воздухе восемь клушиц с черным как смоль оперением и ярко-красными тонкими клювами. Они периодически залетают в вертикальные щели, вылетают оттуда наружу, скандалят друг с другом, выясняя отношения.

Высокогорный вид, особая экология, своеобразная внешность, а крик — почти как у галки. Каждый раз, наблюдая клушиц, внимательно рассматриваю их в бинокль в надежде обнаружить другой сходный вид — альпийскую галку, точно такую же птицу, как клушица, но с лимонно-желтым клювом и встречающуюся здесь в тысячу раз реже. Пока не везет».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

При размножении пенис у млекопитающих выпячивается в атмосферу...

(Из ответа абитуриентки
на вступительном экзамене)

— Аллах всемогущий! — воскликнул я...

(Хорасанская сказка)

«17 мая.

Дорогая Лиза!

После месяца рутинного и бесполезного таскания с собой четырнадцати килограммов фотоаппаратов я озверел и,

в знак протеста несправедливой судьбе, отправился сегодня в поле налегке. Вышел пустой, радуясь, дурак, что саквояж не оттягивает плечо, как обычно. За это на меня с самого утра вплотную налетел бородач, чего раньше столь явно не бывало.

Потом у Промоины Турачей нашел крупную гюрзу; ничего выдающегося, но снять было бы не вредно.

После этого впервые увидел в природе мышевидного хомячка. Более очаровательного зверя трудно представить: размером меньше пачки сигарет, великолепно пушистый, с большими глазами-бусинами и окрашен в изысканной серой гамме. К тому же — очень редкий, внесен в Красную книгу, изучен очень плохо.

Дальше по Сумбару, последним аккордом, — логово шакала с четырьмя маленькими щенками, крутящимися у входа. Шакалята эти — совсем дети, покрытые еще мягким детским пухом и с совершенно мутными голубыми щенячьими глазами. Две вещи немедленно бросились в глаза: необычно квадратные морды кирпичиками и окраска: все тело и шея — темно-серого цвета, а голова и особенно уши — рыжие.

Еще еле ходят. Два, увидев меня, никак не среагировали, явно пока еще не знакомы с самим феноменом опасности; два нехотя сползли на растопыренных толстых лапах по наклонному входу в нору, с любопытством выглядывая на меня оттуда. Что крайне примечательно — ни один из них за пару минут не произвел ни единого звука: ни писка, ни ворчания, ни визга. Мгновенно исчезли в норе, когда появившийся в тридцати метрах от меня взрослый шакал (мать?) пробурчал что-то почти неслышно и спокойно сел там совершенно открыто.

Так что теперь, вняв тактичному предупреждению свыше, я больше не искушаю судьбу и никуда никогда не выхожу без своего любимого и треклятого саквояжа, рассматривая фотоаппарат просто как часть своего тела, как, я бы сказал, дополнительный орган.

Тем более что некоторые другие органы, по причине моего фатального одиночества, мне вроде как и ни к чему; того и гляди, атрофируются... Приеду в Москву, а у меня вместо, э-э... ненужного органа — фотоаппарат. Вот уж будет тебе потеха».

СОВЫ В МАСШТАБЕ

В незапамятные времена на берегу реки Кахраман обитали сказочные птицы, кои...

(Хорасанская сказка)

«18 мая. ...Речная долина всегда — особое место, всегда — средоточие жизни. В норах невысоких обрывчиков и промоин вдоль притоков Сумбара в самых разных частях долины постоянно встречаю домовых сычиков. Как все совы, они башкастые, глазастые, смешно приседают и гримасничают, рассматривая меня, когда я подхожу. Либо отлетают вдоль обрывов, бесшумно взмахивая своими широкими пестрыми крыльями, либо с недовольным видом залезают от меня в свои норы и пещерки, как бы сварливо бурча себе под нос: «Ну его от греха...» Они маленькие и повсеместно обычные.

Ниже по течению Сумбар впадает в Атрек, а Атрек выходит на Западно-Каспийскую низменность и пропиливает в ее лессовых отложениях огромный каньон метров до семидесяти глубиной и почти в полкилометра шириной. Не Гранд-Каньон Колорадо, конечно, но впечатляет.

Подхожу к краю обрыва, и из ниши огромного лессового останца в центре каньона, расправля огромные крылья, бесшумно вылетает филин. Словно загадочный символ экзотического места. Тоже сова, но самая большая.

Как все пропорционально: масштаб совы соответствует масштабу места, где она живет. Шутка. Но ощущение именно такое».

РАЗНОЦВЕТНЫЕ ФИЛИНЫ

...убивает... филина... которого он заметил в темной нише скалы и первоначально принял за пантеру...

(Н. А. Зарудный, 1901)

...эти перья принадлежат птицам, родичи которых некогда несли жемчужные яйца...

(Хорасанская сказка)

«21 мая. ...Из скальной ниши вылетел филин коричневый, как шоколад. В той же нише сидит вторая птица — целиком

серый, почти пепельный, совсем без коричневого. Этот терпел меня на сто метров дольше, чем первый. Демократичная парочка: никаких расовых барьеров.

Под обрывом нашел замечательно мягкое, как у всех сов (для бесшумного полета), перо от коричневого филина и отправил его вам во вчерашнем письме. Не уверен только, получили ли вы его: я бросил конверт в почтовый ящик, висящий где-то на отшибе и которым я никогда до этого не пользовался. Уж очень подозрительно одиноко это письмо бухнулось в нем на дно: будто ящик удивился, что в него бросили письмо. Привык, наверное, висеть просто так, думая о своем».

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ

В ярких чашечках тюльпанов, пламенеющих вокруг,
чернота печали скрыта — посмотри, мой нежный друг..
(Хорасанская сказка)

«5 июня. Привет, Чача!

...Фотография, которую ты прислал, поразила меня уникальным сочетанием и композицией деталей. Потрясающе. И интерьер уникальнейший, и снято, конечно. Молодец. Про оптику молчу; завидую черной завистью.

Я, кстати, отчетливее, чем раньше, сознаю сейчас свое пристрастие к наблюдению как раз неочевидных и незаметных на первый взгляд особенностей и штрихов (которых и оказалось так много на твоём снимке). Выискиваю их везде и во всем с маниакальностью коллекционера, с иезуитством и тщательностью проверяющего сержанта в казарме или инспектора санэпидемстанции (хм, а ведь так и есть: это же мое хобби... Только сейчас сам для себя сообразил. Впрочем, нет. Это и моя основная профессия...).

О чем я говорю? О наблюдении того, что при беглом взгляде на предмет или явление вообще незаметно. Возьмем птичек. Все жаворонки — наземнокормящиеся птицы. Но если начать копать глубже, выясняется, что кормящиеся в одном скоплении жаворонки отличаются как сокол и коршун или как «Запорожец» и «мерседес».

Прилетая и садясь в какое-то место, они кормятся на склонах разной крутизны; поедают разные корма, а коль питаются одним и тем же, то используют совершенно разные приемы добывания пищи. Если же они и подобны во всем вышеречисленному, то имеют совершенно разный «почерк» кормления и поведения вообще, по-разному проявляя настойчивость, двигаясь, поддерживая структуру стаи. Это детали важные, имеющие принципиальное значение для понимания живого.

А ведь все это расцвечено еще и огромным количеством деталей случайных, у которых нет назначения (по крайней мере, понятного мне). Вот у этого кормящегося в стае жаворонка на хвосте белое пятно от птичьего помета: наверное, капнула другая пролетающая над ним птица. Вот этот хромает. Вот у этого маховое перо неловко завернулось боком, нарушив обычное расположение оперения, когда каждое перышко, как черепица, накрывает другое, лежащее под ним, создавая идеальный по линиям птичий силуэт.

И вот, значит, идет жаворонок, клюет что-то в огромной стае собратьев, а это перо торчит у него из крыла совершенно необычным образом, я сразу вижу это. А уж если я вижу, то атакующий хищник увидит такое с пятисот метров. Ну и что? Привлечет такое отличие атаку балобана именно на этого жаворонка? А если да, то скажется ли неловко загнувшееся перо на летных качествах этого жаворонка в первую, возможно критическую, секунду его бегства от мелькнувшей сверху тени? Кто знает, да и не важно. Я сейчас о том, что подобного вокруг — необъятное множество в каждой точке пространства и времени.

В московском метро наблюдать такое еще интереснее. Вон стоит девица весьма нерядовой внешности: лицо, мгновенно привлекающее внимание, прекрасно одета, идеальный маникюр, держится как королевская кошка; идет, что называется, по жизни шагами победительницы; но кожа около ногтя указательного пальца на левой руке обкусана совсем по-детски; значит, был момент, когда были нахмуренные без свидетелей брови, сосредоточенность на чем-то, когда сознательно удерживаемый имидж отступил на второй план.

На нее, как балобан на песчанку (в смысле концентрации внимания, а не в смысле как хищник на жертву, потому что

такая краля сама кого угодно сожрет), смотрит мордатый дед в стандартных для сегодняшнего «делового» люда пиджаке, слаксах, ботинках с бахромками и с огромным золотым перстнем — явно случайный человек в метро. Смотрит на девицу внимательно, а на все прочее вокруг — как наблюдатель из другого мира: с отчетливым сознанием своего «крутого» превосходства и удаленности. Но вот рубашка у него точно надета уже даже не второй, а, наверное, и не третий раз подряд, на бортник воротника смотреть неловко, честное слово...

Женщина лет тридцати пяти листает журнал, не обращая внимания ни на кого вокруг. В каждой детали одежды, от уже сбитых краев у аккуратно начищенных туфель до незаметно оттянувшегося вокруг пуговиц материала на уже не самом модном плаще, отчетливые штрихи экономии и материальных ограничений. Она, наверное, переживает из-за этого, не сознавая сама, что является исключительной красавицей, одаренной от природы не просто великолепными чертами лица и изяществом всего силуэта, но и проявляющимся во всем обаянием и вкусом. Просто смешно, насколько это очевидно. Даже цвет ее плаща случайно, но идеально совпадает по гамме с цветом наклейки-рекламы на стенке вагона у нее над головой. А ведь у нее и волосы свои — и фактура и цвет. Вот есть же люди, всегда находящиеся в гармонии с окружающим, вернее, создающие такую гармонию своим обликом и своей индивидуальностью. Для женщины это дар вдвойне. Обалдеть можно. Хотя, судя по всему, мужчина, с которым она живет, этого главного про нее не понимает. Женщина, у которой есть мужчина, понимающий про нее это главное, листает журнал иначе.

У молодого парня незаметно склеена дужка на очках: оно и понятно, хорошая оправа для очкарика — большое дело.

У пожилого дядьки, неподвижно смотрящего перед собой, скрестив руки на расползшемся бесформенном портфеле, под стеклом часов капельки водяного тумана; наверное, неосмотрительно сунул под кран, когда мыл руки, на рыбака или дачника он не похож.

И ведь все это детали образов, детали статические. А сколь великолепны детали движения! Вода течет, обтекая камень с обеих сторон; пальцы гитариста двигаются, зажимая

аккорды на грифе; чешуйки смещаются на теле ползущей змеи; камень катится по осыпи, ощущая своим каменным телом каждый удар; женские волосы вздрагивают при ходьбе или повороте головы; падающая капля воды отрывается от кончика сосульки; монета вращается на столе; рваное облако медленно ползет прямо по горному склону; птица, инстинктивно приседает в момент опасности; движение бровей или ресниц; шелковый изгиб рыбьего плавника; порхание бабочки; расширяющиеся в особый момент зрачки глаз; плывущее по воздуху невесомое перо; сжимающийся и раскрывающийся во сне детский кулачок; появление краешка восходящего солнца из-за горизонта; исчезновение края уходящего солнца за горизонт...

А есть еще детали запаха. И детали звука. И детали симметрии.

Не знаю, что было у меня первичным исходно: внимание к деталям, стимулировавшее именно такой характер последующей работы в поле, или, наоборот, изучение поведения птиц, непроизвольно заставляющее меня сейчас обращать во всем внимание прежде всего на незаметные детали. Да нет, конечно же пристрастие к деталям было исходно. Во всех детях это есть. (Несу однажды Ваську на плечах из детского сада, а он вдруг как заголосит сверху: «Стой! Стой!» Что такое? Оказалось: «Муравьишка по асфальту пробежал...»)

Помню, что во втором классе я сантиметровым детским почерком описывал в специальной записной книжке, как в Казахстане, в пригороде Алма-Аты, на степном пустыре, из травы, торчащей над снегом, высыпаются семена и как они раскладываются по сверкающему на солнце насту в загадочный узор, цепляясь за невидимые неровности жесткой, уплотненной снежной поверхности, находя себе на ней микроскопические укрытия от ветра.

Да и еще раньше это было, глаз сам цеплялся за такое; а теперь еще и память цепляется за детали прошлого. Лет в шесть, помню, когда летом жили в Едимново на Волге и Мама бросала курить, маясь и не находя себе места, наш Дружок — деревенская дворняга, переселявшаяся к нам в день нашего приезда в деревню, всюду понуро ходил за ней повесив хвост и ложился у ее ног, размусоливая брошенный ею окурочек.

Я помню именно не всю картину целиком, а то, как он, поднимая губы, передними зубами растормашивает длинный бумажный мундштук брошенной папиросы, разрывая тонкую многослойную бумагу, тяжело вздыхая при этом и глядя на Маму с преданным сочувствием, двигая своими собачьими бровями...

Говорили, что по Дружку все безошибочно узнавали день нашего приезда в начале лета: он с утра сидел на берегу Волги и неотрывно смотрел на невидимый за островами противоположный берег, не реагируя на оклики хозяев; задолго чувствовал и ждал моторку, привозившую нас с кучей дачного барахла. Он ведь узнавал это тоже по каким-то деталям? И все это само тоже есть деталь чего-то. Важная деталь.

Природа же вся целиком состоит только из деталей, какой бы ошарашивающе глобально-сенсационной она ни представлялась: огромные волны — из капель и брызг; сверкающие горные вершины — из микроскопических шероховатостей камня и гладкости льда; бескрайнее зеленое лесное пространство за бортом вертолета — из растущих на ветках и уже опавших хвоинок; плавные очертания песчаных барханов — из песчинок; парящий орел — из мозаики перьев; сами перья — из невидимых глазу пластинок-бородок...

Я не про абстрактную диалектику дискретности бытия, а про то, как все это воспринимаю кожей... Неисчерпаемые детали окружающего мира — это топливо, которое питает мой внутренний мотор; все они — внешние Части, составляющие мое внутреннее Целое....

Мне никогда не бывает скучно, потому что я всегда где-то, а любое *всегда* и любое *где-то* — это бесконечное множество деталей пейзажа, интерьера, внешности, поведения, интонаций, света, звука, вкуса и проч.

«Скучность» места не имеет значения. Даже, наоборот, она порой желанна, как противоядие заведомо экзотическому «шику», мешающему восприятию деталей. Великую Китайскую стену любой заметит, и ей любой поразится. А вот рассматривал ли кто-нибудь когда-нибудь облупленную краску на табличке с давно уже устаревшим расписанием 337-го автобуса на остановке в Балашихе? Не очевидно. А ведь эта деталь есть, и она *для чего-то* есть.

Так вот, для меня несомненно, что она — полноценная часть разнообразия и конкретности окружающего мира, без которых мой внутренний мир, мое внутреннее «я» просто развеются в никуда, и все...

Настораживающая меня самого страсть к собирательству — оттуда же. Детали. Не могу пройти мимо необычного камня, птичьего пера, гнutoго сучка. А сейчас уже — мимо необычного пейзажа, восхода, заката, ракурса на куст держидерева или на голый склон холма. Обязательно должен сфотографировать. А разве бывают обычные ракурсы, обычные восходы или закаты? Бывают скучно снятые вещи, фотографии, которые смотреть неинтересно, это да, но сам ракурс и сама вещь в реальности почти всегда уникальны и интересны. Так что аппарат теперь с шеи не снимаю...

Кстати, Зарудный собирал в своих экспедициях не только научные коллекции, но и все интересное подряд. Вот уж кто наверняка знал цену деталям. Подозреваю, что он этим порой даже слишком увлекался. Подвиды некоторых птиц он выделял на материале, в котором другие систематики никаких отличий не находили.

Помнишь, я в восемнадцать лет нашел в Сибири в тайге человеческий череп? Даже мысли тогда не возникло, что могу его не взять. Сережка Дорогин — мой капитан на байдарке, сначала протестовал, но, увидев мою решительность, смирился, сделал вид, что его успокоили мои уверения в том, что я этот череп отмою. Недавно узнал, что Зарудный тоже хранил найденный где-то человеческий череп. Интересно, смотрел ли он на пустые глазницы, представляя, какая жизнь некогда светилась в них, каким событиям был свидетелем тот человек, на каких деталях останавливалось его внимание? (Впрочем, про «бедного Йорика» наверняка каждый задумывается, кому черепушка в руки падает...)

Короче, нечего здесь теоретизировать, а, опять-таки, работать надо над собой, работать; изживать надо врожденное занудство. А то куда это годится: образ как таковой для меня не очень-то и важен, если нет к нему в запасе десятка заметных на первый взгляд деталей...

Фотография же действительно отличная, молодец. Я только не понял, предмет справа на столе — это что? Тоже резня? Темная кость? Или светлое дерево?»

Из цитадели донеслись звуки рожка вечерней зари и голос муллы, призывающего правоверных к молитве, а совсем близко закричала, завyla, захохотала и заплакала большая стая шакалов. Потом все стихает.

(Н. А. Зарудный, 1901)

С Андрюхами мы тоже посмотрели ястребиного орла, парящего над иранскими горами. Пообщались с пограничниками на заставе. Раздавили колесом своего грузовика мой верный бинокль, подаренный перед началом аспирантуры родителями. Я непростительно положил его на бампер, он упал, колесо вдавило его в мягкую дорожную пыль, даже не повредив корпус, но сбив юстировку, исправить которую так и не удалось (Поляков, уезжая, оставил мне тогда до конца сезона свой, — спасибо!).

Ничего существенного к материалам по фасциатусу мы с Андрюхами в той поездке не прибавили, но зато посмотрели прекрасные места и провели незабываемую ночевку вдалеке от поселков, среди опустыненных увалов.

Остановившись еще засветло, мы быстро выбрали место, следуя рекомендациям Полякова: чтобы обзор был подходящий по профилю холмов вокруг долинки — если повежет, может, шакалов ночью не только послушаем, но и посмотрим.

Шофер экспедиционной машины — крупный рыхловатый Коля, недовольно, но беззлобно бурчал на все вокруг целый день, а уж упоминание про шакалов окончательно разбило давно надтреснутую чашу шоферского терпения.

— Вы чего, совсем, что ль, охренели? Шакалов смотреть... Мотаемся, мотаемся, целыми днями... А это ведь не асфальт, ёньт, по этим ухабам рулить, знаешь ли, Андрей, коэффициент платить надо... Смотри, если ночью они спать не дадут, завтра не поеду никуда, день отдыха.

Неделин, формально являющийся командиром отряда, на которого оформлена академическая экспедиция, молод и крут, но вздыхает с усталым пониманием:

— Ну и грузило же ты, Колюня... Слушай, если ты не перестанешь гундеть, я тебе сейчас тресну в репу, сяду сам за руль,

а ты пойдешь пешком, куда хочешь, — хоть домой в свои Люберцы...

Коля, обиженно насупившись, отходит за машину отлить по малой нужде, продолжая что-то недовольно бубнить низким басом. Когда мы устраиваем лагерь, он, поев, залезает в свою кабину, закрывает все окна-двери («Комары поналетят, уж я-то знаю»), и вскоре оттуда уже рокошет приглушенный ровный храп, словно оставленный на ночь включенным на холостом ходу мотор грузовика.

Полная луна в ту ночь освещала все вокруг, как пограничный прожектор, напоминая каждому смотрящему на нее о всеобъемлющем могуществе Селены. Майская азиатская ночь опять удивляла меня непривычным россиянину ночным теплом (мы сидели даже без футболок, отдыхая от дневной жары). Голые склоны пустынных адыров фантастически белели в лунной темноте, порой заставляя меня встряхивать головой, чтобы вернуться к реальности: так и казалось, что они сияют исходящим изнутри ровным холодным светом.

Зарудный видел такое же в 1901 году в Афганистане и писал позже: «...Окрестные горы пустынные и совершенно обнажены, и я представляю себе, какой ужас царит в них летом, в жаркие дни! Ночью, при лунном освещении, они представляли оригинальный эффект, так как, изобилуя выпариною солей, казались покрытыми снегом. Иллюзия зимы была бы совершенно полною, если бы не воздух, который не был зимним (в полночь + 30°C), если бы не летевшие на огонь свечи, зажженной в палатке, бабочки и не кусающиеся комары и если бы не крупные летучие мыши, мелькавшие перед входом».

Душераздирающий хохот и завывания шакалов раздавались той лунной ночью из-за соседних холмов буквально с расстояния в сто метров, а мы сидели и безбожно курили, говоря о разном и считая преступлением спать, когда другим вокруг так весело... (Если вы никогда не слышали ночного песнопения шакалов, вам надо спланировать путешествие в Среднюю Азию специально для этого.)

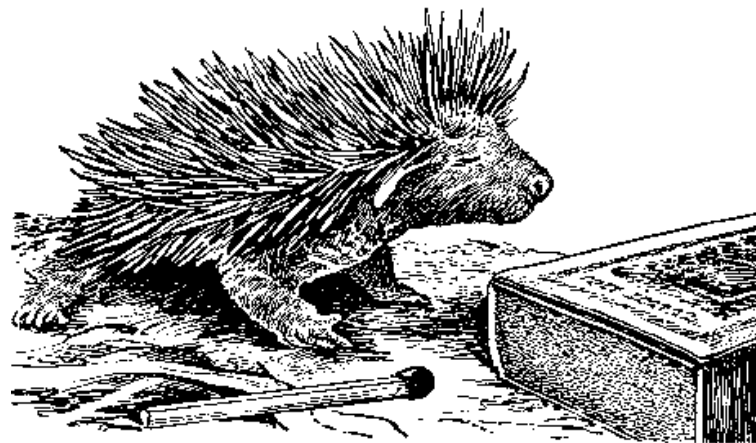
Мы с Неделиным лишь дивились у костра этим песням, лаю, переливчатому хохоту и повизгиваниям, а Поляков, занимавшийся воем шакалов профессионально, периодически цыкал на нас или подносил палец к губам, прислушиваясь:



это дуэт — сначала пропел самец, а потом ему ответила самка; это — групповое семейное пение явно с участием переярков; а это — уже явно член другой группы...

Жена Сереги Перевалова — Ольга (или, как я до сих пор зову ее, «ОБЭПэ»), отвечающая в заповеднике за питомник копытных, по своей научной работе тоже занималась вокализацией шакалов, просиживая ночи напролет с магнитофоном в зарослях тугаев по берегам Сумбара. Чем не работа для современной зоологической амазонки и матери-героини?..

Матери-героини, потому что, имея на руках двух джейранят и двух маленьких козлят (призванных через свою небоязнь человека облегчить джейранятам адаптацию к человеку и к соске), котенка, щенка и принесенную кем-то раненую сплюшку, ОБП управлялась еще и с двумя собственными малолетними детьми. Впрочем, котенка и щенка из бутылки выкармливал ее шестилетний Лешка — единственный извест-



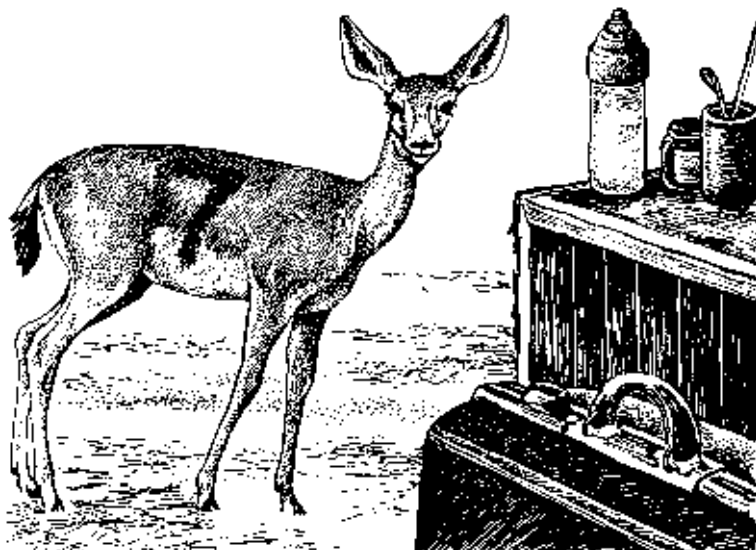
ный мне пример такого рода: шестилетний мальчишка сам вставал по будильнику два раза за ночь покормить эту малышню.

Амазонки, потому что ОБП, со своим энтузиазмом и жизненной энергией, умудрялась заниматься наукой даже будучи матерью-героиней.

Короче говоря, скучно на переваловской площадке молодняка никогда не было. Одно к одному: в подвале их дома длинноухая ежиха (это такой вид ежей, обитающий в Средней Азии, — с длинными ушами и очень длинноногий) тоже родила, осчастливив заповедниковскую коммуны своим колючим потомством. И наглядно ответив тем самым на извечный вопрос многих юных натуралистов и каждой рожавшей женщины: как ежихи умудряются производить на свет своих столь негладких и непушистых детей?

Ежата рождаются размером со спичечный коробок, слепые и с мягкими еще иголками. Через час иголочки на воздухе твердеют, и одновременно у этих еще почти эмбриончиков проявляется врожденное защитное поведение: стоит дотронуться такому ежонку до спины пальцем, как он рефлекторно подпрыгивает на сантиметр, что, по идее, должно привести к уколу потенциального хищника (лисы, шакала) в чувствительный нежный нос.

Выглядит такой трюк почти устрашающе, но вся картина целиком несколько теряет в ужасности за счет того, что, подпрыгивая, ежонок еще и фыркает изо всех сил, дабы пуше на-



пугать противника. Если у взрослого ежа, проделывающего все это, фырканье звучит весьма солидно, то у новорожденно-го оно получается как детское писклявое чихание, наблюдать которое без смеха невозможно. Зрители вокруг буквально валялись, держась за животики, пока я фотографировал эту диковинку на переваловской ладони. (У Зарудного в Оренбурге среди прочей живности жил и ручной еж, но вряд ли Н. А. видел такое.)

Сам Перевалов тоже бодрствовал ночами, отчасти записывая на магнитофон шакальи песни вместе с Ольгой, но главным образом — ловя бражников на свет. Поэтому нередко я, ведя со своими птичками сугубо дневной образ жизни, заходил к ребятам в заповедник после возвращения из маршрута и находил бездыханные тела дрыхнувших родителей, по которым ползала, играя сама с собой, их малолетняя Катька.

ШАКАЛЫ

Каждый вечер в разных сторонах слышатся их громогласные, странные концерты, полные самых разнообразных звуков: в одних слышится отчаяние, скорбь величайшая, тоска или горькая жалоба, в других — радость и безмятежность; впрочем, скорбные звуки преобладают.

(Н. А. Зарудный, 1901)

— О благородные шакалы! — сказал, открывая глаза, Хатем. — Чем могу я отблагодарить вас за хлопоты?..

(Хорасанская сказка)

«2 мая. ...Изучение шакальего воя позволяет узнать массу интересного об этих животных. Сколько их живет на той или иной территории и как они эту территорию используют, где охотятся, где устраивают логово? Как меняется активность общения животных в зависимости от стадии размножения: ухода за потомством (гона), беременности самок, рождения щенков? Как долго молодые и переярки (прошлогодние щенки) остаются в семейных группах и когда начинают самостоятельную

жизнь? Живут отдельные семьи обособленно или объединяются на время?

Наконец, структура и характер самого воя как механизма общения и поддержания всей структуры популяции. Почему в одной группе песни разных шакалов более схожи, чем в другой? Означает ли это, что эта группа сплоченнее? Почему у свалок или в иных местах концентрации шакалов из разных групп совсем нет группового воя хором? Почему после рева леопарда в горном ущелье окрестные шакалы замолкают до утра?

По характеру воя и составу певцов можно судить о влиянии на шакалов природных факторов (наличие и доступность пищи, гибель от наводнений и селей) и влияния человека. И многое другое. Интересно.

Поразительно, что может научиться понимать в природе заинтересованный наблюдатель. Например, узнавать шакалов индивидуально по голосам. Ну разве сможет человек, познакомясь с этим видом столь близко и узнав о нем столь захватывающие вещи, сказать даже врагу: «Поганый шакал...»? Или обидеться на то, что его называли шакалом? Конечно нет. Для любого понимающего человека «шакал» — это комплимент. Так что Табаки — это символ не вида, а характера.

Интересно, может, и правда чукчи у нас на Севере и эскимосы на Аляске понимают по волчьему вою его содержание?»

31

Тогда посланцы вернулись во дворец и доложили шаху, что, мол, толку они не добились никакого...

(Хорасанская сказка)

Вернувшись в Кара-Калу, неизменно служившую всем приезжающим в Западный Копетдаг базой и пристанищем, мы распрощались с Андрюхами, занявшись каждый своими делами: ребята погнали дальше по своему маршруту в другие края, а я стал готовиться к намеченной поездке с Романом, однако он неожиданно, без всякого предупреждения отказался ехать в поле по нашему плану, сказав, что у него другие

приоритеты, много дел и он не считает возможным использовать полученный от заповедника транспорт на поиски ястребиного орла...

Я искренне недоумевал, но настаивать было неуместно, поэтому от дальнейших расспросов, аргументов и взываний к справедливости я воздержался.

«ОГНЕННЫЙ МУСТАНГ?»

— Неужели лошади умеют летать?

— Умеют, — молвил Михравар...

И только он натянул поводья, как у лошади словно выросли крылья, и, оторвавшись от земли, она стремительно понеслась по воздуху...

(Хорасанская сказка)

«15 мая. Привет, Жиртрест!

...Между прочим, в долинах Западного Копетдага, на Чандыре, есть самые настоящие мустанги. Да, да. Одичавшие лошади, которые потерялись на самовыпасе, а потом нарожали уже по-настоящему диких жеребят. Я видел однажды такой табун издалека.

С этими мустангами связаны мои не самые приятные воспоминания о собственном малодушии. Директор заповедника Андрей Николаев позвал меня на Чандыр на отлов и объезд этих одичавших лошадей, а я не поехал, нетипичным для себя образом отказавшись от очевидного приключения. Причем в силу каких-то банально-неочевидных причин, замешанных на ложном чувстве аспирантского долга, требующего от меня ударного орнитологического труда, а не экзотических прохладений... Дурак, теперь жалею. Бездарно не оправдал былого доверия.

У меня ведь в детстве, лет в семь, была кликуха, повешенная за неумную прыть и ярко-красную рыжину двумя непоправимо и безнадежно взрослыми тринадцатилетними дочками московских художников, приезжавших на лето в Едимново на Волгу, где проводили лето и мы, — «Огненный Мустанг»...

Так вот, я сначала не задумывался над этим и лишь много позже, лет в двенадцать, постфактум, тайно ощутил удов-

летворенное мужское самолюбие. Сейчас уже очевидно, что это было самое лестное прозвище или звание, которое я когда-либо получал...»

ЧЕРНЫЙ КОРШУН И ЧАЧА

— Теперь я улетаю. А когда понадобится тебе, сожги одно из перьев, и я сразу же явлюсь на помощь...

(Хорасанская сказка)

«18 мая. Здравия желаю, товарищ Андрюня!

Вольно. Сегодня я сподобился все же залезть на самую высокую вершину в округе. Это Хасар. Где бы ты ни ходил по долине среднего течения Сумбара, отовсюду видны две главные горы: Сюнт и Хасар. Сюнт конусовидный, а Хасар — с плоской широкой вершиной, но повыше.

Поднимался от подножия, не торопясь, наблюдая птиц, четыре часа. Верх горы — место очень своеобразное: широкое, слегка волнистое плато с великолепными травами и разбросанными в понижениях рощицами цветущего боярышника и дикой вишни.

А надо всем этим мотается в синем небе полтора десятка черных коршунов, кормящихся в воздухе жуками. Летают вперемешку, паря и время от времени выделявая пируэты и виражи, перед тем как притормозить в полете, поставив тело вертикально, и схватить насекомое вытянутой вперед тонкой лапой. Потом подносят добычу к клюву, обрывают жесткие жуциные ноги и едят жуков вместе с крыльями.

И вот смотрю я на все это и понимаю, что после Бомбея черный коршун стал для меня совершенно особой птицей. Причем, помню, Чача тогда, первым же утром после нашего прилета, за столом так по-будничному сказал: «Хватит рассиживать, орнитоптёр, вставай, пошли птичек покорим».

Я еще не понял тогда ничего: не замечал я за ним пристрастия к содержанию птиц. А оказалось, что кормить мы идем диких черных коршунов, живущих в Бомбее прямо в городе в несметном количестве (мне еще Володин про такое же в Дели рассказывал).

Жены и дети наши спят, а мы с ним выходим на балкон какого-то поднебесного этажа — весь Бомбей под нами, солнце встает, Индийский океан в километре плещется, — Чача достает кусочек сырого мяса и начинает им размахивать. Сразу откуда-то появляется коршун и стремительно приближается к нам, ловя подачку на лету в метре от наших физиономий.

После такого я уже оторваться от этого занятия не мог. Извел весь провиант, но пронаблюдал потрясающие вещи. Они не только брошенное на лету подхватывают, они, пикируя на страшной скорости, берут кусочек мяса с раскрытой ладони! Подумай сам, какой это пилотаж и глазомер! Ведь страшно все-таки: человек, рядом второй снимает это на камеру, а кушать-то хочется.

И вот коршун видит мою руку, взлетает с крыши противоположного здания; летит к нам, метров за десять прекращает махать крыльями, складывает их наполовину, пикирует по плавной траектории, развивая устрашающее ускорение, а в момент подлета берет лапой угощение с руки так, что ладони касается лишь на микрон и только тупой наружной стороной когтя, которым подцепляет прозрачный ломтик мяса. Но что



ощущается при этом безошибочно, так это железная хватка кажущейся такой тонкой лапки.

Собралось птиц десять одновременно, устроили целый хоровод перед балконом, сменяя друг друга на заходах за едой, как садящиеся самолеты в аэропорту. Потрясающе. Такое исключительное зрелище, что мы даже Чачину любительскую видеосъемку поставили потом в Останкино (получив высочайшее разрешение на *технический брак*) в программу «В мире животных» перед импортным фильмом про индийских птиц, который я переводил и комментировал.

Я от этих птичьих игр пришел в такой пионерский восторг и так ошалел, что, закончив эту небывалую кормежку коршунов, находясь в эйфории нашего первого утра в Индии (и для пушей праздничности бытия), мы с Чачей прямо в семь утра набухались джина с тоником и поехали по еще сонному воскресному Бомбею на какую-то специальную улочку, к знакомому ему индусу, торгующему фруктами на лотке-телеге с огромными колесами.

Стройный, с элегантным утонченным лицом, продавец выбрал для нас из целой горы «самых лучших» кокоса, сделал с ними поочередно что-то факирское: подкинул в воздух, одновременно подхватив с прилавка короткий нож, потом чиркнул несколько раз этим ножом по окружности кокосовой лысины, с подозрительной легкостью смахнул кривым лезвием жесткую ореховую верхушку и протянул сначала мне, а через три секунды Чаче уже открытый орех с трубочкой и с врезанной в стенку пластинкой скорлупы (чтобы выскрести после питья творожно-мягкую серединку).



В голове моей, как в лампе Аладина, готовился к подвигам подзадоривающий сам себя джин;

душа пела; а сам я, впервые в жизни потягивая кокосовую муть, шурясь от солнца, смотрел то на продавца, то на улицу, то на Чачу; а он, шурясь, смотрел на меня, на то же самое вокруг и на синее бомбейское небо, по которому столь необычно (в такую-то рань) суматошно мотались несколько хищных птичьих силуэтов... А потом Чача и говорит:

— По, а чего это они крыльями хлопают, как куры?

Теперь, наблюдая каждого черного коршуна, парящего в охотничьем полете над долиной Сумбара или над плоской вершиной Хасара, я его иначе, как привет от Чачи, и не воспринимаю. Смотрю на узнаваемый издали вильчатый хвост, на крылья с изломом и думаю: «Где и как там Чача сейчас?»

Он ведь показал нам Индию так, как я мечтал бы показать все, что вижу сам, всем вам: изнутри, с полной отдачей и на дружеском вдохновении; так, как туристу никогда не увидеть... Пора мне ему, кстати, написать.

Вот такие вот дела... Пока, Ленке и Эммочке привет».



ЗА КОРДОНОМ

Куда уехал ты? В какие города?
Китай тебя не ждет,
Не ждут тебя индусы...
Куда уехал ты, действительно, куда?
Давай-ка поворачивай в Тарусу...
(Студенческая песня)

Родом я из Восточных земель, а путь держу в
Западные...

(Хорасанская сказка)

«6 июня.

Привет, Чача!

...Жарко сегодня. А ты там живой под тропическим индийским солнышком? У тебя-то хуже: влажность.

Шастая здесь, среди так и не разрушенных до конца мусульманских традиций братского туркменского народа, и вспоминая про тебя, пребывающего в индуистской части своей кармы, часто думаю о феномене удаленности от дома, о загранике, об эмиграции и о духовной связи с собственными культурными корнями (пардон уж за высокий штиль).

Сначала, конечно, то, что лежит на поверхности: экзотика незнакомого мира и ощущение отчужденности. С экзотикой вроде понятно. В разных регионах и для разных людских характеров она проявляется в разной степени, но почти всегда дает некую стартовую эйфорию, на волне которой интересующийся человек начинает знакомство с новой культурой. У кого-то эти приподнятые ощущения развеиваются быстрее, у кого-то медленнее. Кто-то одарен свежестью восприятия настолько, что может сохранить это стартовое ощущение, этот «гормон новизны» на всю жизнь, а есть и те, у кого они вообще не возникают, а гормон этот вообще не вырабатывается (этим соболезуем, но «тут про таких не поют»).

Отчужденность? В этом, как минимум, два пласта. Верхний — отчужденность бытовая, повседневная. Это совокупность языковых и житейских барьеров. Прежде всего — язык. Сколько лет приезжаю в Туркестан, а ты думаешь, я выучил туркменский? Ни фига. Можно бы, конечно, упереться рогом, потратить массу сил и времени. Ну и что? «Иду по дорогам, смотрю — два копейка сидит; я его взял, на карман поставил...» — дальше такого мне в любом случае не сдвинуться. Хотя и это — уже хлеб; язык, конечно, при любой возможности учить надо. Жил бы в быту с туркменами — выучил бы. Ладно, а кроме языка?

Менталитет — это уже серьезнее. В эту бездну сейчас не полезу («Восток — дело тонкое...»). Ясно только, что менталитет, как язык, выучить нельзя. Можно потратить остаток сознательной жизни на его изучение и понимание, но привить его себе невозможно. Поиграть в это можно, но отторжение несовместимых культурных тканей неизбежно.

Поэтому у меня лично любая попытка взрослого человека стать в чужом обществе своим ничего, кроме сострадательного сочувствия, не вызывает. Для меня очевидно, что ни одному нормальному индивидууму, волею судьбы оказавшемуся у черты на рогах, и в голову не придет стать где-то там своим.

Своим надо быть там, где ты свой, среди своих. Хотя, впрочем, многие пытаются, стремятся к этому. Тоже можно понять: жизнь скрутит — будешь стремиться.

Да и «свои» разные бывают. Ты порой еще лишь всего одной ногой за порог, и не навсегда, а так, погулять, но уже сразу почти подталкивают, чтобы дверь захлопнуть за спиной; фотографии твои со стен если и не отклеивают, то уж уголок пробуют на прочность: легко ли будет отодрать, когда момент настанет... Кто из искреннего патриотизма к родным стенам, кто из презрения к «изменщику», а кто и потому, что никак с себя совковый мох не соскоблится...

Ну а уж если ты в своих странствиях еще где и засидишься, тогда уж вообще пиши пропало... Хотя что это я, в самом деле, рассуждаю в таком важном вопросе про какую-то шелупонь; свои — это настоящие свои.

Для меня априори очевиден тот факт, что, окажись я насовсем здесь, под знаменами ислама, или на Новой Гвинее, или в Норвегии, душой буду продолжать жить в своем исходном культурном пласте, сознавая собственную инородность по отношению к окружающему; наблюдая его, изучая, упиваясь, может быть, но не рассматривая себя самого его составной частью.

Проблема лишь в том, что, оказавшись в таком положении, неизбежно консервируешься в той своей первоначальной культурно-временной среде, из которой уехал, отрываясь от продолжающегося хода ее развития.

Как трогательно-печально выглядит стремление даже грандиозных русских умов, после десятилетий (или всего лишь лет) удаленности, пусть даже каждодневно проникнутой самым чистосердечным интересом ко всему тому, что происходит дома, рассуждать о сегодняшних, текущих судьбах оставленной страны. Без понимания того, что судьбы эти давно уже несутся по другим волнам и обдуваются другими ветрами. Тем более судьбы России! Ни одна страна не меняется сейчас столь радикально и столь стремительно, как Россия. И положение такое наверняка сохранится и в будущем.

Так что факт налицо: отрываться нельзя. Ну а уж если отрываешься, то главное при этом — цель. Ради чего. Все остальное вторично. А цель — это уже отдельный разговор.

Кстати, о цели. Ты веришь в предназначение?

Я теперь верю. Потому что планируешь, планируешь жизнь, строишь ее в соответствии со своим глубокомысленным анализом происходящего, дергаешься, упорствуешь, а потом оглядываешься назад — и выясняется, что все эти невероятные усилия и то, ради чего они затрачивались, сами по себе и не важны вовсе... И все это нужно было лишь для того, чтобы «*само собой*» сложилось что-то совсем другое, о чем и не думал никогда. Как раз то, что и оказывается главным...

Я сначала было из-за этого расстроился, что же за фигня такая, думаю? А потом, наоборот, такую раскрепощенность почувствовал, словно груз с плечей свалился...

Пример? Бог его знает. Может, мои жаворонки и есть пример. Может, я в Туркестан совсем не для того попал, чтобы в сравнительной экологии жаворонков разобраться, а для чего-нибудь совсем другого. Например, чтобы фасциатуса искать или чтобы внести неопределимый вклад в дружбу русского и туркменского народов: «Салам алейкум! Алейкум ассалам!»

Чего ты лыбишься, дубина?

Не знаю уж, как ты, но сам я (прости, Господи, за неизбежную патетику) постоянно чувствую, что представляю здесь Россию. Хорошо уж или плохо — это другой вопрос. И совершенно меня не колышет, что никто меня на это официально не уполномочивал. У меня на это мандат посерьезнее. С самого верха. От судьбы. И нечего тут расшаркиваться в объяснениях; все, видишь ли, опасаемся выглядеть нескромно...

А ощущение этой моей сопричастности к *русскому* настолько несомненно и сильно, тот факт, что многие здесь судят о России именно по мне, настолько очевиден, что нечего и оговариваться по три раза. Я ведь часто здесь разным людям что-то негласное про русский дух рассказываю. Порой до смешного — как у Зарудного сто лет назад почти в этих местах, когда он персам про величие России и славу государя излагал. А ведь мы-то с туркменами в одной стране живем.

Ладно, давай там, дружи с индусами и не теряй связи с родиной-матерью.

А мне давно уже вниз пора, и так домой до темноты не дойду...»

СУПЕРМЕНСКИЕ ЩЕНКИ

Что касается до подарков, то путешествие без них по Персии сопряжено с некоторыми затруднениями. К тому же я собирался посетить такие места, где очень мало знают Россию и никогда не видали русских... и где, следовательно, мне надлежало, насколько это было возможно, поддерживать достоинство своей родины.

(Н. А. Зарудный, 1901)

«20 июля. Здорво, Маркыч! Как оно?

...Любишь делать подарки? Я люблю. Особенно когда возможность есть не считать копейки. Более того, во многих случаях полагаю невозможным их не делать. Ну как можно, приезжая куда-нибудь далеко откуда-нибудь издалёка, не привезти подарков? Невозможно же такое.

Жаль только, что многие подарок традиционно воспринимают прежде всего как подношение в ключе «ты мне — я тебе». Получает человек подарок, и у него сразу же настороженная мысль: «Уж не борзые ли это щенки? Значит, я зачем-то ему нужен, если он подарок мне дарит... Зачем?» И уже после этого он на всякий случай надувается, как индюк. Да еще и забывает поблагодарить, разволновавшись от собственной важности. Иногда до смешного, честное слово. А иногда откровенно расстраивает. Все чаще теперь только самым близким что-то привожу, кому объяснять ничего не надо и кто в корысти не заподозрит, а если подарок невелик, то в скарденности не обвинит.

Мне многие из русских, пожившие в Азии, напрямую советовали: держись с местными построже; мол, чем строже с ними, тем больше уважают; чувствуют в тебе башлыка.

Есть, конечно, в этом доля истины. Как Зарудный писал про свое путешествие по Персии в 1900 году: «Не раз... мне случалось слышать такое мнение: «Русские люди не делают нам таких ценных подарков, как англичане; это оттого, что они не боятся нас, и не они в наших, а мы в их должны нуждаться услугах». Восток. Правда это. Проверял. Но не использую. Очень уж себя неуютно чувствую, демонстрируя сталь во взгляде; противно это моему естеству.

Да и Зарудный сам подтверждает, что раз на раз не приходится: «...я был, так сказать, представителем России в этом отдаленном углу Персии, мне надлежало поддерживать ее достоинство в глазах здешнего населения и, следовательно, не скупиться на всевозможные подарки».

То-то и оно. Сильный человек силу просто так, «на всякий случай», никогда не демонстрирует (так только зверюшки делают: обезьянки, волчки, тигрики). Ибо сказано: «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать». А если кто вышагивает суперменом, тот или дурак, или карьерой чересчур озабочен, или сложности у него с дамами.

Я как вижу супермена (что на ученом совете, что в быту), по-американски играющего мускулами или по-нашему размахивающего маузером, мне так и хочется дать ему трояк, чтобы он купил себе зеленую бутылку прозрачного вина, отпил бы из горла и уснул бы тихонько где-нибудь в тенечке, чтобы душа у него отдохнула...

Это, знаешь ли, моржевал я в тот год, когда Васька у нас с Лизой родился. Сам не знаю почему, нашло чего-то; дурак, наверное, был. Пять утра, мороз, луна на черном небе, а я трюхаю в валенках и в ватнике к проруби, как к собственной гибели. Мужики там уже свежий лед обкололи, расчистили. Влезаю я в эту черную воду, а сам думаю, мол, ну и фиг с ним, зато уж сегодня, что бы со мной ни произошло, хуже этого уже ничего быть не может...

Так вот, короче, той осенью, до снега еще, Балашиха, конец ноября. Сплошного льда на Гушенке еще нет, но уже мороз вовсю ночью, вдоль берегов замерзает. Собирается в шесть утра на берегу несколько таких; хорохоримся, разогреемся: кто на турнике подтягивается, кто с гирей корячится. Потом заскакиваем в воду по очереди, судорожно плаваем по пятнадцать секунд, выскакиваем пробками на берег, лихорадочно растираемся полотенцами и ходим браво; хорошо нам (понятное дело, что любому хорошо, когда из такой воды вылезет). Посматриваем, понимаешь ли, как от наших *разгоряченных тел пар идет*; гордимся не гордимся, но *ощущаем себя*...

Тут и появляется этот мужичонка. Трюх-трюх, в заячьей ушанке за три рубля, в курточке какой-то задрипанной; даже не прибегает, а просто приходит невесть откуда быстрым шагом.

— Привет, мужики! — Начинает раздеваться. До семейных трусов. Тощий такой мужик; капля на носу висит; алкаш алкашом. Раздевается, значит, смотрит с недоверием на наших жеребцов, которые тяжести тягают, потом заходит, ежась, в свинцово-неподвижную морозную воду и плывет. Уплывает к дальнему мосту, исчезает в утренней темноте из поля зрения, появляется назад через пятнадцать минут... А мы смотрим на это и не верим...

Он приплывает, вылезает, ни полотенца у него, ничего. Стряхивает воду с плеч, трясет руками (мол, блин, холодно...), отворачивается к кустику, снимает свои линялые семейные трусы с тощего белого зада, выжимает, надевает их опять, потом одевается целиком прямо на мокрое тело, натяливает свою ушанку на уши...

— Ну, давайте, мужики, здорово живите... — И потрюхал себе опять куда-то, так же утерев каплю на носу...

А мы стоим, физкультурники плюшевые, смотрим на это, и уже никто плеч не расправляет, не пыжится...

К чему я это завел?.. Забыл. А, это я к тому, что выпендриваемся много. А уметь принять подарок — еще труднее, чем уметь его подарить».

32

...он... открыл глаза и увидел, что нет перед ним ни сада, ни дворца, что куда-то исчезли дракон и див. А стоит он в пустыне, коей нет ни конца ни края...

(Хорасанская сказка)

В результате отказа Романа вместо планировавшейся мобильной экспедиции с партнером я вновь оказался сам по себе, без транспорта и с ненужными уже планами, которые готовил три месяца. Терять же даже день сезона, спланированного с таким трудом в обход других дел, было просто недопустимо.

Честно признаюсь, настроение у меня было паршивое. Вышагивая под мерный стук шагомера («клик-клик») по адырам от кордона заповедника к ВИРУ, к дому Муравских, вдыхая, как всегда во время своих пеших переходов, забывае-

мый запах полыни и ощущая подошвами жесткую комковатую поверхность прокаленной солнцем земли, я думал про все это. И почему-то про то, как началась для меня моя Туркмения.

НОВАЯ ЗЕМЛЯ

Крестьянский сын на все готовый,
Всегда он легок на подъем.
Вы мне готовьте гроб дубовый
И крест серебряный на нем...

(Русская народная песня)

Судьба сия — предначертание Аллаха. Не противься ей, а не то бесславно закончишь свои дни...

(Хорасанская сказка)

«15 сентября. Много лет назад, закончив геофак МГПИ, получив приглашение в аспирантуру на кафедру зоологии и поступив в нее, я был одарен неслыханным подарком: мой профессор — Алексей Васильевич Михеев («Михеич») позволил мне самостоятельно выбрать тему диссертации. Сразу должно быть понятно: так везет не всем.

К этому моменту я уже весьма точно представлял, чем хотел бы заниматься, но имел все еще неразрешенной странную на первый взгляд дилемму: изучать интересующую меня проблему в тундре на куликах — или в пустыне на жаворонках.

Соединив предоставленную мне свободу выбора с неумным географическим воображением, я направил свой выбор на север и провел месяц, день за днем изучая в библиотеках на удивление немногочисленные и почему-то очень старые источники по тундре островов Новой Земли.

А когда собрался обосновывать на кафедре этот выбор, старшие коллеги посмотрели на меня как на лунатика и высказались на тот предмет, что орнитологическая увлеченность орнитологической увлеченностью, но неплохо бы и с реальной жизнью хоть какие-то соприкосновения иметь.

Доступнее всех эту мысль выразил В. Т. Вологдин (которого на кафедре все зовут «Трофимыч»), уже много лет работав-

ший на Европейском Севере, а в свое время (чего я не знал) — и на самой Новой Земле:

— Эй, Паганель, проснись, это ведь наш ядерный полигон! Ты что, правда не знаешь?..

Я выпросил тогда дополнительное время на то, чтобы обосновать выбор региона на юге страны. Занимаясь этим, я с трепетом обратился за советом к знатоку фауны Средней Азии, нашему авторитетному орнитологу Самвелу Оганесяну, в свое время тоже работавшему у нас на кафедре.

Терпеливо выслушав мои амбициозные аспирантские теоретизирования на тему, где же решать мою важнейшую научную проблему, добродушно побурвав меня черными как уголь глазами и пыхнув пару раз старинной трубкой, Оганесян произнес ставшие для меня судьбоносными слова: «А поезжайте-ка вы, Сережа, в Кара-Калу...»

Я разузнал все, что мог, про Западный Копетдаг, сделал доклад на кафедре, мою тему утвердили, и я получил благословение и карт-бланш на три аспирантских года.

Моему первому путешествию предшествовала кропотливая подготовка, масса волнений и предчувствие неизвестного, ознаменовавшие новую в моей жизни аспирантскую страничку, превратившуюся позже в столь важную туркменскую главу. Я встречался с разными работавшими в Средней Азии людьми, готовил снаряжение.

Самой большой проблемой были лучки — ловушки для наземных птиц. Купить их было негде, надо было делать самому. Я специально съездил в Окский заповедник к его директору — Святославу Полонскому, не пожалевшему времени на то, чтобы научить меня, как самому делать их из проволоки. Разъезжая потом на велосипеде по окрестностям подмосковной Балашихи, я собирал беспризорно валявшиеся тут и там мотки оцинкованной проволоки, а потом несколько дней подряд я с Чачей, Андрюней, Ленкой и Эммочкой делал из них лучки (мы с мужиками гнули проволоку, девчонки обтягивали ее сеткой, и все мы при этом хохотали о разном днями напролет).

Потом меня шумно провожали на перроне. Потом я почти четыре дня ехал в Ашхабад на поезде. Первый и единственный раз, когда я осилил путешествие туда по железной дороге. Никогда уже впоследствии у меня не хватало на это ни времени, ни терпения. А тогда, в первый раз, это было хорошо».

НАЧАЛО

...сердце замирает в предвкушении... экскурсий по дебрям этой интересной страны.

(Н. А. Зарудный, 1901)

Бросили звездочеты жребий, взглянули на звезды, раскрыли волшебные книги и поведали шаху, что Хатему уготована счастливая судьба...

(Хорасанская сказка)

«14 января. ...Ехали отлично. Я занимался птичками, спокойно спал, сидел, смотрел в окно, пил невкусный вагонный чай с сахаром из граненых стаканов с подстаканниками. Наслаждался контрастом с предотъездной суетой и суматохой. Млел, наблюдая метаморфозы за окном.

Первый день — все обычно: грязные сугробы, промышленное запустение, неопрятные хрущевки невдалеке от станций — все то, что так узнаваемо и воспринимается как *оставляемое свое*, когда отъезжаешь куда-то.

Второй день — снега меньше, меньше, меньше.

Третий день с утра — промерзший Казахстан, чуть припорошенный снежком, с совершенно безоблачным небом и ярким солнцем. Потом Каракалпакия — уже без снега, но с узбеками и верблюдами.

И уже перед Ашхабадом ехали вдоль Копетдага. Горы есть горы. Хоть и без остроконечных вершин. Особенно для меня — равнинной крысы. Граница в ста метрах от поезда. Столбы с проволокой, дорожка, контрольная полоса, опять столбы, опять дорожка, опять полоса. А дальше птички летают уже над Ираном. Хищники на телеграфных столбах сидят. Умом понимаю, что реальность, а не верится — все аж вибрирует внутри».

АШХАБАД

В государстве Хорасан... есть город, именуемый Хуснабадом...

(Хорасанская сказка)

«17 января. ...Поезд опоздал в Ашхабад на два часа, так что, когда приехали, рабочий день уже кончился. Сдал вещи в ка-

меру хранения. Все гостиницы забиты: проходит какой-то огромный конгресс.

Нашел Институт зоологии АН ТССР. Захожу. Поздно, пусто. Уборщица метет. Вошел, спросил, рассказал. Случилась задержавшаяся секретарша. Позвонила директору, уточнила. Директор подтвердил, распорядился.

Поселили меня на ночь в кабинете замдиректора по науке. Вдруг оказывается, что в орнитологическом отделе задержался Атабай — очень симпатичный дядька, с которым я познакомился полгода назад на орнитологической конференции. Он меня подвез на своем «Москвиче» в камеру хранения за спальником; дал из своего стола чайник, заварку, сахар, пиалу. Все остальное — завтра.

Спал я хорошо, расстелив на огромном полированном столе спальник и подложив под голову самую толстую из найденных в кабинете книг — «Насекомые Монголии. Том 1».

Утром встал, умылся, попил чаю в еще пустом учреждении. Потянулись служащие. Уже позже встретились с начальством; долго говорили, подтвердив известное для Востока ранее лишь по теории правило: к главному в разговоре — не сразу. Нельзя начинать беседу, беря быка за рога. До того, зачем я приехал и что мне надо, мы продвигались в нашем разговоре минут двадцать».

КИЗЫЛ-АРВАТ

Место, избранное мной, хоть и не столь прекрасно, как твое владение, однако мне оно пришлось по душе...

(Хорасанская сказка)

«18 января. В Кизыл-Арват из Ашхабада я ехал на поезде.

Согласен с мнением, услышанным от приехавшего из Туркестана воронятника Константинопольского, побывавшего разок в этих местах раньше меня. Он тогда хохотнул заговорщически, крутанул свою черную бороду-горбушку, закрутив ее упругой спиралью, и поведал мне, в ту пору — зеленому аспиранту-первогодку, что, мол, готовься, П-в;

Кизыл-Арват производит на россиянина незабываемое впечатление...

Позже, уже лучше зная Туркмению, я посмотрел места и поядренее, но Кизыл-Арват был первым провинциальным туркменским поселением транспортно-индустриального типа, с которым я познакомился, и он действительно запомнился мне на всю жизнь».

«18 января. ...Деревьев в Арвате очень мало; всюду асфальт, пыльные пустыри и не менее пыльные широкие улицы. Но на улицы не похоже, так как дома вокруг только одноэтажные, а улицы, в представлении москвича, — это что-то узкое, окруженное чем-то высоким. Поэтому и кажется, что здесь все широкое, как и окружающая пустыня: с боков не давит.

Вдоль улиц глухие заборы из досок, за которыми одноэтажные побеленные азиатские дома. Около ворот грязновато; черноватенькие туркменчата играют босиком в холодной пыли (маленькие девочки в затасканных цветастых платяницах пострижены наголо, но с золотыми сережками в ушах). Женщин как-то не заметно. Мужчины часто кучкуются на углах или у приметных точек — на остановках, у ларьков, на рынке. По-азиатски сидя на корточках, переговариваются, покуривая и поглядывая по сторонам. Аксакалы в огромных бараньих шапках — тельпеках. Поразившим меня откровением явилось то, что под тельпеком на гладко выбритой голове надета еще и тубетейка (а сама голова у стариков яйцевидная потому, что им ее в детстве специально тугими повязками стягивали; сейчас уже, наверное, так не делают).

Интересно, как выглядел Кизыл-Арват в 1884 году (лишь через три года после присоединения Закаспийского края к России), когда Зарудный приехал сюда во время своего первого путешествия по Закаспию?

Среди прочего, коллеги, бывавшие в Туркмении, напутствовали меня в Москве: «Не джентльменствуй чрезмерно в Арвате перед автобусом, а то останешься там навсегда». Я вспоминал эти слова, ожидая автобус до Кара-Калы и наблюдая людей вокруг.

На автостанции нищий туркмен-дурачок побирался, что-то пел, приставая с просьбами к ожидавшим автобус пасса-

жирам, в большинстве игнорировавшим его каждый по-своему, давая иногда мелочь. Потом он вдруг, сидя на коленях, начал истово молиться, заунывно распевая непонятные мне слова, касаясь в низких поклонах лбом грязного пола. В этот момент ему все, находящиеся поблизости, сразу напихали в карманы подаений, поругиваясь и посмеиваясь (опять совершенно беззлобно), посоветовали ему идти куда подальше, но когда он, закончив истерику и молитву, встал, всхлипывая, многие вокруг очень быстро и скомканно сделали это мусульманское движение, заключающее молитву, — омовение ладонями по лицу. Даже туркмен-подполковник в форме. И в отношении окружающих к этому дурачку, и в естественном всеобщем приобщении к его молитве мгновенно угадывалось что-то исконное и важное, отличающее этих людей от меня самого и от всех тех, с кем я привык общаться дома.

Что значит «не джентльменствуй чрезмерно», я понял после прихода самого автобуса. Многочисленные ханумки, появившиеся на автостанции гораздо позже меня и даже не бравшие, по моим наблюдениям, билетов, ломанули в автобус с такой эмансипированной энергией, что аж дух захватывало.

Я подсаживал под локоть пожилых женщин, втискивающих в жалкий «пазик» непрерывным потоком, и не решался сам вступить в этот поток со своими рюкзаками. Кончилось тем, что я не влез. Рассевшиеся в автобусе бабульки и прочие пассажиры посматривали на меня через окна автобуса с уже успокоившимися лицами и сокрушенно качали головами: «Вах, вах, вах», — с трудом скрывая удовлетворение от того, что уж они-то сами не такие лохи, как эти иностранцы-русские.

В тот первый раз я еще не знал о возможности доехать до Кара-Калы на попутке, и мне ничего не оставалось, как отправиться в кизыл-арватскую гостиницу, чтобы переночевать, а утром, уж точно «не джентльменствуя чрезмерно», все же уехать в Кара-Калу.

Дойдя на следующее утро с двумя рюкзаками (один на спине, другой на груди) до злополучного автовокзала и сменив сдержанно-джентльменский стиль на смешливо-панибратский, я проник-таки, с шутками-прибаутками борясь за жизнь, в утренний автобус и поехал в Кара-Калу.

Через несколько лет, проносясь от Ашхабада до Кара-Калы по прекрасному асфальту за каких-то пять часов, я всегда вспоминал тот первый автобусный маршрут, когда пассажирам приходилось выходить из автобуса перед крутыми подъемами, а местами и подталкивать надрывно фыркающий «пазик» по неровной, каменистой дороге.

ДЫМ ОТЕЧЕСТВА

Потом он воссел на трон, и тотчас же послышался странный скрип...

(Хорасанская сказка)

«20 января. В конце концов я добрался до Муравских со своими огромными рюкзаками и рекомендательным письмом от другого своего будущего коллеги — энтомолога и непобедимого призера института по лыжам, Ефима Черновского, занимавшегося в аспирантские годы на Сумбаре саранчовыми.

Я был Муравскими не просто принят, я впервые в жизни получил в свое распоряжение отдельный кабинет — комнатушку, из которой родители по такому случаю безоговорочно вытурили сына-подростка — Стаса.

В первое же утро в этой комнате абсолютно чужого дома, боясь потревожить еще совсем незнакомых мне хозяев, я предусмотрительно затенил настольную лампу зеленым махровым полотенцем и пошел делать зарядку, а когда вернулся, все уже скакали в ядовитом химическом дыму: пластиковый плафон на лампе расплавился, а полотенце на нем сгорело, чуть не учинив пожар... Даже сегодня, когда я вспоминаю об этом, у меня на лбу выступает холодный пот от пережитого тогда ужаса и смущения.

Мы постоянно засиживались с Муравскими до поздней ночи, разговаривая про этот край, про обычаи туркменов, про удивительную природу Западного Копетдага и про разных интересных людей, приезжавших эту природу изучать, — многие из них сиживали с хозяевами на этой же кухне».

КАРА-КАЛА

«КАРА-КАЛА, пос. гор. типа... в Туркменской ССР, в предгорьях Копетдага, на р. Сумбар, в 91 км от ж.-д. ст. Кизыл-Арват. Ковроделие, трикот. произ-во. Туркм. Опытная станция Всес. Н.-и. Ин-та растениеводства. Краеведч. музей. В окрестностях К.-К. — Сюнт-Хасардагский заповедник».

(*Географический энциклопедический словарь, 1989*)

«21 января. ...В Кара-Кале нет телевидения. Рассказывают, что был человек, одержимый идеей довести сюда ретрансляцию. Таскал на себе оборудование на вершину Хасара, сам строил там вышку под антенну. Но вскоре непонятным образом погиб. Случай не раскрыли. Говорят, «старики не хотели телевидения».

Упоминаю про это потому, что значение каждого вечернего разговора, каждой книги и каждой пластинки, устанавливаемой на выдавшую виды радиолу, здесь совсем иное, нежели в Москве.

А на вершине Хасара и сейчас видны остатки того, что тот человек делал там в одиночку, кустарно, завозя материалы на ишаке, но движимый большой идеей.

Несколько лет спустя телевидение все же воплотилось здесь в реальность. Ретранслятор поставили на Малом Сюнте. Там посменно живут мотористы, обслуживающие генератор, а Кара-Кала стала ближе к внешнему миру, получая, хоть и с перебоями в зависимости от погоды, один телевизионный канал. С директором Сюнт-Хасардага Андреем Николаевым мы ездили на Малый Сюнт смотреть, что и как с этой телевышкой и не представляет ли генератор проблемы для заповедника: ретранслятор находится в заповедной черте.

Спускались мы оттуда на «ГАЗ-66» по Винтам — серпантину на южном склоне Сюнт-Хасардагской гряды, проложенному вручную еще в стародавние времена. Наш шофер Рахман, бедолага, на этом серпантине проклял все — и предков, которые такую узкую дорогу проложили, и современные грузовики, и свою шоферскую долю. А когда приехали в ВИР, он мгновенно уснул прямо в кабине — отрубился от перенапряжения».

«21 января. ...В Кара-Кале двенадцать тысяч населения. За исключением нескольких двух-трехэтажных административных зданий и офицерских общежитий в погранотряде, весь поселок застроен типичными одноэтажными туркменскими домами с шиферными крышами и побеленными стенами. Много зелени, благодаря чему даже прозаический поход в магазин или на почту порой превращается в интересную орнитологическую экскурсию по самому поселку (всегда выхожу «в город» с биноклем).

В центре — открытый кинотеатр, где до появления телевидения каждый вечер показывали разное кино. Народ с восторгом ломился туда на индийские фильмы. Я тоже ходил в кино, но не ради кино как такового, а за компанию с Игорем и Наташей и за-ради необычности ситуации.

После начала просмотра и сгущения сумерек в яркий луч проектора и на освещенный экран начинали залетать бражники, мгновенно выхватываемые из освещенного



пространства пикирующими на них летучими мышами. Это потрясающее зрелище, в сочетании с ночным теплом, с происходившим на экране действием и с криками сплюшек, раздававшимися из окружающих деревьев, создавало непередаваемое ощущение фантастического сна, к моему нескрываемому восторгу происходившего в действительности».

Каждый новый день приносил мне в ту пору непередаваемые по яркости впечатления об этой удивительной стране. Пройдет много лет, прежде чем я хоть как-то привыкну к тому, что в декабре и январе вместо московских сугробов меня окружают зеленая трава и поющие урывками в теплую солнечную погоду экзотические птицы.

ВИР

Полчища грачей и скворцов, жировавших на полях или переносившихся с места на место, заставляли забывать о зимнем времени года и будили в душе столько раз пережитые ощущения беспокойного чувства тоскливой радости, когда, бывало, я с таким болезненным нетерпением в темные зимние дни под вой холодного бурана... поджидал весны и она наконец наступала.

(Н. А. Зарудный, 1916)

Он... увидел, что там произрастают не только кипарисы и тополя, но и всякие диковинные деревья. И на всех этих деревьях распевали соловьи, горлинки и другие сладкоголосые птицы...

(Хорасанская сказка)

«23 января. Здравствуйте, Алексей Васильевич!

Как самочувствие? Как там кафедральные дела? Химики все так же заливают сверху нашу аудиторию?

...ВИР поразил обилием и разнообразием деревьев. В том числе экзотических, ранее никогда мною не виданных, свидетельствующих о том, что это действительно субтропики: огромные кипарисы и туя; мелия со странными бежевыми

ягодками на голых ветвях в пяти метрах от земли; сосны с огромными иголками и шишками; маклюра с экзотическими, как огромные несъедобные апельсины, плодами и колючими ветками.

Непроходимый дендрарий притягивает меня, как настоящие экзотические джунгли, конечно же скрывающие массу неведомого. Но заросли настолько густые, что невозможно рассмотреть, что там внутри пищит и чирикает.

Буквально все это пространство напичкано птицами, птичками и пташками в огромном количестве. Любому московскому человеку, приехавшему «из зимы», это просто покажется чем-то фантастическим. У меня же от вида каждого черного дрозда и дубоноса или выпугиваемого с дневки из особенно густых зарослей дендрария ястреба-тетеревятника или филина по сердцу разливается что-то теплое и приятное, какая-то особая непритупляющаяся отрада...

ВИР окружен забором, которого не увидишь в Москве: он сложен из огромных известняковых кирпичей, как где-нибудь в Крыму или на Кавказе, одним своим видом подчеркивая южную специфику этого места. Я часто лазаю через этот забор, когда хожу на почту (лень обходить до ворот); в щелях между кирпичами в этом южном заборе местами гнездятся серые синицы (*Parus cinereus*).

Первые выходы за пределы ВИРа — и того пуще, как сплошное непрерывное кино: каждый склон, каждый поворот, каждый вид привлекает внимание новизной и требует полного сосредоточения, потому как, сколько ни готовился, все вокруг новое и совершенно незнакомое».

ТОПОНИМИКА

— Скажи нам, как зовут твоего повелителя и как называется эта пустыня?

(Хорасанская сказка)

«25 января. ...Географические названия в регионе волнуют меня и будоражат воображение: Арапджик, Арпаклен, Атрек, Бендесен, Гёбесауд, Дайна, Дойран, Дузлуолум, Елысу, Казанджик, Кара-Гез, Мессериан, Молладурды, Монжуклы, Наарли, Палызан, Терсакан, Ходжа-Кала, Шалчеклен, Шар-

лоук, Юван-Кала... В этом отчетливо азиатском ряду инородно (словно попав сюда по ошибке с карты Франции) выглядит название поселка, расположенного к югу от Кизыл-Арвата за Передовым хребтом, — Пурнуар. А? Каждый раз еду мимо и думаю: «Шерше ля фам, силь ву пле... Неужели и в Пурнуаре говорят по-туркменски?»

Помимо существующих географических названий, отмеченных на картах, есть множество экзотических местных наименований, используемых лишь в обиходе живущими здесь людьми. Но даже помимо этого, когда работаю, нередко требуется как-то обозначать совсем небольшие урочища или приметные места. Я изобретаю названия сам, подсознательно удовлетворяя стремление к первооткрывательству, но не изгаляясь и не фантазируя, а всегда следуя спонтанно возникающим ассоциациям: Долина Лучков; Обрыв Фалко; Урочище Дохлого Шакала; Гряда Колючек; Карниз Голубей; Терраса Разбоя; Промоина Турачей, Дорога Помоек... Красота. Детство играет. Осталось еще только сундук где-нибудь закопать. И накрыть скелетом».

ТРАГИКОМЕДИЯ-ЭКСПРОМТ

Малика горько рыдала от отчаяния и страха, но потом постепенно успокоилась, огляделась по сторонам и увидела, что в темнице она не одна...

(Хорасанская сказка)

«2 февраля. Родители, привет!

Наконец-то, после уже многих отправленных мной вам писем, мне самому сюда пришло письмо! Маман, ты — первая, с кем у меня устанавливается диалог. Все у меня путем, не беспокойтесь...

Вы только послушайте, как называются некоторые виды, которые здесь обитают, и постарайтесь представить, в каком окружении я здесь оказался!

Поперечнополосатый волкозуб; вульпия реснитчатая; белобрюхий стрелоух; эпилазия удивительная; изменчивый олигодон; кузиния тоненькая; сердечник шершавый; азиатская широкоушка; усатый конек; валерианелла Дюфрениа;

широкоухий складчатогуб; кобылка Боливар; бражник-языкан; мерендера крепкая; подковонос Блазиуса; вяжечка голая; волосатик неприметный; многозубая белозубка; персидский эйренис; усатая ночница; мертвая голова; нетопырь-карлик; афганская слепушонка; краекучник персидский. И др. подобное.

Какой роман можно было бы написать с такими именами действующих лиц! Да его и писать не надо, он уже готов! Разве могут быть какие-нибудь сомнения относительно дальнейшего развития сюжета, когда Персидский Эйренис, победив Поперечнополосатого Волкозуба и минув по пути Мертвую Голову, приезжает на Кобылке Боливар за Кузинией Тоненькой, предательски брошенной Изменчивым Олигодонном, которого накануне околдовал Сердечник Шершавый, а за этим тайком, каждый по-своему, наблюдают безмолвно страдающий Волосатик Неприметный и злорадно вынашивающий свои гнусные планы Нетопырь-Карлик, у которого уже томится взаперти Вяжечка Голая...

Не говоря о том, что при таких-то именах фабула как таковая уже и не важна».

33

Затем гости мало-помалу стали отбывать в свои страны...

(Хорасанская сказка)

За годы работы в Кара-Кале я перевидал там много приездного биологического народа. Людей молодых и пожилых; скромных провинциалов и всем известных по телепрограммам популярных столичных специалистов. Большинство из них искренне интересовались природой, кое-кто больше заботился о *диссертабельности* собираемого материала. Общение со всеми было для меня очень интересным и доставляло массу удовольствия, давая неограниченные возможности для наблюдения судеб, характеров и профессиональной увлеченности. Но самыми вдохновенными изыскателями и основными моими коллегами, спутниками и соучастниками всего в полевой экспедиционной жизни всегда были мои студенты.

СТУДЕНТЫ

Через некоторое время притащились отставшие люди, дрожащие, почерневшие, похудевшие; не произнося ни слова и ни на кого не глядя, они бросаются на дно палатки и затихают...

(Н. А. Зарудный, 1901)

Однако ты с лошади не слезай и с ними не связывайся...

(Хорасанская сказка)

«25 января. Дорогая Клава!

...Первая экспедиция, как и все первое, наверняка запомнится особо. Привез на зимние каникулы группу студентов с биохима и геофака; состав пестрый, но все хорошие.

Скромняга Паша — тощий очкарик; жизнь впитывает со всех сторон; за четыре дня дороги в поезде отправил домой восемь писем, а приехав в Кара-Калу, сразу отослал уже готовое девятое («Они, дураки, смеются, не понимают, что я приеду, а у меня дома готов отличный дневник!»). Куликова, которой палец в рот не клади, острит даже надо мной; в полях с детства, со школы занимается птицами; курит только слишком много. Две Ленки (одна с курчавым черным хвостиком, другая — в строгих учительских очках) обе первый раз в поле; стараются. Марина — тихоня с косичкой; на первой экскурсии весь день была темнее тучи, даже спросил ее, не заболела ли? Молчит, улыбается, а потом оказалось, что ноги стерла в кровь, и — ни слова. Потому что перед выходом и того хуже — паспорт потеряла с командировкой в погранзону (мне лишь вечером доложили через Стаса; утряслось: Кара-Кала — не Москва, здесь паспорт не пропадет, уже вечером притащили погранцам). Отличник Сережа ходит в ватнике, туго затянутом офицерским ремнем; молчалив, весь в науке; видно, что решает сейчас, чем и как заниматься в будущем. Света с горящими глазами рассматривает горы вокруг, даже когда все остальные кемарят в трясущейся на ухабах машине после маршрута. Добров — длинный скромняга с добродушной улыбкой, наш эксперт по насекомым. Виталька — черноглазый «юннат»-прикольщик; вечно содержит дома всякую живность. Аллочка — феечка, губки бантиком; добросовестно учится идти к поставленной цели,

преодолевая на своем пути любые препятствия. Иван — брюнет-очкарик с геофака; не биолог, его интересы иные и шире; во что они воплотятся? Остряк Рыжий, у которого огромная огненная курчавая шевелюра и такая же борода. Самбист Сашка увлечен герпетологией, гадов высматривает в лужах и в норах. Лейла — заправила всего и староста зоологического кружка; арабка, расцветшая в СССР под сенью равных прав и на своем эмансипированном примере наглядно опровергающая легенды о забитости восточных женщин. Стас — дедок, единственный дембель, плюс — он абorigine; в авторитете.

В первый вечер дал всем анонимную анкету, все нормальное: реальные лидеры пользуются и самой большой неформальной популярностью.

Народ выглядит мертвым лишь с утра. Подъем в шесть; завтрак в семь; поле — с восьми до пяти; потом дневники (вечера уснули все вповалку во время писанины после поля); ужин в восемь; потом — опять дневники; в десять — обсуждение дня; в одиннадцать — предотбойные «ля-ля-ля и ха-ха-ха», а там уже и отбой, как получится. Едим отлично; сегодня дежурные даже нажарили к ужину пирогов сверх раскладки — разврат!

Наслаждаюсь славными временами безграничного студенческого энтузиазма и железной дисциплины, поддерживаемой даже не мной, а Стасом и официально заправляющей всем Лейлой. Только утро на мне: встаю рано, бегаю («бужу собак», — как Игорь говорит); лезу на веранде в душ (если он к утру не замерзает и хоть как-то льет воду) или плещусь на скважине; потом поднимаю народ, а сам на кухне у Муравских бреюсь и выпиваю бадью кофе («пока молодняк шуршит»), после чего иду завтракать со студентами. А в восемь (сейчас поздно рассветает) — выходим в поля!»

«2 февраля. Погода вдруг как в Москве — липкий снег. Отпустил студентов на теплых источниках на Пархае в свободный поиск, побродить по ручью, поискать лягушек. Сам сел смотреть птичек. Дети дуремарили с большим энтузиазмом, после чего я и их засадил на стационарные наблюдения за маскированными трясогузками, поджатыми холодом и снегом к теплым ручьям.

Через два часа народ задубел, но старательно наблюдает и надиктовывает наблюдения на магнитофоны в трех разных местах. Рыжий обмотан несколькими шарфами, выглядит как недобитый француз. Лязгая от холода зубами, подходит ко мне:

— Се-е-ергей Алекса-а-андрович, вот я у-у-ж совсем скоро умру-у-у, поэтому скажите мне правду: вот это, что мы-ы-ы сейчас делаем, это кому-у-у-нибудь н-у-ужно? На с-с-сколько метров т-т-трясогузки перелетают, когда деру-у-утся и с какой частотой клю-ю-ют в траве?

— Рыжий, идите работать, не оголяйте научный фронт; не говоря о том, что вы подаете плохой пример. Или вы хотите, чтобы я подумал, будто вы *усомнились*? Чего трясетесь так? Носки в сапогах сухие?

— Сухие, но шерстяных нет.

— Ё-моё, студент, а о чем ты думал, когда выходили? Я сколько раз повторил! Мне что, лично проверять, застегнул ли ты штаны?

— Забы-ы-ыл надеть.

— А что я твоим родителям скажу? Что ты замерз у меня на руках в субтропиках?! Вот мои запасные, чистые; надевай немедленно! Детский сад...

Через час выяснилось, что мужики, лопухи, оставили дома и весь дневной перекус. Так что вместо обеда курили, стоя кучей в ручье (вода + 27°C), но домой вернулись, как всегда, в обычное время, и по дороге никто не роптал (просто решили забывчивых дневальных казнить какой-нибудь мучительной азиатской казнью)».

«5 февраля. Обнаружив, что Стас вдруг стал в редкое свободное от экскурсий время удаляться поздно вечером *слушать птичек* с первокурсницей Мариной, я вызвал его в свой «кабинет» (в его же комнату) и доходчиво объяснил, что птички ночью не поют и что *ежели что*, то я ему, дембелю, ноги выдерну.

Стас вытянулся по стойке смирно, преданно выпучил глаза и заорал что-то обычное, типа: «Ваше благородие, не побрезгуйте в морду вдарить!»

(Сейчас у Стасика с Мариной черноглазый сын-подросток, разбирающийся в компьютерах уже лучше самого Стаса.

Многие из той моей первой группы тоже давно уже нарожали детей; трое — кандидаты наук, а скоро, глядишь, и докторами станут, — красота!)

ДУБОНОС

Дракон взвыл от боли так, что все вокруг задрожало...
(Хорасанская сказка)

«7 февраля. ...Поймали со студентами паутинную сеть дубоноса. Птичка — всего ничего, с большого воробья, а клюв карикатурно непомерной толщины: чтобы косточки от ягод щелкать и крепкие семена лущить. Недооценил я это чудо природы.

Истощено вопя, пока я его выпутывал из сетки, и с ужасом глядя на меня золотистыми глазками, дубонос цапнул мой палец мертвой хваткой, как плоскогубцами, я аж взвыл.

Студенчество с таким участием принялось меня жалеть и выражать сочувствие («Сергей Александрович, вам пальчик перевязать не надо?», «А вы уверены, что не нужны уколы от бешенства?..»), «А может быть, вашей жене пора позвонить?..»), что сразу было видно: ликуют, что не одним им от меня страдать, но что и мне досталось. Хотя бы от птицы... Класный шнобель».

«КУРИЦА — НЕ ПТИЦА»

Один из муджнабдцев, видя, с каким рвением мы коллектируем птиц, принес нам для препарирования несколько петухов, предполагая, что эта птица в России отсутствует...

(Н. А. Зарудный, 1916)

«20 декабря. ...Пишу сейчас, а черная курица под окном уже минуты две с каким-то не птичьим упорством охотится за слетающими с забора на землю воробьями. Во ведьма. Кидается на них, как стервятник. Ну и куры у Муравских. Да еще и летают, как тетерева. Тыр-тыр-тыр — и пошла... Диких геннов у них больше, что ли?

Куры достали своей бестолковостью. Ловлю около дома для мечения черных дроздов; поставил лучки в тех местах, где они обычно кормятся. Заметив активно клюющих с земли дроздов, дубоносов или малых горлиц, курица кидается на них, как цербер, разбежавшись метров с трех; вспугнув, стоит потом бестолково на том месте, откуда они взлетели, и внимательно высматривает на земле: что же они клевали?

Петух, завидя такое, по-хозяйски подходит, проверяя, не нашла ли пеструшка там чего, что можно разделить с остальным гаремом? Вышагивает степенно, задирая ноги, но при этом бездарно задевает настороженную нитку на лучке, который срабатывает, сильно поддавая ему под хвост. Разоравшись так, словно ему уже отрубили голову, и отпрыгнув на метр, пострадавший пыжится, «как петух», вызываясь глядя вокруг и не понимая, кто и за что ему поддал; при этом он наступает на соседний лучок, опять получает по боку с другой стороны и вновь отскакивает, роняя перо.

Я выхожу вновь насторожить лучки и обещаю истощно вквохтающему петуху, что попрошу Игоря отправить его в бессрочную командировку. В суп или в плов».

ДЕТЯМ ДО ШЕСТНАДЦАТИ

Я же, едва завидев тебя, почувствовала, что в сердце моем возгорелся любовный пламень...

(Хорасанская сказка)

«4 февраля. ...Привез студентов в легендарное заповедное ущелье Ай-Дере. Место уникальное по всем параметрам: дикостью, удаленностью, еще сохранившимися остатками былого гирканского великолепия растительности и живности. Масштаб не передать. И плюс, первое, что сразу увидели, — спаривание беркута.

Самка с удивительным криком, по тональности и структуре похожим на рюмление зяблика, только намного громче, села на вершину невысокого деревца в ста пятидесяти метрах от устроенного на скальном обрыве гнезда. Подлетевший через две минуты с набитым после охоты зобом самец сразу сделал сидку; спаривались четыре секунды, а потом самец уселся на том же дереве в метре от самки. Потом он молча спланировал вниз по ущелью, а потом и самка вслед за ним.

Наблюдение теоретически обычного, но от этого не менее загадочного таинства приводит студентов в полный восторг. Обсуждать увиденное мы будем весь вечер, а вспоминать — много лет».

«...*Опять 4 февраля (следующего года)*. Вновь еду в Ай-Дере с группой студентов в тот самый день, что и прошлой зимой. Нравятся мне такие совпадения: происходят сами собой, а вот попробуй специально спланировать — ни за что не получится.

По дороге из Кара-Калы несколько участников прошлогодней экспедиции вспоминают, как мы наблюдали в прошлом году спаривание беркутов, остальные слушают с завистью. Приезжаем, поднимаемся вверх по ущелью и сразу видим беркутов. Три птицы держатся неподалеку от прошлогоднего гнезда: двое взрослых и один молодой. Один из взрослых (оказавшийся самцом) сел на камень; через полторы минуты к нему подсаживается вторая птица (самка). Самец делает сидку, спаривание — пять секунд, потом оба партнера сидят бок о бок на скале. К ним приближается, кружась на небольшой высоте, молодая птица, которая через две минуты тоже подсаживается вплотную к двум взрослым. Ничего не скажешь, дружное семейство.

Студенты беснуются, я не верю своим глазам, наблюдая такое повторение день в день, почти час в час, год спустя. Бывает же такое».

КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК

Увидев столь несравненную красоту, шахзаде вскрикнул и лишился чувств.

(Хорасанская сказка)

«4 февраля. ...После Ай-Дере едем выше по Сумбару к Куруж-дею. На уже известном мне с предыдущих лет гнездовом участке бородача нашли его новое гнездо. Взрослая птица насиживает, потом слетела, продемонстрировав то, чего я никогда не видел раньше: в полете периодически сводит под корпусом чуть согнутые в кистевых сгибах крылья, почти касаясь их концами друга друга. Очень особо, очень красиво и с очевидностью демонстрируя, сигнализируя о чем-то около гнезда. Каков поведенческий оттенок этой демонстрации? В чем ее особенность?



Рассматривали это, когда на скале под гнездом вдруг увидел стенолаза — чуть крупнее воробья, серую, незаметную, как мышка, птичку с длинным изогнутым клювом. Поведение у него совершенно особое: держится на скалах, как пищуха на стволе дерева, снует по вертикальным поверхностям, разыскивая в трещинах съестное. На фоне скал незаметен совершенно, лишь попискивает иногда, а так просто лазает снизу вверх по стенке (стенолаз ведь).

Птица потрясающая. Своей приспособленностью к столь особым условиям обитания завораживает наблюдателя мгновенно, но непосвященного взора никогда не привлечет, заметить стенолаза трудно. Но лишь до тех пор, пока этот скромник не раскроет крылья.

Потому что эти неопишуемые крылья столь же примечательны, как и подчеркнуто скромная незаметность всего его облика в целом. Дело в том, что крылья сочетают в себе черное, белое и флюоресцентно-малиновое! Что используется самцом при ухаживании за самкой и при выяснении отношений с конкурентами в брачный сезон.

Не видно ничего на скале, снует по ней некая тень, а потом вдруг р-р-раз! — и из ничего распускается прямо на камнях буквально светящаяся изнутри ярко-малиновая красота! Словно кусок камня превратился, как в мультфильме, в фантастический по своей яркости цветок».

ДИСКРИМИНАЦИЯ ЦВЕТНЫХ?

Если бы мне это было ведомо, я бы не стала спрашивать тебя.

(Хорасанская сказка)

«18 декабря. ...Моими аспирантскими трудами в окрестностях Кара-Калы стали появляться птички, встреча с которыми может нанести психологическую травму неподго-

товленному студенту-зоологу. Или привить интерес к родной природе человеку самой далекой от нее профессии или национальности. Это — мои крашенные родамином или пикриновой кислотой ярко-малиновые или лимонно-желтые жаворонки. Тропическое, можно сказать, буйство красок.

Смею вас заверить, что восприятие всего наблюдаемого в поле, а уж конкретных изучаемых процессов и птичек особенно, приобретает в прямом и переносном смысле совершенно *особую окраску*, когда вдруг через несколько дней после мечения, уже в другом месте, в кормящейся стае серо-бело-бежево-пестреньких жаворонков натыкаешься биноклем на светящуюся искусственно-ярким фонарем, уже знакомую окольцованную птицу. Это очень необычно, дает важный материал и несказанно радует орнитологическое сердце. Потому как это позволяет сделать тот или иной вывод не наугад, не «предполагая на основе» в той или иной степени обоснованных заключений, а наверняка. Это — строгий научный факт: птица была поймана и помечена там-то и тогда-то, повторно отмечена здесь и сейчас.

Рекорд поставлен давно уже обесцветившейся и перелинявшей самкой рогатого жаворонка, которую я узнал в бинокль по кольцам на лапе и добыл в Долине Лучков посреди опустыненных холмов в двадцати метрах от места, где поймал и пометил ее прошлой зимой двести девяносто дней назад! Клёво, да?

Летал жаворонок, попался зимой в мой лучок, был помечен: покрашен, получил на левую лапу стандартное алюминиевое кольцо с номером, на правую — яркое пластиковое (желтое); был выпущен, улетел; дозимовал в долине Сумбара; потом откочевал куда-то выше в горы, на пологие остепненные плакоры; вывел там потомство, прожил еще год такой непростой жавороночьей жизни.

Я сам уехал в Москву и прожил год своей аспирантской жизни, потом приехал в Кара-Калу следующей зимой, в какой-то день и час пришел в некую точку в холмах и вновь увидел ту же самую птицу, прилетевшую на зимовку точно в то же самое место, что и прошлой зимой... Ну не прелесть ли?!

И опять же, до чего сильны стереотипы. Ну зачем мне потребовалось ее добывать? Я что, в бинокль колея не разглядел? Все отчетливо было видно. А все равно пристрелил. Поэтому как не уверен, что визуальная регистрация будет признана дотошными коллегами в качестве надежного факта, без формального «документального подтверждения»... Тяжелый случай... Наука, видите ли, орнитология...

Рогатый жаворонок — это широко кочующий здесь вид, мотается из гор в долину и обратно в зависимости от сезона, и такое территориальное постоянство! А некоторые перелетные виды, прилетающие в Копетдаг на зимовку из далеких северных регионов, всю зиму живут здесь в подходящих местах оседло; я своих меченых зарянок и лесных завирушек наблюдал на одних и тех же индивидуальных территориях (в одних и тех же кустах) по нескольку зим подряд.

Конечно же, все эти воробьиные знают местную географию и явно имеют излюбленные места зимовок, кормежек и т. п. А с хищниками и того пуше: часто летают одними и теми же охотничьими маршрутами, отдыхают и едят на излюбленных присадах. Так что это лишь для стороннего наблюдателя в природе хаос, мотаются птичьи стаи туда-сюда; а на самом деле во всем не просто порядок и причина, но, помимо того, еще и личный птичий опыт, навыки, знание территории, а то и пристрастия. Излюбленные тропы протоптаны не только по земле, но и пролетаны по воздуху.

Недавно нашел в самой Кара-Кале ночевку маскированных трясогузок. Птички собираются постепенно, подлетая парами и поштучно, на проводах около ковровой фабрики, а потом, посидев там и пошебетава про свои птичьи новости, пикируют в густую куртину высокого тростника, растущего за забором соседнего дома.

Среди трясогузок на проводах сидит и помеченная мною недавно самка: она покрашена невероятно ярким розовым цветом (хотя до естественного великолепия крыльев стенолаза ей далеко). То, что для этой птицы вероятность быть съеденной хищником возрастает, это ясно; а вот как собственные собратья реагируют на такую претенциозную исключительность?»

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

Сотни лет живу я здесь, но, как объяснить увиденное вами, не знаю.

(Хорасанская сказка)

«24 декабря. ...Добыл в холмах из стаи маскированную трясогузку. Пока присыпаю кровь крахмалом и заворачиваю, ко мне с трех разных сторон, явно на выстрел, подлетели порознь два курганника и балобан. Ни один из них не может рассчитывать на то, чтобы поживиться чем-либо от охотника или браконьера. Тогда чего ради?»

Мы все же недооцениваем степень развития птичьих мозгов и птичьей любознательности.

Плюс еще одно, крайне важное: то, что потребность в новой информации — основополагающее, фундаментальное свойство живой природы. Даже «неразумной». Но зато многим *Homo sapiens* категорически несвойственное».

ПУСТЕЛЬГА

И снова им овладело любопытство...

(Хорасанская сказка)

«17 декабря. ...Второй раз вижу, как пустельга, поймав мелкую ящерицу, не съедает ее, а прячет в кустики полыни. Очень это у нее по-хозяйски получается, деловито и по-бытовому. Летит своим хлопотливым полетом, тащит ящерку в лапах, подлетает к маленькому кустику, садится, засовывает голову внутрь между ветвей, положив провиант подальше от посторонних глаз; оглядывается по сторонам («Не подсмотрел ли кто?») и сразу улетает после этого. Неужели не забудет и найдет потом?»

Занятная все же птица. Знакомая даже не орнитологам своим уникальным вертолетным зависанием в воздухе на одном месте, когда, быстро-быстро трепеща крыльями (поэтому и зовется на Руси «трясучкой»), широко распускает хвост с черно-белой полоской, нарядно просвечивающий на солнце,

и высматривает свою добычу — мышей, а в пустыне — маленьких змей и ящериц».

«25 декабря. ...Пустельга преследует вальдшнепа, атакуя и окрикивая его, как потенциального конкурента. Путаает его с другим хищником? Учитывая редкость здесь вальдшнепа и его малозаметность, это единственное объяснение.



Хотя кто знает. Опять задумываюсь над тем, что мы часто недооцениваем птичьи мозги. Например, Зарудный пишет в 1888 году про оренбургские перелески: «Однажды в продолжение нескольких дней кряду дул сильный северо-восточный ветер. Пустельга имела

уже детей. И вот для защиты их от наступившего холода она пристроила к своему гнезду с подветренной стороны род забора из перевитых тонких прутьев». Кстати, это очень странно».

«23 января. Издалека замечаю над шпалерами виноградника непонятную активность: пустельга и десять сорок скачут в возбуждении, но это явно не моббинг; сороки не окрикивают сокола, а вместе с ним заняты чем-то другим. Подхожу ближе и вижу, что причиной всему — белая кошка, идущая по винограднику вдалеке от домов.

Пустельга зависает над ней в трех метрах, трепещет крыльями, потом садится рядом на шпалеру, возбужденно вытягивается на ногах и пронзительно кричит. И все это тонет в скандальных воплях десятка сорок, базарно снующих туда-сюда, забыв традиционные придирки к пустельге и объединившись с ней в окрикивании наземного врага».

«20 мая. ...Впервые определил в поле степную пустельгу. Встречается гораздо реже обыкновенной, издалека различия рассмотреть трудно. У степной «усы» посветлее, не так заметны; когти на лапах белые, а не черные (поди разгляди...), а вот голос совсем другой, орет иначе».

МУРАВЬИ НА НЕБЕ

Он запрокинул голову... и увидел там нескольких пери...

(Хорасанская сказка)

«21 декабря. ...Шесть пустележек и семь галок в воздухе ловят насекомых — крупных крылатых муравьев, у которых сейчас пошел массовый лет. Делают это по-разному.

Пустельга летает, планируя, на высоте метров сорок, затем делает резкое ускорение машущим направленным полетом, за которым следует быстрый бросок, выполняющийся стремительным пируэтом (порой немыслимым, с переворотом в воздухе). Чаще, перед тем как схватить муравья, взлетает чуть вверх, как на горку; крылья разведены, корпус ставит вертикально, хватает насекомое лапой перед собой. Затем складывает крылья и как бы ныряет с воздушной горки вниз, нагибает голову, перехватывая клювом зажатого в лапе муравья.

Галки ловят муравьев здесь же, вперемежку с соколами, но не лапами, а клювом; да и летуны они, по сравнению с пустельгой, неуклюжие. Галка двигается между «атаками» много больше, долго летит по направлению к муравью натужным машущим полетом (хлопая широкими крыльями, словно с трудом держится в воздухе и вот-вот упадет), затем делает не очень резкий, не очень быстрый и уж совсем не грациозный пируэт, а уже потом, притормозив, прицельным уколом клюва по линии движения хватает муравья.

Смешно даже говорить об окупаемости этой кормежкой энергетических затрат на нее, а вот кураж в поведении птиц улавливается с очевидностью. Хотя, кто его знает, может, в этих свежих муравьях какая-нибудь особенно ценная аминокислота? Или просто кисленького захотелось? Или полетать, порезвиться охота?

В птичьей круговерти на фоне солнечного неба и серебристых сверканий прозрачных крыльев бесчисленных муравьев появляется парящий среди кормящихся птиц ястреб-перепелятник. Осмотревшись, он четыре раза подряд по плавной дуге невсерьез пикирует на охотящуюся рядом пустельгу. Чего ради? От зависти, что сам так не может, как она? Склочник и зануда».

ПУСТЫННЫЙ ЖАВОРОНОК

...среди всех птиц Закаспийского края пустынный жаворонок... всего легче переносит наисильнейшие жары; он даже поет в самые жаркие часы дней начала июля. Голос его чрезвычайно приятен и сам по себе, и потому еще, что слышится порой в абсолютно безмолвной пустыне.

(Н. А. Зарудный, 1901)

Птицы-пери обитают только в пустыне Мазандеран...

(Хорасанская сказка)

«25 ноября. Дорогая Роза!

..Иду по Долине Лучков, ко мне навстречу на высоте метра над землей подлетает из межхолмья пустынный жаворонок, зависает в воздухе в двух метрах от моего лица, а повисев так несколько секунд (насмотревшись на меня вдоволь?), опять стремительно отлетает через гребень холма. Я пустынных жаворонков видел уже тысячи в самой разной обстановке, и вот попался среди них один такой, особо ко мне любопытный. С чего бы это? Ведь не для того же, чтобы я его сфотографировал?»

«28 января. ...Восемь часов подряд тропил стайку из шести пустынных жаворонков. По-латыни называется «Аммома'нес дезе'рти».

Когда пятьсот минут наблюдаешь пяток маленьких «невзрачных» птиц, волей-неволей проникаешься деталями их взаимоотношений, лично воспринимаешь их мимолетные конфликты, их глазами смотришь на других появляющихся в поле зрения птиц; с их точки зрения оцениваешь вкусность веточек полыни, удобство пылевых ванн, опасность от балобанов или неотступное внимание очкастых орнитологов.

Замечаешь и понимаешь детали, о существовании которых обычно не догадываешься и не задумываешься. (Зарудный: «Я несколько раз видел, как жаворонок бросался на самые крупные виды саранчи, догонял этих насекомых на лету, валил на землю, растрепывал им крылья и ломал задние ноги, а затем с толком, чувством и расстановкой кушал их еще живыми».) А?

Изумительная птичка. Настолько особый вид, что вроде и не жаворонок вовсе. Единственный из всех жаворонков без пестрин в оперении; окраска гладкая, нежных серо-бежевых пастельных тонов (под окраску субстрата). Совпадает настолько, что иногда отвожу бинокль и уже с десяти метров ни одного не вижу на склоне, пока не прыгнет кто-нибудь. Лишь раздаются оттуда грустные приглушенные позывы.

Во-вторых, он не бегаёт и не ходит, как другие жаворонки, а прыгает неторопливо, как зяблик или задумавшийся над чем-то воробей. И в этом не только генеалогические связи, но и важнейшее приспособление к среде обитания: он живет на крутых комковатых склонах, по которым шагом не походишь. Сами-то мы как с крутого склона вниз спускаемся? Шагом? То-то и оно, что вприпрыжку.

А раз он двигается прыжками, то лишен и одного из главных признаков жаворонков как бегающих и ходящих наземных птиц — необычно длинного заднего когтя.

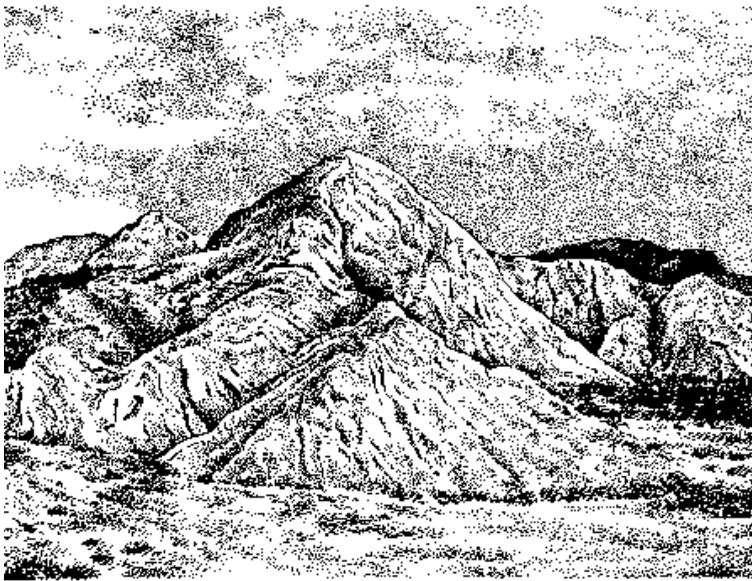
Никакой суеты в нем никогда. В зимних стаях прочих видов на равнине или на пологих склонах ниже по долине порой тысячи птиц: суета, толкотня, носятся наперегонки, огрызаются друг на друга, гоняют соседей из наиболее кормных мест... Пустынный жаворонок не такой. Никогда не образует огромных стай; чаще всего по пять — десять штук. И всегда не торопясь; прыг-прыг себе по своим пустынным делам.

Живет в местах совершенно особых, где многие виды жаворонков попадают лишь иногда, а многие не встречаются вовсе: в самых опустыненных частях долины, среди разъеденных эрозией адыров, а иногда и на совершенно безжизненных склонах «лунных гор».

И пение у него очень особое: заунывное «свиррь-тиу» или «тиу-свиррь-тсия» (Зарудный: «Оно состоит из грустных, протяжных, тихих, но в пустыне далеко слышных свистов, комбинирующихся в чрезвычайно милые мелодии... Их голос... подходит к величавому покою пустыни и гармонирует с ее тишиною; он был бы положительно странен в лугах, в травянистых степях и тем более в лесах»).

Короче, жаворонок, но стоит особняком.

Наблюдая за одной стайкой несколько часов подряд, вживаюсь в ритм жизни этой птицы; синусоида флуктуаций моих собственных эмоций уплощается и вытягивается; на все вокруг и на самого себя начинаю смотреть по-восточному..



После обеда меня нашли в холмах подошедшие студенты. Одну натуралистку послал посмотреть за соседней стайкой аммоманесов, с которой сблизилась та, за которой наблюдаю сам; птицы перекликаются с соседних склонов.

Закончив наблюдения, распрощался со своей стайкой. Собрал студентов, пошли к дому без наблюдений, просто разговаривая о разном (все устали).

А пустынные жаворонки остались в холмах, продолжая свою птичью жизнь, от которой им не отвлекаться ни на что другое... «Свиррь-тиу...»

«БОЛЕЛ В ДЕТСТВЕ...»

Разве я знала, что меня, как ворону,
Забросит он в мрачные скалы?..

(Хорасанская сказка)

«4 февраля. ...Возвращаясь из Ай-Дере, трясемся со студентами в расшатанном и скрипучем кузове старого грузовика. Все устали, молчат, но через некоторое время вновь начинается уже

следующая волна оживления: кутаясь под кошмой в общую кучу-малу, все поднимают на каждом повороте гвалт, выражающий «беспричинный» восторг (как после отбоя в пионерском лагере). В этом все: и беззаботная нега первого курса с ощущением всей жизни впереди; и красота окружающего природного великолепия; и ощущение нашей общей экспедиционной дружбы; и неопасная, неинтимная (по причине многолюдности), но столь волнующая близость юношеских и девичьих тел.

Едем в волшебном свете опускающихся зимних сумерек. Мимо проносятся нависающие над кузовом скалы близких высоких бортов долины Сумбара, еще отражающие мягкий свет почти зашедшего солнца, а над ними уже взошла огромная холодная луна.

Красотища необыкновенная. Свет же вообще редкий и удивительный; воспринимается отдельно от пронизываемого им ландшафта как огромный прозрачно-подкрашенный объем, в который помещены и дорога, и наш грузовик, и горы, и небо с луной, и все вокруг.

Все глазают, но благоговения никакого: энергия и кураж плещут через край; всем все нипочем, ни у кого нет сомнений в том, что красоты у них в жизни впереди — немерено.

Высоко над скалами борта долины, торопясь, летит уже явно припозднившаяся на ночевку ворона.

«Беркут», — не поднимая бинокля к глазам, с профессиональной уверенностью заявляет одна из наших шустрых девиц. Я, даже пребывая в сентиментальной ауре от окружающего великолепия, не в состоянии стерпеть такого кошунства:

— Оставлю без сладкого, двоечница: это ворона.

— Да нет, Сергей Александрович, — с привычным всепрощением на необоснованную занудность начальника реагирует юная натуралистка, все еще продолжающая хихикать над чем-то, обсуждающимся в куче-мале. Потом снисходительно подносит прыгающий бинокль к глазам, и юное лицо вытягивается.

Народ улюлюкает, принимаясь за обсуждение того, что беркут маловат и, видимо, подобно нашей наблюдательнице, имел трудное детство... Натуралистка, впрочем, без комплексов, смеется вместе со всеми сама над собой».

Ровно через десять лет после своего первого появления у Муравских я приеду в очередной раз в Кара-Калу к уже под-

жидающим там меня студентам. Очередную группу мы привезли тогда в Копетдаг вместе с моим близким коллегой по кафедре, величайшим охотником всех времен и народов, — усатым, длинноногим и неутомимым зоологом Игорем Зубаревым.

Войдя в дом к Муравским, я на двери своего кабинета (все той же Стасовой комнаты) обнаружу большую вывеску, а внутри — устроенный студентами мемориальный юбилейный музей моего имени («Рановато... Не надейтесь!»).

На стенах красовалось тогда множество памятных экспонатов: от архивных фотографий и нарисованных Стасом шаржей до чудом сохранившегося обгоревшего куса несчастного зеленого полотенца, с которого началась моя жизнь в ВИРе; хранившихся в столе самодельных цветных колец для мечения птиц; резервной пачки дубовой коры с того злополучного сезона, когда я страдал животом, и полозатого кармана от моих легендарных пижамных штанов, являющихся в туркменских поселках общепринятой повседневной модой (и которые я купил в Кара-Кале, не устояв перед завораживающей надписью на ценнике: «Туркменский брук»).

ПОЛОЗ ПОЛОЗУ ГЛАЗ НЕ ВЫКУСИТ

...в отмщенье я казню тебя такой лютой казнью, что птицы при виде этого зрелища будут плакать.

(Хорасанская сказка)

«10 апреля. Привет, Чача!

...Идем с коллегой Зубаревым и студентом Иваном по предгорьям, снимаем выборочно окрестные красоты на твой видик для потомков. Вдруг вижу среди камней разноцветного полоза (он почти одноцветный, но так называется), сразу хватить его, а он противится, змей, извивается и возражает.

У меня сразу рождается в голове план сюжета; телевидение не телевидение, а на занятиях использовать можно. Приготовились. Зубарев взял камеру, Ваня стоит у него за спиной, внемлет с вежливым вниманием тому, что большие дяди делают.

Я начал в камеру говорить, показываю змея будущим зрителям, демонстрирую, что он не ядовитый и не кусается. При этих словах эта гнида меня ка-ак цапнет! Меня аж перекосило, но на миру, как говорится, и полоз Полозу нипочем. Комментирую себе дальше, что все это забавно, неопасно и бескровно, как вдруг вижу, что Зубарев с камерой начинает оседать: боком, боком, сел на колени, уже не может камеру держать, корчится от хохота. Ванька у него за спиной вообще вот-вот лопнет: покраснел как рак, рот руками зажимает, чтобы записи не помешать.

У меня, понятное дело, первая мысль: «Ширинка расстегнута!..» Нет, смотрю, все нормально, но на джинсах при этом вижу обильные потеки свежей крови... И кровь эта капает на штаны с рукава, а на рукав — из прокушенного пальца: течет себе бодрой стружкой. А этот змей поганый извивается в моей руке с довольной ухмыляющейся мордой.

Вот и верь после этого в кровные связи. Я ему про родственную душу и родную кровь, а он мне ее пустил, родственничек... Гадина подколотная. Неужели и я такой же? Может, недаром меня всю школу «Полозом» звали...

Хм... Надо мне было псевдоним взять — Гадов. Сергей Гадов. Звучит? Звучит. Но слишком шикарно. Гадюкин — ближе к истине».

БАТАРЕЙКА ДЛЯ КАМИКАДЗЕ

— Ничего мне не нужно! Ведь нет со мной друзей, коих мог бы я всем этим одарить...

(Хорасанская сказка)

«15 апреля. Здрорво, Маркыч!

...У тебя так бывает: спишь, видишь сон, а бодрствующей частью сознания (или подсознания? оно-то вроде никогда не спит?) ощущаешь: «Надо же, какие интересные события происходят! Нужно немедленно добавить сюда такого-то или такую-то». И без труда вводишь в свой сон новое действующее лицо. Бывает у тебя такое?

Это я к тому, что ежедневно, путешествуя здесь, среди всех этих красот, наблюдая что-то уникальное или просто красивое, думаю о том, что хорошо бы такого-то, или та-

кую-то, или таких-то вместе, или всех моих друзей сразу перенести сюда мановением волшебной палочки... Чтобы пригласить всех и каждого насладиться этим Разнообразием Природы, Праздником Жизни и Счастьем Общения Друг с Другом.

Отличное это выражение: «друг с другом». Друг. С другом. Хотя и весьма двусмысленное на здешней мусульманской почве: у древних иранцев «друг» — это символ лжи и зла; клёво, да?

Приобщить бы вас всех к тому, что переполняет здесь меня самого, следуя магической формуле всем известных братьев: «Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!»... Эх...

Впрочем, я не полностью романтический альтруист. Потому как внутри все еще появляется иногда (все реже) отголосок юношеской... мечты не мечты, но страстного желания того, чтобы дружеское общение всегда было в равной степени взаимным. Чтобы подпитывалось со всех сторон. Это кажется таким естественным, но оглянись по сторонам, проанализируй свою дружбу и сразу увидишь, что на самом деле это совсем не так.

Прав был Печорин: так почти никому не везет. Или, по крайней мере, намного реже, чем в любви. В любви хоть иногда зашкаливает за пределами разума, анализируй не анализируй — без толку; а дружба — она как батарейка. Сколько ты даже самую свежую, самую лучшую, самую иностранную батарейку одним полюсом к лампочке ни тыкай, лампочка все равно не загорится, пока оба полюса не подсоединишь. А вот если соединить как надо, то даже и от подсевшей батарейки будет свет... Понимаешь мой утонченный эзопов язык? Улавливаешь тонкий смысл, сокрытый, ё-моё, между строк от невнимательного, поверхностного читателя? То-то.

В юности, помню, переживал от того, что в общении с некоторыми друзьями вновь и вновь генерировал импульсы, не всегда получая поддержку от противоположного полюса. Причем это все без навязчивости было, поверь мне, к полному взаимному удовольствию сторон. И не мелочился я никогда счетами и сравнениями, кто кому обязан. Было лишь отчетливое понимание того, что *объединись труд дружбы* с обеих сторон, кураж был бы куда ядренее.

А уже потом как-то взглянул со стороны: на фиг надо. Отсоединил свой полюс — все подергалось, подергалось, померцало и погасло. А раз погасло, то, значит, и не важно было. Даже смешно, честное слово...

Так что у меня с возрастом все меньше накала в отношениях, все больше дистанция, все выше «сопротивление цепи». Это чтобы искрило меньше, если неполадки в схеме.

Но это, видимо, не искреннее. Потому как чувствую, что я к дружеским отношениям и сейчас не меньше готов, чем в двадцать лет; полноценный «стенд-бай». Но присматриваюсь уже внимательнее. И все равно проколы.

Сел я как-то раз, думая про все это, и неожиданно пришел к интересному выводу. Перебирая в уме всех своих друзей и знакомых, кого же ты думаешь, я выделил как образцовый пример позитивного дружеского импульса? Ха! Собственную сестрицу! Как понял это, сам удивился, а потом уже понятно стало. Ириса ведь всю молодость такую дружескую энергию расточала на всех во все стороны, что народ тянулся к ней отовсюду; она просто светила вокруг, по-видимому, не ожидая ничего в ответ (может, в этом и весь секрет?).

Она и меня, малолетка, терпела в своей студенческой компании все по той же щедрости души. А для меня это тогда ой как важно было: все мои юношеские стандарты по ее сотоварищам закладывались, а среди сотоварищей тех, прямо скажем, очень нерядовые люди соседствовали... Непонятно даже, как им это удавалось, обычно столь яркие персоналии с трудом друг друга переносят. А около нее уживались как-то.

Потому что она — светлая натура; плюс — исключительный дар дружбы; плюс — смелость. И в общении с людьми, и просто по жизни.

Одни ее бесконечные походы чего стоят (а в них ведь люди бы-ы-быстро проверяются). Или как она в пятнадцать лет гоняла по Волге на реданном скутере, который Папан у соседа в гараже целый год строгал и клеил... Тогда на воду спустили эту красоту, и выяснилось, что ни один мужик на редан выйти не может — тяжелы! А Ириса как села, отъехала от берега, поддала газу, быстрее и быстрее, а потом вдруг изменился звук у мотора, спал надрыв, словно второе дыхание в нем открылось, а лодка вдруг будто приподнялась над водой и полетела над ней с неправдоподобной и вдохновенной скоро-

стью... Все орут, свистят, а Папан смотрит и не верит, что у него получилось, как задумывал...

Так, я думаю, как раз и летит вперед дружба, когда она подпитывается спонтанными или даже *сознательными движениями души* (катахреза?) со всех сторон; когда дудит пресловутая батарейка на полную, выводя твою жизнь на ее невидимый, но так явно ощущаемый редан...

Ладно, это все абстракции. А реалии таковы, что за все мои годы в Кара-Кале кого я только сюда не перетаскал, а как раз ты, ударник компьютерного труда, так сюда со мной ни разу и не выбрался. Неужели нам не стыдно?»

«P.S.

(Письмо написал в горах, дописываю сейчас дома.)

Извиняй за словоблудие. Я просто вышел сегодня к Сумбару в новом месте, где раньше не ходил никогда, и сразу наткнулся на такой ракурс, что уйти, не сфотографировав, уже не мог. Но солнце прямо сзади, все плоское, пришлось сесть и ждать, пока свет изменится. Четыре часа сидел, занимаясь стационарными наблюдениями, а заодно и просто глаза по сторонам, пока тени не легли правильно. Вот и тебе накропал за это время сентиментальных излишеств.

И подумал еще потом, мол, на фиг надо с человеческой надежностью связываться? Вот ведь природа — никогда не обманет, никогда не подведет с ответным порывом... В нее сколько души ни вложишь, в ответ — всегда сторицей...

Обрадовался от этого ощущения, полегчало мне. Сижу, представляю, что вот опустится сейчас солнце, станет свет помягче, выползут тени справа от холмов, и сниму я слайд, который десятки людей потом порадует, или поразит, или вдохновит, и запоет еще сильнее моя душа...

Так что же ты думаешь? Вот, время подошло; штатив поправил, приготовил все, достаю новую пленку, чтобы под рукой была, открываю крышку, а она... уже отснята!.. Дрын зеленый!

Как такое могло произойти, ума не приложу. Заскок какой-то. Я точно знал, что оставалась еще одна кассета нетронутая.

Поэтому удалось мне снять лишь два кадра, остававшихся в аппарате, что несерьезно (этого даже для «никона» мало, а с «зенитом» и подавно свет не угадать).

Снял я эти два кадра, думая перед каждым по пять минут. Собрал барахло, плюнул под ноги напоследок и затрюхал себе вниз в долину («клик-клик» — шагомер после долгого молчания). Спускаюсь вниз к Сумбару и думаю: так ведь и это все — как раз про то же самое, о чем я тебе и написал. Получается что же? Что это — вселенский закон? Или это просто судьба моя такая?.. А может, дело-то именно во мне?

Ведь мне некоторые из близких друзей в разное время говорили: «Ты, П-в, — сложный человек. Не дави!» И вот я, бывало, слушаю такое, сердце у меня внутри при этих словах на части разрывается: людей жалко, дружбу свою жалко, за несправедливость непонимания горько и обидно, а я чуть ли не ухмыляюсь в ответ как раз в соответствии с представляемым собеседником образом и сюжетом.

Для меня очевидно, что он ошибается, для него очевидно, что он прав, а я своим поведением сам его в этом и убеждаю. Словно доигрываю роль, в которой меня видит говорящий. Наблюдаю сам, как он сникает все больше; вижу, словно со стороны, что роль-то эту я играю хорошо, даже слишком хорошо; понимаю, что это не репетиция, а самое что ни на есть настоящее, «чистовое» представление, переиграть его иначе позже не удастся, а подделать с собой ничего не могу; держусь в чуждом для себя, специально выбранном амплуа...

И на фига, спрашивается? Опыт-то, кстати, в большей степени над самим собой каждый раз происходит, нежели над кем-либо. Горько и больно самому. А другим? Не знаю. Привычно утешаться тем, «...что если я причиной несчастья других, то и сам не менее несчастлив»? Это не утешение, тут явно загнул Михаил Юрьевич...

Впрочем, это не про садизм или мазохизм, это про торпеду с живым пилотом, про камикадзе. Потому как в подобных случаях происходит сознательная диверсия, *преступление против дружбы*. Но, понимаешь, не могу устоять от искушения проверки на всамделишность, и все. Моделирую жизнь, туды меня растуды, как на макете, понимаю, что нельзя, что режу по живому (в том числе и сам себя), а подделать с собой ничего не могу. Сознательно увеличиваю напруг, как на стенде при испытании двигателя на прочность; поддаю и поддаю оборотов, и такое звенящее ощущение возникает

внутри, что, мол, если не выдержит перегрузки, то и забрывать не жалко, а уж если выдержит... Словно это — подсознательное стремление уберечься от ненастоящей псевдодружбы...

То ли чертяка соблазна скачет, корча рожи, вокруг меня, стараясь подхватить под руку, чтобы я вместе с ним пустился в пляс; то ли ухмыляющийся дьявол дергает откуда-то издалека за невидимые веревочки...

Все рвется у меня изнутри наружу, всех бы расцеловать и защитить навсегда от недружбы и непонимания, а я играю с циничным прищуром дальше и дальше по сюжету, чтобы досмотреть, чем же это все закончится... И думаю при этом: «Ну неужели же вам не очевидно, что я вас всех люблю сильнее всего на свете, как вас, может, и не любил никто и никогда, а сейчас я просто придуриваюсь! Неужели же все это надо объяснять?!»

А сам при этом словно подталкиваю свою батарейку ближе и ближе к пропасти, в испуганном любопытстве представляя, что будет, когда она сорвется с кромки обрыва и полетит вниз, оставив за собой лишь эфемерное облачко пыли, а сама удаляясь быстро и безвозвратно...

Короче, — геморрой. И не понятно ни фига. Непроверяемо и недоказуемо.

Одно замечу, последнее: наплел я тут с три короба про субъективные нервические рефлексии, а ведь на самом-то деле скучно мне про самого себя рассуждать; поверь, без кокетства говорю.

Так что все про «батарейку» — это нечто, начавшееся когда-то из конкретного личного, но сейчас — уже почти отвлеченная, абстрактная горечь за то, что так много *счастья дружбы* у многих людей пропадает зря, не воплощается. А ведь счастье дружбы — это куда более тонкий аромат, нежели дурман любви...

Скромнее надо быть, вот что. Скромнее.

Ну и хрен с ним.

Привет!»

«P.P.S.

Весь мир и все, что есть в нем, —
Отражение одного луча от лица друга...

Так-то вот. И это много веков назад написано.

Страдаем все фигней по молодости, а вот пройдет тридцать лет, и, если доживем, проснемся вдруг одним утром и неожиданно сами для себя поймем, что все наши бывшие кипения страстей — лишь детские шалости, в лучшем случае заслуживающие всепрощающей улыбки...

И что мы, по большому счету, должны быть *друг другу* безоговорочно благодарны уже за одно то, что нам выпало по этой жизни быть вместе (или хотя бы рядом)...

Так ведь мы, как всегда, спохватимся, когда уже поздно будет...

...Должны быть благодарны. «Друг». «Другу»...

Но теперь-то уж я точно завязываю.

Будь здоров!»

34

Вдруг видит — тащится по дороге, едва волоча ноги, тощий шелудивый пес. «Наверное, бедняга отстал от каравана и заблудился в пустыне...»

(Хорасанская сказка)

«Клик-клик» — в такт шагам стучит шагомер. Я иду по холмам от заповедника к ВИРу, вспоминаю былые времена и думаю про то, что ничего трагичного не произошло, но я непростительно раскис, поддержки хочется почему-то почти по-детски, и что эту поддержку я сейчас у Муравских найду. Игорь и Наташа всегда поражали меня тем, что их немногословное и ненавязчивое гостеприимство неизменно доставалось всем, кому было так необходимо.

За пятнадцать лет, которым я был свидетелем, редкая научная экспедиция, приезжавшая в Западный Копетдаг, не проводила хотя бы одну ночь на веранде небольшого муравского дома. В сезон там периодически кто-то спал в спальниках среди экспедиционных вьючников и прочего барахла. Лишь в последние годы, с учреждением заповедника, этот



поток несколько поубавился, далеко не иссякнув окончательно.

Совсем уж непостижимым образом на веранде у Муравских периодически оказывались убогие, покалеченные и больные коты и собаки со всей округи. Никто их не приносил, они появлялись сами.

Бездомные барсики, ошалевшие от драматического поворота в своей судьбе и от первого в жизни мытья и лечения, восседали зимой у них дома около печки с выражением наглого недоумения на расцарапанных бандитских мордах со слезящимися глазами.

Котов и собак в доме вечно было столько, что это невольно воспринималось либо как рай (теми, кто их любит), либо как ад. Приехав однажды весной к Муравским с Зубаревым и студентом Ваней Прядилиным, мы только уселись за праздничный стол отметить нашу очередную встречу, как Ванька вдруг звонко чихнул. Потом еще раз. Потом он, смеясь, счастливо вытер слезы и доложил, что у него аллергия на кошек...

Каждый вечер он брал под мышку огромную подушку и, не в силах противостоять судьбе, безропотно плелся ночевать в Наташину лабораторию, а мы с Зубаревым, два чутких и заботливых преподавателя, свистели и улюлюкали ему вслед, обзывая «экологическим беженцем»...

Непостижимая генеалогия вечно вертящихся около муравского дома собак постоянно пробуждала у меня мысли не только о причудах генетики, но и о нечистой силе. Немыслимые гибриды местных алабаев и салонных аристократов, неисповедимыми путями попадавших в Кара-Калу со столичным людом, пробуящим себя на поприще удаления от цивилизации и приобщения к далекой от российских столиц жизни на лоне природы, предоставляли наблюдателю неограниченные возможности увидеть массу интересного.

Один из таких барбосов, Пафнутий, каждый вечер, когда я перед сном направлялся через огород в туалет, бежал передо мной, гордо подняв хвост и смело гавкая в темное простран-



ство — главным образом для свирепого соседского Ингира, сидящего на цепи огромного овчара, с которым Пафику было не тягаться. Моя близость придавала нашему легкомысленному кобелю невиданный кураж, так что он подбегал к толстой сосне, стоящей вне досягаемости беснующегося на цепи Ингира, и демонстративно задира на нее лапу, вовсе и не глядя на свирепую оскаленную пасть с капающей слюной в метре от себя, а с подчеркнутым хладнокровием поглядывая на меня: «Ты уже сделал свои дела? Я уже...» В дождливую зимнюю погоду Пафик, кряхтя, как старый дед, умудрялся за-таскивать к себе в будку еду прямо в миске, чтобы не есть под дождем.

А еще он на посторонних, приезжающих к Муравским с рюкзаками, не гавкает, хотя даже знакомых местных в дом не пускает. Поэтому сидит на привязи, и лишь на ночь его отвязывают (живет личной жизнью, из-за чего утром появился с выданным около уха клоком шерсти — сейчас страдает).

Приход в ВИР ветеринара, обязанного сделать всем домашним животным необходимые прививки, неизменно сопровождался сбором зрителей около муравского дома, живот-

ное население которого превосходило совокупную популяцию кошек и собак всех окрестных соседей.

«СУЧЬЯ МЯСА»

Утолив голод, пес повеселел и стал к нему ластиться...
(Хорасанская сказка)

«10 февраля. ...Ветеринар — маленький, с большими ушами, в коричневом халате и в зимней меховой шапке, несмотря на уже теплую предвесеннюю погоду, со шприцем в руке, старается держаться на почтительном расстоянии от прививаемого объекта. Мы со Стасом зажимаем почуявшего недоброе и свирепо рычащего от страха Пафнутия, оттягиваем ему на загривке шкуру, подставляя место для укола. Ветеринар, крича: «Нэт, нэт, надо в бэдрэнный кость!» — как комар, с разбега втыкает Пафику в зад шприц, торопливо впрыскивает содержимое и стремительно отскакивает назад («У-у, сучья мяса...»).

Закончив с нами, этот пугливый айболит переходит к соседям, где к Ингиру не решается приблизиться и на десять шагов, крича хозяину издалека про то, как надо собаке давать лекарство от глистов, чтобы она его незаметно для себя съела. Потом он заворачивает увесистый шарик этого лекарства в инструкцию по его использованию и кидает издалека хозяину. Ингир, перехватив в прыжке брошенный сверток, клацкает пастью, даже не замечая, что он что-то проглотил, и вновь повисает на своей цепи, привстав на задних лапах и захлебываясь на ветеринара свирепым лаем.

Хозяин Ингира, невысокий и щупленький Николай Михайлович, уже преклонного возраста, изо всех сил сдерживает обезумевшее чудовище, что удастся ему с трудом.

Это человек необычной судьбы. Он общался с Вавиловым. Сам в свое время за чтение стихов на английском языке и за пристрастие гулять под дождем получил по доносу соседа десять лет лагерей. Вернувшись с Севера, много лет жил бок о бок с человеком, который на него написал. Он со смущением признавался, что после лагеря не любит больших собак, а вот вышло, что у них в доме живет Ингир».

КОШКИ-СОБАКИ

Хатем погладил его по голове, по шее, и вдруг рука его коснулась чего-то твердого, напоминающего рог, а приглядевшись, Хатем увидел, что в голове у пса торчит большой гвоздь. Хатем немедленно выдернул тот гвоздь. Пес завертелся волчком и на глазах у жителей селения превратился в рослого красивого юношу...

(Хорасанская сказка)

«14 февраля. Дорогая Дашенька!

Тетя Наташа и дядя Игорь, у которых я здесь живу, очень добрые и всегда помогают больным или брошенным животным. Поэтому у них дома всегда полно всякого зверья. Сейчас живут три кота и три собаки.

У рыжего Коти нет одного глаза. Когда мы ужинаем, ему разрешают сидеть за столом на табуретке и есть со своей тарелки. Очень маленькая черная кошечка Чернушка весь день где-то бегает, а вечером появляется, трется о ноги и мяукает очень пискливо — как мышка пищит. Третий кот никогда не мяукает, но всегда таскает что-то со стола. А сегодня он на веранде сидел на еще теплой электрической плитке, как чайник, — грелся.

Самый маленький из собак — Джим. Он белый, с черными ушами и лохматый. Гоняет в округе всех других собак, даже огромных алабаев. Вот что значит боевой характер. Собачка Кузька очень добрая, все время просит, чтобы ее погладили. Третий барбос — это большой темно-коричневый пудель. Его давно не стригли, и он очень похож на овцу: весь в кудряшках.

Овец здесь очень много, а пуделей таких никогда не было. Поэтому когда я его первый раз увидел, то сразу подумал: «Как странно — у овцы совсем собачья голова». А потом оказалось, что это и правда собака. Зовут его Флокс-Франт.

У него родословная, которую здесь и показать некому, а в ней записано, что его дедушка из Англии, а бабушка из Америки. И что день рождения у него 5 февраля. Тетя Наташа хотела устроить ему праздник, испечь что-нибудь вкусное и позвать других собак в гости, но он сам все испортил: сташил со стола кусок сыра и получил вместо дня рождения под хвост веником.

Франтик — собака городская, поэтому почти все время спит на кухне под столом и грустно вздыхает. Наверное, вспо-

минает свой Ленинград, откуда его привезли, а назад взять не смогли... Ну ничего, у него теперь и здесь много друзей. От него и от меня привет Кисе и всем другим твоим животным».

В отдельные годы меня, приезжающего из Москвы, у дома Муравских встречала целая свора добросовестно гавкающих на чужака разномастных кудлатых кабыздохов, на самом деле приветливо помахивающих хвостами мне навстречу: мол, ну а с тобой что, ежели и ты сюда, к нам в компанию?.. Со мной все было как всегда — орлов я решительно не находил.

Когда я вышагивал от заповедника домой, это был как раз тот день, когда я с очевидностью был «чужим на празднике жизни», и поэтому дом Муравских был абсолютно наилучшим местом, где я мог быстрее всего вернуться к жизненному тону, чтобы из полученного очень «кислого лимона» все же как-то «сделать лимонад».

САНТИМЕНТЫ

...он пристально смотрит на свою подругу, поднял и несколько распустил свой хвост, вздрагивает и... выкрикивает свое звонкое: «чже-чже-чечеч!»; проходит минута, самочка покорно ложится на землю, и по-куриному самец становится ее обладателем. Но тут из-за бугра гремит мой выстрел, и сейчас счастливые супруги делаются жертвою охотника.

(Н. А. Зарудный, 1900)

Кто позволил тебе чинить зло живым существам? Покайся, не то я расправлюсь с тобой за все содеянное...

(Хорасанская сказка)

А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень травную в пищу. И стало так.

(Бытие 1 : 30)

«16 февраля. ...Заметил в стае хохлатых жаворонков птицу необычной окраски. Понял, что надо добыть, выстрелил, но

не убил, а ранил. Спасаясь от меня, раненый жаворонок пустился бежать и заскочил глубоко в нору песчанки. Для такой птицы неестественно прятаться в норы — это последний шанс в борьбе за жизнь.

Бросить его просто так, чтобы он там подох, я уже не мог, пришлось повозиться, откапывая. Выглядел я при этом сам для себя как кровожадное безжалостное чудовище, отнимающее у более слабого существа последнюю надежду на спасение (сентиментально, но по сути верно). Не люблю стрелять, но, раз приходится, пусть уж погибшая птица не пропадет впустую, а увековечится музейной тушкой на благо орнитологической науки. Откопал уже подохшего...

Для систематического определения и изучения состава кормов добываю теперь абсолютный минимум птиц. Пусть лучше корифеи пожурят на защите за недостаток статистического материала; будем компенсировать качеством развешанных таблиц (Папан уж расстарается, все ахнут).

Потому что каждую добытую птицу воспринимаю как единицу жизни, как деталь бесконечной мозаики живого, существующего сейчас. Как воплощение многого, унаследованного от прошлого и как резерв для будущего. Каждая птица — словно бусина на нитке, один конец которой уходит в бесконечность во «вчера», а второй — в «завтра». Причем судьба этого «завтра» весьма проблематична, а разорвать эту нитку так просто...

Может, в основе всех этих явных или мнимых дилемм как раз и лежат фундаментальные различия между наукой, искусством и религией? Для науки важны лишь объективные, измеряемые (и проверяемые) факты и критерии; для насковзь субъективного искусства «нравится — не нравится», — необходимый и достаточный критерий; для религии лишь «верю — не верю» имеет значение.

Вот и получается, что одна и та же живая или убитая птица означает совсем разное для биолога, для художника или поэта и, наконец, для теолога или просто верующего. С птицей менее наглядно, а вот если самого человека взять, то сразу выпирает разница подходов за счет дуализма нашей собственной природы, в которой биологическое с социальным перемешано — «полузвери-полубоги» (как сказано! Ай да Заболоцкий!).

Но суть все же ясна даже с жаворонком: пока этот самый кормящийся на склоне жаворонок воспринимается лишь как факт и как отражение других фактов, к нему одно отношение. Если взглянуть на него как на одну из брызг, которые бытие (Бог) разбрасывает, накатывая волну жизни на утес времени, — совсем другое. Художественное отражение гармонии его облика и образа — это уже опять другое, третье.

Вроде все понятно: в реальной жизни эти три пути познания перекручены в одну-единую веревку, по которой карабкаются разум, душа и сердце в одной связке; отсюда и смешение разнородных материй в обыденном восприятии и сознании. Поэтому для ученого и оказывается критическим требованием любой ценой избежать смешения трех этих стихий, не спутать пресловутую науку с многострадальной религией или с возвышенным искусством... Потому что только при этом условии все остается в системе сложившихся координат, не выплескивается пусть из раскачиваемой, но все же худо-бедно работающей (пока) чаши существующей парадигмы. И если новая, лучшая, чаша еще не готова, то выливать содержимое из уже имеющегося сосуда никак нельзя, каюк: разольем, и все; ничего не останется, будем просто сидеть в луже и чесать затылок; чисто ельцинский подход...

Но ведь без смены парадигмы телега мировой цивилизации вперед не катится... Так, может, грядущая парадигма именно в новом качестве отражения материальных феноменов? А если, допустим, извечная дилемма «физики — лирики» вовсе и не дилемма? Вдруг эти «физики» и «лирики» отнюдь не антитезы, а неизбежно необходимые друг для друга стороны одной медали, которые порознь и существовать-то не могут? Не в смысле того, как рядовая наивная душа воспринимает закат или извержение вулкана, а в смысле глобально-гносеологическом? Вот будет приколы, если так и окажется... Но пока нам слабó. Пока отдельно с наукой, отдельно с религией и отдельно с искусством разобраться не можем...

Фу-у... Старо это как мир, и все равно — геморрой...

Ну, а если не умничать особо и сконцентрироваться на собственном антропогенном участии в жизни этого злополучного жаворонка, то многое упрощается. Это про то, что пусть даже упомянутая птица уже завтра погибнет от хищ-

ника, это есть ее экологическое предназначение, ее доля в общем вкладе, ее судьба, если хочешь. Но не мое произвольное вторжение постороннего прохожего, вершителя судеб, царя природы и ушлого мичуринца... То же самое с жизнью паука или жука под ногами: можно наступить и прервать эту нить, а можно не наступить и оставить нити продолжение...

Сю-сю-сю, разлили-малина... Любого музейного работника затошнит от подобных рассуждений, поверь мне. Назовут все это сентиментальными соплями. Зарудный, например, птиц долбил тысячами. И создал тем самым неоценимые коллекционные фонды. Но это — не мое.

Кстати, и Зарудному было далеко до некоторых современных «коллекционеров», экспедиции которых, составленные гарными хлопчиками из дружественных славянских республик, коллектируют буквально все живое, попадающееся на глаза. И если Зарудный работал один и вдумчиво, четко зная, что и для чего он коллектирует, нынешние «музейные спецназы» гребут все, что видят, берут массовостью выборки. Отстреливают подряд всех мало-мальски примечательных птиц; всех доступных жуков и бабочек — в морилки; всех амфибий и рептилий — в сорокалитровые фляги с формалином. И все это — за-ради расширения музейных фондов под лозунгом: «Успеем сохранить для науки все, что можно!» А то, что не все из собираемого нужно, и что отходов много, и что красно-книжные виды в сборах «по случайности» оказываются, так это неизбежные издержки производства... Дома разберемся... Ба-бах! — выстрел; сильно разбило птицу? Ну что ж делать, вот ведь незадача, брось ее; ба-бах! — еще раз; вот эта лучше... И ведь все уверены при этом, что делают большое и важное дело...

А вдруг это всего лишь извивается внутри червячок тщеславного самолюбия, смердящий гнилостно: «Помру, а этикетка с моей фамилией останется в музейной коллекции...» Ведь все хотят быть как большие, хотят *быть* *взаправду*...

Кстати, чего уж там, при всем моем уважении к Зарудному, и с ним мне не все понятно. Ну не поддается моему разумению: наблюдает он турача, ухаживающего за самочкой, описывает его гусарское поведение, а в момент спаривания, когда этот турач оседлал самку, именно в момент трогательного птичьего экстаза, кладет их обоих одним выстрелом... Дрын

зеленый! Это что? Вдруг непонятно откуда возникшая потребность патроны экономить? Или, может, за этим некая особая научная ценность кроется?

И ведь слабонервным Н. А. не был. В том смысле, что наблюдение спаривания животных у некоторых людей пробуждает или собственные неукротимые порывы, или неконтролируемое поведение, видимо связанное с невозможностью своей импульс мгновенно удовлетворить (Фрейд бы это наверняка по полочкам разложил).

Как однажды собрались мы с Гопой сплавать весной на байдарках, я в девятом классе был. Сели в электричку, выгрузились в каком-то неизвестном мне месте, дотащили байдарки до речки недалеко от станции, разложились, собираем их под навесными качающимися мостиками, весело поскрипывающими, когда дачники спешат по ним с противоположно-го берега реки на станцию. Удивительные мостики.

Ждем какого-то Гопиного знакомого, который должен к нам присоединиться. На следующей «кукушке» приезжает он; держался, помню, уверенно, острил браво. Тоже начал с нами байдарку собирать, а потом увидел в воде у берега спаривающихся лягушек. Май месяц, весна, из каждой травинки жизнь вот-вот попрут всюю, все набирает обороты, лягушки, понятное дело, в авангарде весенних сил.

Так он сапоги болотные поднял, зашел поглубже, рукав засучил, вытащил лягушек со дна и стал с неожиданным для меня остервенением их расцеплять. А это непросто, так как самец самку сжимает, словно окаменев. Короче, не сумев их разъединить, он изо всех сил, с каким-то рвотным хеканьем швырнул этих лягушек об воду, вдребезги разбив обеих, медленно поплывших порознь по течению кровавым месивом.

Я внутренне так озверел, что чуть башку ему не разбил веслом, сдержало лишь уважение к Гопе. За весь день ни слова ему не сказал, даже не смотрел на него.

Уже вечером, когда байдарки сложили перед отъездом, он подходит ко мне, до плеча дотронулся, извини, говорит, и не расстраивайся ты так...

Трудно, конечно, судить вне контекста ситуации, но при прочих равных условиях в случае с турачом мы бы с Зарудным друг друга не поняли... И ведь что важно — он, даже описывая этот случай, умудряется про самих птиц с любовью

писать: «петушок, курочка», — черт-те что. Или так (про жаворонка): «...Я выстрелил по самочке, принявшей самый беспечный вид и деловито расхаживавшей по глинистой площадке среди солянковых зарослей; она отлетела шагов на сотню и спустилась; подхожу, чтобы подобрать свою добычу, и — трогательная картина — нахожу ее лежащую мертвою на самом гнезде».

Не иначе, как было у Н. А. такое завышенное представление о месте человека на арене жизни, что он просто и не соотносил человеческую жизнь с совсем не ценной жизнью прочих тварей, включая птиц. Любил их, понимал, восхищался, но жизнь их со своей не сопоставлял, рассматривая конкретное животное лишь как материал для удовлетворения и применения собственных зоологических интересов. «Царю природы» можно все!

Но как он пишет порой! Вот про скотоцерку, например: «Это очень живое, подвижное и беспокойное существо. С раннего утра и до вечера она находится в беспрестанном движении и хотя затихает в жаркие часы дня, но почти всегда... найдется та или другая птичка, которая то крикнет, то погонится за каким-либо насекомым, то вскочит на вершину куста, задерет высоко свой хвостик, покривляется в разные стороны и, осмотрев, что делается вокруг, нырнет в чашу ветвей... Искусством летать... не может похвастаться... На лету зато выделяет иногда разные пируэты, например, внезапно бросается на землю и так же внезапно отскакивает от нее; проделывая это несколько раз подряд, очень походит на маленький резиновый мячик... Никогда не забуду следующего случая: сижу я однажды в тени под кустом саксаула, сижу и радуюсь интересной добыче, которую успел в этот день собрать, а на душе так хорошо; и вот, как бы для того, чтобы привести меня еще в лучшее настроение духа, из куста выглядывает вдруг молоденькая куцая скотоцерочка, спрыгивает ко мне на плечо и ловит сидящего на нем жучка; потом вскарабкивается на ухо и шарит в нем клювом; мне шекотно и смешно, а птичка пугается невольного движения моего, прыгает на голову, отдает на ней долг природе и трещит слабым, нестройным голоском... Гром ружейного выстрела часто не пугает компанию скотоцерочек и вызывает в ней лишь крайнее удивление; мне случалось раз за разом убивать на одном и том же кусте до пяти птичек, прежде чем остальные брались за ум и улетали...»

Каково? Так что не знаю. Я и сам в какой-нибудь исключительной ситуации конечно же буду коллектировать материал, но не всегда и не любой. Ты думаешь, если я орла найду, я его для коллекции добуду? Ха! Да ни за что на свете.

Не спорю, тушка птицы в музейном хранилище — это кирпичик в большом и важном. Но все же интересно, имеет хоть какую-нибудь ценность на весах вечности прямо противоположное — ощущение конкретной жизни, которое каждый раз останавливает от того, чтобы добавить еще один экземпляр в коллекцию музея?

Что примечательно, начав заниматься птицами по науке, вообще перестал охотиться. Как отрезало».

ФИГ ПОЙМЕШЬ

Откажись немедленно от этих нелепостей и никогда более не сомневайся в неизбежности предначертаний судьбы...

(Хорасанская сказка)

«9 марта. ...После дней, недель и месяцев непрерывных наблюдений глаз сам цепляется за все необычное. На зеленеющем пробивающейся травкой пологом склоне, около гнездовой норы каменка-плясунья усердно расклеивает крупную погадку какого-то хищника. Сил маленького птичьего тела не хватает, ей приходится наскакивать почти с разбега, вкладывая в удары клювом не только силу мышц, но и инерцию движения.

Я неосторожно приближаюсь слишком близко («Пардон, птичка!»), она отскакивает на пяток метров за ближайший бугор, и, не в силах бросить столь важное для себя занятие, прихватывает погадку в клюве. Продолжает расклеивать ее там все с тем же остервенением. Для чего? У меня одна догадка: распотрошить погадку, чтобы использовать спрессованную в ней шерсть съеденной хищником песчанки для выстилки гнезда. Но это уже мои орнитологические домыслы.

Ситуацию до конца я тогда не проследил. Я прошел дальше, как тогда считал, — по более важным делам. А сейчас листаю дневник, и что же я вижу? Ради чего я прошел тогда, не задержавшись еще на пять, или на десять, или, в конце концов, на пятнадцать минут у той каменки? Чтобы записать: «Убегающая

в панике песчанка тащит к норе во рту целый сноп зеленой *Medicago minima*» (дневник 10, стр. 43, наблюдение 153)...

Ну и что? Зачем мне это? Зачем мой глаз и моя мысль зацепились тогда за это? Кто и как использует этот факт для науки? Или для искусства? И использует ли? Кому нужно знать, с какой травой во рту песчанка тикает от опасности? То, что песчанка эту траву ест, давно известно. Кого взволнует этот факт? Кому поможет докопаться до истины? Чье воображение разбудит? Чью фантазию окрылит?

Как много своей жизни мы тратим на то, что никогда никому не понадобится, не согреет душу, не поддержит в трудную минуту, не приоткроет новых горизонтов... Эх, знать бы наперед, что зачтется на весах вечности, а что развеется в никуда утренним туманом...

А как бы это могло быть изящно, если бы я досмотрел все до конца и убедился, что добытую из погадки шерсть плясунья утаскивает в нору. Это уже с минимальными натяжками можно было бы считать использованием погадки для строительства гнезда. Для пушей научной важности можно было бы на худой конец и гнездо разорить, раскопать нору. Хотя в этом есть уже что-то гадкое, присущее именно *пытливой человеческой* натуре. (Если погибаешь с голоду — раскапывай, никаких проблем, жри сырые яйца или птенцов, пеки их в золе, суши на солнце, а так? Для науки?) И это означало бы еще один пример потрясающей утилизации всех мыслимых ресурсов в природе; использование всего, что возможно всегда, когда возможно. Ан нет. Я прошел дальше. *Был занят*.

Зато теперь у меня записано, как песчанка бежит домой с набитым зеленой травой ртом...»

КАМЕНКА-ПЛЯСУНЬЯ

Приведу еще несколько дополнений...
(Н. А. Зарудный, 17 марта 1919)

«17 марта. ...Недавно прилетевшие каменки-плясуньи скачут и вертятся около своих нор, оглашая все вокруг звонкими трелями вперемешку с копированием песен самых разных птиц и с почти человеческим хулиганским свистом. Никак не могу привыкнуть: день за днем, услышав за спиной вызываю-

щее «Фюить!», быстро оборачиваюсь, предполагая, что это меня кто-то фамильярно-вызывающе окликает таким манером. А на меня испытующе смотрит черными птичьими глазками, лихо дергая хвостом, самец каменки-плясуни... Чертыхнешься про себя и идешь дальше.

Как у Зарудного: «Громким, сильным голосом распевает чекан по утрам и в предвечернюю пору, сидя на каком-нибудь выдающемся предмете вроде верблюжьего черепа, бугра, вершины куста или поднимаясь на сотню-другую футов и медленно опускаясь на распростертых крылышках, — и далеко в пустыне разливаются милые звуки его песни, и слушаешь маленького певца с бесконечным удовольствием и благодарностью. Чекан в совершенстве копирует голоса всех птиц пустыни; ...не довольствуясь этим, он подражает, конечно в миниатюре, реву ишака и верблюда, ржанию лошади; ...он передает в своей песне шум проходящего каравана, с шорохом ног о песок, со стуком копыт, со скрипом выюков и грубым смехом туркмена. Уже одна птица способна оживить излюбленный ею уголок, когда же запоют их несколько — всякий страстный любитель природы должен будет сознаться, что и глухая пустыня имеет свои заманчивые прелести». Замечательно. И это 1896 год...

Каменка-плясуня... Последняя птица, про которую Зарудный писал, работая над очередной книгой, перед смертью. Так и лежала на его столе запись про каменку-плясунью, когда самого Зарудного вдруг не стало: «Приведу еще несколько дополнений...»

Что произошло? Загадка. Как может человек, работавший всю жизнь препаратором, по ошибке выпить отравленную жидкость? Что бы там ни было в музее — мышьяк для обработки шкур, или квасцы, или что еще. Это не то, что можно выпить случайно, спутав с чем-либо. Сидел, работал за столом, писал про каменку-плясунью, выпил случайно яд, почувствовал недомогание, взял извозчика, поехал домой и умер там три часа спустя... Непостижимо. Воистину у каждого свой путь...

Именно так закончилась жизнь одного из самых замечательных и одаренных людей начала века. Человека, которого совре-



менники могли сравнить лишь со знаменитым Н. М. Пржевальским. Исследователя, чье имя многократно сохранено в названиях десятков и десятков впервые описанных им животных. Обаятельного и внимательного собеседника; гостеприимного хозяина; неутомимого путешественника; страстного и удачливого охотника; ценителя женской красоты и любителя бокала красного вина за обедом; наблюдателя, способного видеть то, что было незаметно другим. «Небольшого ростом, почти тщедушного человека, останавливающего на себе внимание разве только характерным южным типом своего лица, быстротой и гибкостью своих всегда ловких движений да открытым, детски доверчивым взглядом темнокарих глаз» (А. П. Семенов-Тянь-Шанский, 1919). По-настоящему скромного характера, чужающегося популярности, известности и публичных выступлений. Огромного сердца, вместившего в себя бескрайнюю любовь и к российской природе, и к горам Туркестана, и к прокаленным пустыням Персии. Энтузиаста и гуманиста в высшем значении этих слов.

Зарудный: «Я верил в свои силы, выносливость и энергию... мне казалось, что я легко справлюсь с возложенными на меня обязательствами и вернусь с добычей, богатою во всех отношениях... Мне были нипочем ни грозные соляные кевиры и песчаные дешты, ни «бад-и-сад-бист-и-руз» (ветер 120-ти дней), порою томительный и расслабляющий, ни палящее солнце, ни пересохшее от жажды горло, ни утомленные глаза, но у меня почти всегда не хватало времени и не всегда хватало сил в тех редких случаях, когда оно оставалось. Когда мы проходили пустынями, я целый день посвящал поискам, часто бесплодным (днем в персидских пустынях нередко можно пройти целые версты и не встретить на пути ни одной птицы, а в тихую погоду — не услышать ни одного звука), и возвращался на стан со скудной большею частью добычей, и к тому же настолько утомленным, что после препарирования и укладки добытого часто положительно не был в состоянии приниматься за любопытную вечернюю охоту: ловлю на фонарь, поиски с ним, постановку капканов, — и я был в отчаянии... Когда же наш путь пролегал странами, щедрее одаренными природою, — снова отчаяние: в несколько часов мне удавалось собрать много, пролетали целые часы за работой, садилось солнце, быстро наступали темные южные сумерки — и вот пропущено время, чтобы караулить крупного зверя на водопой, сторожить птиц на ночлег и искать что-нибудь новое; а тут еще записать свои наблюдения, уложить отпрепарированное,

набить ружейные патроны, приготовить себя к раннему утру следующего дня, а в награду за труд — потеря аппетита и вместо сна — беспокойная, тоскливая дрема...» (1900).

Закончилась жизнь Николая Алексеевича Зарудного, а «...мы, осиротевшие друзья его, вознесем в душе высокий холм в его память, с которого нам будет светить, согревая нас и вдохновляя на работу, неугасаемый дух вечного юноши» (А. П. Семенов-Тянь-Шанский, 1919).

«Приведу еще несколько дополнений...» — у него всегда было больше за душой и в голове, чем он успевал написать или высказать...»

35

...дело мое не движется, я беспомощно блуждаю по пустыне и не знаю, чем все это кончится...
(Хорасанская сказка)

Итак, наши планы на совместную поездку с Романом строились по непонятным для меня причинам. Поэтому на следующий день после разговора с ним я сидел на раскладном рыболовном стульчике на окраине Кара-Калы у обочины единственного в этой части Туркмении заасфальтированного шоссе и, вместо предполагавшегося маршрута по труднодоступному междуречью Сумбара и Чандыра, уныло и безрезультатно голосовал редким попуткам, идущим не на юго-запад, как мне бы хотелось, а на восток.

«ИЗ ТОЧКИ А В ТОЧКУ В»

...шахзаде с маликой вынуждены были идти пешком...
(Хорасанская сказка)

«Граждане СССР! Голосуйте...!»
(Типовой предвыборный плакат)

«12 апреля. ...Эх, сочинить бы книжку про все те бесчисленные попутки, которым я *голосовал* за свою жизнь и кото-

рые меня подвозили в разных направлениях на разных дорогах нашей *необъятной родины!* Вот уж что воистину составляет саму ткань моей судьбы, на которую все остальное повешено, — попутки, попутные машины.

Задача: «Пассажиру нужно добраться из точки А в точку В. Скорость у пассажира — ноль, он стоит на обочине и голосует. По дороге к точке В едут машины; их средняя скорость — 70 км/час. Вопрос: подвезет пассажира кто-нибудь или нет? И если да, то кто и когда?»

Сколько помню себя в детстве и наши бесчисленные поездки в деревню, на охоту, за грибами, мы постоянно голосовали на дорогах. То в Калининской области, добираясь до Едимново, то на Горьковском шоссе (от Балашихи до Киржача). Стоишь, угадываешь, кому поднять руку, а кому бесполезно. И пытаешься представить: «Если вот этот остановит, в какой мир попадем, усевшись в его кабину?» Высокомерным дородным легковушкам в те годы вообще не голосовали. Тогда родители решались голосовать исключительно грузовикам. Не все из них останавливались, но уехать не было проблемой.

Помню свое детское восторженное ощущение *уже свершающегося*, а не только ожидаемого путешествия, когда на поднятую руку тяжелый грузовик притормаживал, съезжая на обочину, и останавливался немного впереди.

Потом был такой особый запах кабины и незнакомый шофер, крепко державший своими *шоферскими руками* огромный руль. *Баранку*. Мы ехали, взрослые говорили о чем-то, а я сидел рядом с водителем («подальше от двери»), чувствуя, как сильная рука слева от меня переключает рычаг загадочной *коробки передач* (сколько ни высматривал, никакой коробки не было). Я глядел вперед на затягивающееся под колеса полотно дороги и на *неподвижный* мир, мелькающий вдоль шоссе, по которому мы *проносились*.

Став старше, я начал голосовать сам, разъезжая один, и уже сам разговаривал с водителями о разном, со скрытым упоением дивясь этому случайному соприкосновению своей судьбы с судьбой совершенно незнакомого мне человека, оказавшегося именно в этот день, в этот час, в этой жизни, в кабине машины, остановившейся на мою *голосующую* руку.

Однажды, будучи второкурсниками, мы путешествовали с Митяем и Жиртрестом на лыжах по зимней архангельской тайге на границе с Карелией. Целую неделю шли по дремлю-

щим под толстым льдом рекам, по очереди прокладывая лыжню на снежной целине, разбираясь в следах на снегу (Митяй собирал в пакет замерзшее волчье дерьмо, чтобы потом в лаборатории разобрать его содержимое), считая синиц в редких птичьих стаях и наблюдая через подслеповатые окошки охотничьих избушек, как серебряным морозным утром клесты воруют паклю для гнезд из щелей вокруг оконных рам. Тогда мы тоже голосовали, выбираясь назад «в цивилизацию».

Закончив свой лыжный маршрут среди промерзших и заваленных снегами болот и озер у черта на куличиках, в забытой Богом деревне, расположенной (если верить карте) на дороге, мы обнаружили, что дорога эта — зимник. Лишь только осенью первый серьезный мороз сковывал непролазные хляби, через них пробирались водовозы-поливальки, наращивая для будущей дороги лед. Следом шли машины, подсыпавшие на этот полив опилки. И так — снова и снова. За зиму выростал двухметровый слой льда вперемешку с опилками, не таявший аж до июля. Потом автомобильное сообщение окрестных болотных деревень с внешним миром вновь прерывалось до ноября, и лишь уже по новому зимнику туда снова завозились водка и карамель, а оттуда вывозились копченая озерная рыба, соленые грибы и клюква.

Об этом мы узнали от скучающей секретарши сельсовета, поселившей нас в пустующей сельской школе и рассказавшей, что два дня назад через деревню, дальше *на озера*, прошли две машины, которые через *пару дней* должны идти обратно. Если у них не будет других попутчиков, они, наверное, смогут нас подвезти.

Мы прожили два дня в огромной пустой школьной избе (дети есть, нет учителя), не имея возможности никуда отлучиться из деревни, топя печку, прикармливая деревенских собак, обосновавшихся пегой потрепанной сворой у нашего крыльца, и поочередно высматривая желанные грузовики. Появились они вовремя и по счастливому совпадению даже остановились недалеко от школы.

Из кабины передней машины нетвердо спрыгнул шофер в просаленном ватнике. Из кабины второго грузовика водитель *выпал* в открывшуюся дверь на снег, где начал медленно шевелиться, пытаясь встать и напоминая своими нелепыми движениями какой-то странный организм. Он был абсолютно, смертельно, вегетативно-бессловесно пьян. Невозможно бы-

ло поверить, что столь пьяный человек минуту назад сам вел этот грузовик.

Переговорив с державшимся на ногах *трезвым* шофером, который медленно вращал остекленевшими глазами, явно отстающими от мысли при поворотах головы, мы сошлись на бутылке за каждого. Я бодро заявил, что мы вручаем им водку по прибытии, на что *трезвый* без эмоций ответил, что в таком случае мы можем идти до железной дороги пешком.

Отсутствие выбора легко снимает проблемы. Я зашел с ним в магазин и купил там три бутылки водки, а сам шофер купил бутылку болгарского коньяка «Плиска», курортно-пляжная пузатость которой смотрелась чужеродно и неуместно среди запыленных банок кильки и оцинкованных ведер в заснеженном деревенском магазине. Я вручил водку водителю, он распихал ее по карманам, после чего оба шофера в обнимку, опираясь друг на друга, ушли в соседний дом.

Делать было нечего, мы закинули рюкзаки и лыжи в кузов, Митяй сел к *трезвому*, а мы с Жиртрестом втиснулись в малюсенькую кабинку выдавшего вида «ГАЗ-51» к *пьяному* и стали ждать. Они вышли минут через двадцать, не отсиживаясь в тепле, не греясь и не отдыхая, но явно приняв еще.

Пьяный долго карабкался на свое место, мыча что-то нечленораздельное, оскальзываясь и хватаясь коржавой ладонью за замороженную рукоятку двери. Наконец влез и сел на свое сиденье, глядя вперед искусственными глазами манекена и шумно дыша носом.

У меня не было ни страха, ни беспокойства. Потому что не верилось, что все это может состояться. Но передний грузовик *трезвого* вдруг кашлянул и завелся, жизнеутверждающе задымив на морозе вонючим выхлопом.

Посидев без движения минуту, наш водитель включил зажигание, взялся обеими руками за руль, и его лицо вдруг изменилось. С глаз спала дурная пелена, и сквозь мутную остеклененность проступил какой-то взгляд. Это еще не было осмысленным выражением, но первый шаг был сделан. Из *существа* шофер превратился в очень пьяного, но уже человека. Повернув голову, он впервые посмотрел на нас и после долгой паузы сказал:

— Как зовут?

— Меня Сергей, его — Александр... Саша.

После чего шофер потом всю дорогу звал меня Валерой.

Он гулко выдохнул угарным смогом и сделал еще более осмысленный жест — протер рукой запотевшее стекло перед собой. Это выглядело уже и вовсе обнадеживающе.

— Не понимаю я, Валера. Чтобы ехать как трезвый, я должен быть совсем пьяный. А если сяду за руль трезвый, сразу что-то не так, ехать вообще не могу; сижу — хуже пьяного. Как такое может быть? — Он вновь сосредоточенно задышал носом, потом еще раз повернул голову и опять долго и внимательно посмотрел на нас, как бы удивившись нашему присутствию в кабине. — Прикури-ка мне, я сам не могу сейчас; рулить могу, а прикурить не могу.

Ехали мы тогда шесть часов. Говорили о чем-то. Я периодически прикуривал ему сигареты (сбитый в тесноте рукавом уголек одной из них прожег мне пижонские ватные офицерские штаны на самом приметном месте). Запомнился лишь холод, врывающийся в кабину через открываемую дверь, снега вокруг, быстро наступившие короткие сумерки, сразу сменившиеся серьезной зимней темнотой, вопросы шофера про столичную московскую политику (отвечал Жиртрест, он хорош в этом) и то, как эти два водителя общались между собой. Время от времени они притормаживали, *трезвый* вылезал на подножку и кричал назад:

— Ты как, Володечка?

— Нормально, Толя, нормально!

Мы снова трогались, ехали дальше. Потом они менялись, ведомый становился ведущим, поджидая, когда требовалось, отставшего из виду товарища. По-моему, это было то самое шоферское братство, про которое все и говорят.

Когда уже поздно ночью мы добрались до станции, наш Володя вновь не сумел выйти из кабины, не смог сам идти и не смог с нами попрощаться. Он лишь опять мычал что-то, поддерживаемый товарищем, который повел его куда-то. Я ничего не понимал: шесть часов езды не протрезвили его ни на малость; выключив мотор, он снова отошел в туманную бездну летаргического угара.

А охрипший Митяй поведал, что ему пришлось всю дорогу, все шесть часов, петь Анатолию песни, многие — по нескольку раз.

Я вспоминал об этом случае, когда три года спустя проголосовал в Вологодской области (от станции Вожега до деревни Нижняя) новенькому «ГАЗу-66», за рулем которого сидел

такой же новенький, улыбающийся, с неправдоподобным румянцем на гладких щеках, молодой, жизнерадостный шофер. С него и с его машины можно было писать необъятное полотно «Шофер коммунистического будущего» для павильона ВДНХ.

— Садись, только по дороге пообедать остановимся.

Во время пути я безрезультатно пытался убедить разговорчивого водителя, что глухарь питается хвоей и прочей растительной ерундой («Ошибаешься! Ты его клюв видал?! Во какой клювище, в палец толщиной и крючком! Это чтобы мясо рвать!»).

Обедать мы остановились в ничем не примечательной деревенской столовой где-то посередине пути. Зашли внутрь, и я сразу почувствовал необычное: пол был чистый, на окнах висели занавески, а на столах были постелены белые скатерти. Пробили в кассе борщ и шницель, я направился к раздаче, а шофер мне, мол, иди садись, здесь приносят.

В еще большем удивлении я уселся за стол, опасливо потрогав рукой чистую, без пятен, скатерть, и стал смотреть по сторонам.

Почти сразу к нам подошла очень домашнего вида женщина лет пятидесяти пяти, с мягкими чертами лица и такими же мягкими полными руками, посмотрела на нас ласково и поставила на середину стола глубокую тарелку с толстыми ломтями серого деревенского хлеба. Что-то в этом хлебе показалось мне необычным. Я почти сразу понял что: он был еще теплый (и с хрустящей корочкой!). Мы оба накинулись на этот хлеб, не в силах устоять; не солили, не мазали горчицей, как обычно принято в столовых, потому что он был настолько вкусным сам по себе, что добавлять чего-либо и в голову не приходило. Я, после первого же проглоченного куска, начал жестоко икать.

— Ну что ж вы всухомятку-то? — Та же женщина, с улыбкой посматривая на нас, ставила на стол поднос, на котором с трудом помещались две огромные миски (почти тазики), доверху наполненные темно-бордовым борщом. В нем было все, что должно быть у *настоящего борща*, — и щедрый айсберг сметаны среди переливающихся, как на поверхности бордового океана, золотистых шариков, и запах, который, казалось, был почти *виден*, и все прочее, о чем вы наверняка уже читали у классиков гастрономического жанра.

Затем мы ели шницели с пюре, и они тоже были отменными, а не наводили, как обычное столовское *второе*, на мысли о естественной смерти и неизбежном тлении... А на *третье* был неразбавленный душистый компот.

Проведя потом три месяца на озерах и болотах, собирая материал для диплома по птицам севера Вологодской области, питаюсь неделю за неделей хлебом с повидлом (чтобы не готовить) и лишь иногда балую себя вареной картошкой (через раз — с тушенкой или с местной копченой щукой, сухой, как сосновая кора), я не реже раза в день вспоминал тот обед...

У меня не было времени думать остряне, а есть хотелось постоянно. Однажды, правда, на свой день рождения я решил устроить сам себе праздничный обед, развел на берегу Вожеги костер, но сразу, откуда ни возьмись, появилась малюсенькая крючконогая старушенция в повязанном по-пиратски платке и, как ведьма, коршуном накинута на меня за то, что я хочу жарким летом спалить случайной искрой соседские бани. Я загасил костер и убрался подобру-поздорову. Вечером она пришла ко мне и сразу, с порога, начала причитать, вытирая искренние слезы накопившейся за день жалости:

— Ты *ужо* прости меня, Серожа; мы тут *смотрим* всей деревней, как ты *мотаешься со* своими птицами; *девок* наших не *трогаешь*, а я тебе и *поесть-то* *сготовить* не дала... *Покушай, солдатик, вот* я тебе принесла... — и развязывает платок с огурцами, вареными яйцами и куском копченой свинины...

Так что, вспоминая про борщ, шницель и компот, я размазывал охотничьим ножом на волглый полежавший хлеб ненавистное уже мне темно-коричневое непривлекательное повидло... Банку этого ужасного мазева, с блеклой нечитаемой этикеткой, я раз в неделю покупал в деревенском магазине, надеясь, что уж эта — точно последняя и больше я за ним сюда никогда не приду. Продавщица через некоторое время стала смотреть на меня с опаской («Никто, кроме вас, не берет»). И еще я вспоминал мед.

Это когда на первом курсе мы тащились однажды в Абхазии с неподъемными рюкзаками по горной дороге к заветному ледниковому озеру Амткел, я нес в руке прекрасную изумрудную ящерицу (не во что было посадить: все мешки уже были заняты змеями и жабами), и нас обогнал грузовик. Из

него, остановившись за поворотом, вышел молодой местный парень и, очень смущаясь и больше глядя себе под ноги, чем на нас, с сильным южным акцентом пригласил залезать к нему в кузов («Не надо людям такое тяжелое носить...»). А когда мы проезжали ближайшее селение, он притормозил на улице рядом с высоким южанином в грязных ботинках на босу ногу, пыльных серых брюках, выцветшей бежевой рубашке с надорванным карманом и в огромной тяжелой черной кепке. Они заговорили по-своему, посматривая на нас, и высокий, безоговорочно замахав руками, высадил нас всех — угостить медом в сотах, нарезанных огромными, янтарными, светящимися изнутри кусками («Москвичи? Вы что, ребята! Я всю войну в оккупации у русской семьи прожил! Неужели я могу вот так вас просто отпустить, да?!»). Я еще никак не мог тогда поначалу с этим медом справиться, не ел никогда раньше соты.

После Афганистана я купил *на чеки* машину — престижную по тем временам «шестерку», и в моей жизни началась уже не пассажирская, а водительская полоса.

А еще позже, поступив в докторантуру и оказавшись без зарплаты, на докторантской стипендии, смехотворно развевающейся в вихрях уже пошедшей обвальнoй инфляции, я вынужден был *бомбить*, подрабатывая *извозом*.

Я выходил с кафедры и превращался из доцента и докторанта в московского *водилу*, притормаживающего около очередного *голосующего*. Я становился *леваком*.

Кого и куда я только не возил! Бесчисленных, торопящихся по делам, красивых и интересных москвичей.

Раненного ножом бандита — в «Скорую». Проголосовал мне стандартно одетый в кожу парень с малоинтеллектуальным лицом, нагнулся к приоткрытому окну:

— Братан, выручай, не ровен час, помру.

Отрывает руку от живота и показывает мне полную ладонь крови. А садясь, еще мою карту Московской области под себя на сиденье подсовывает, чтобы не закровянить. Подвожу его к подъезду «Скорой», хотел проводить, а он мне:

— Нет, не надо тебе в это *ввязываться*; и ты не беспокойся, я никому — ничего, это меня уделали. Только вот с ножом не могу туда идти; я тебе оставляю, брось вон там в кусты, если выпишусь, заберу. — И выкладывает мне на коврик матерый стилет с кастетной рукояткой.

Торопящихся влюбленных с цветами. Опаздывающие на свидания дамочки средних лет пару раз оказывались настолько возбужденно-болтливими, что торопливо выкладывали мне по дороге интим, который в иной обстановке и на товарищеском суде не выпытаешь.

Заблудившихся иностранцев, сующих бумажки с написанным по-русски адресом и готовых меня расцеловать за объяснения по-английски.

Веселых недорогих проституток, со смехуечками развезающих либо до, либо после работы.

Шупленького американца, не верящего в то, что я действительно бывал в его родном Гейнсвилле в центральной Флориде (потрясающее дело — у них там огромное озеро-болото целиком ушло под землю в карстовую воронку; гул стоял по округе несколько часов; все черепахи обсохли).

Частного шофера, которому нужно было немедленно купить колесо для «кадиллака» своему капризному двадцатилетнему боссу. Он проголосовал мне у «Октябрьской» на Ленинском проспекте, держа в руках здоровый полиэтиленовый пакет (как оказалось потом — с деньгами), в тот день, когда перед Васькиным днем рождения у нас с Лизой не было ни копейки, и я специально выехал ранним утром с четкой задачей — набомбить ребенку на подарок и на угощение его гостям. Проездили с этим шоферюгой от бизнеса полдня по рынкам и толкучкам, и я заработал немислимую по тем временам сумму, превышающую мой годовой докторантский доход; Бог послал...

Кооперативщиков и «челноков» — некоторые из них пытались вести себя как *новые русские*, расплачиваясь «не глядя» заранее разложенными по разным карманам определенными и хорошо им известными суммами.

Но в ненастную, холодную или грязную мокрую погоду, возвращаясь из Москвы домой в Балашиху, я не брал платных пассажиров. Проезжая по шоссе Энтузиастов автобусную остановку у «Кинотеатра «Слава» или у «Шестидесятой больницы», я заранее примечал среди молчаливо ожидающих фигур особо невзрачных, «простых» женщин с детьми, которые даже не обращали внимания на поток машин, озабоченно высматривая никак не приходящий поздний, переполненный автобус. Притормаживал за остановкой, шел назад и незаметно спрашивал:

— Вам куда?

— Нет-нет, спасибо, я... мы не можем платить.

— Куда вам?

— Нам далеко, в Новую Деревню.

— Садитесь, подвезу.

— А как же...

— Садитесь! Или вы детей специально здесь мытарите?..

Это не к вопросу о том, что я хороший или старался кому-то (или самому себе) казаться таковым. Это к вопросу о перемещении пассажира, собственная скорость которого равна нулю, «из точки А в точку В»...

Каким же отрадным приключением оказывалась для детей поездка на *шикарной машине «Жигули»*, какое настороженное расслабление выражали зажатые лица взрослых. А одна бабушка совсем уж усталого деревенского вида, явно не понимая происходящего и маясь неудобством ситуации, переспросила все же по дороге для верности: «Сынок, но ведь ты понял, что денег-то у меня нет?..»

Я не думаю, что меня на том свете ждут награды, и я не пытаюсь их заслужить, но если мне все же когда-нибудь воздастся хорошим за что-либо, то именно за то, что я всегда брал *бесплатных попутчиков*. Не для будущей награды брал, а вспоминая себя, *голосующего* в разные годы на разных дорогах, машины, подвозившие меня или проносящиеся мимо, и думая о том, что *попутка* — важное дело в нашей жизни.

36

Не печалься... твое появление здесь предначертано судьбой...

(Хорасанская сказка)

В тот, не самый веселый для себя день я сидел на пыльной обочине у выезда из Кара-Калы, без особого рвения впуская голосовал редким машинам и представлял, как Зарудный, год в год, сто лет назад, в 1886 году, тоже был здесь один (пройдя в одиночку вдоль всего Сумбара). И еще я думал о том, что это великое дело — иметь возможность побыть в интересной природе одному... Я вяло убеждал себя в том, что все происходящее со мной и с моими расстроенными планами — к лучшему.

Не имея выбора, я собрался в единственное доступное мне без собственного транспорта, населенное и полностью освоенное место, где мы со Стасом видели пару орлов во второй раз четыре года назад.

Подвез меня тогда разговорчивый туркмен на «Волге» с коврами на сиденьях, шелковыми кистями на окнах и с треснутым ветровым стеклом, из которой я, доехав до места, выгрузил все тот же акушерский саквояж и рюкзак со спальником, свитером и парой банок консервов.

Место, которое я выбрал на этот раз, было не просто красиво — оно было исключительно, компенсируя примечательностью ландшафта прозаическую освоенность человеком.

Узкая долина Сумбара, зажатая высокими скалами, соединяется в этом месте с ущельем, подходящим с севера. Живописные открытые склоны чередуются с пластами скал, создавая подобие неких сказочных многоэтажных дворцов. Сложность расчлененного рельефа определяет многообразие условий обитания для животных и растений, поэтому обозримое пространство буквально наполнено жизнью, которая хлещет из всех пор. Этому обилию и разнообразию не мешало даже то, что, по сравнению с местами, где я хотел бы сейчас находиться, это место было почти городом.

Подо мной в долине был маленький поселок: виноградник, огороды и несколько домиков. В загородке под нависающей скалой умиротворенно помахивал хвостом прекрасный гнедой конь. Около домов ходили куры и индюки. Из танды-



ра (круглой глиняной печки во дворе) вился еле заметный прозрачный дымок растопки — туркменка, громко переключаясь с кем-то в доме, готовилась печь чурек. Седобородый аксакал, в черном тельпече, пижамных штанах, заправленных в носки, и в неизменных туркменских остроносых галошах, неторопливо прочищал лопатой арык около виноградника. И что не лезло совсем уж ни в какие ворота — на пасеке около русла Сумбара громко играл магнитофон...

Картина эта, при всей своей красоте, повергла меня сначала в транс, а потом — в кокетливое мазохистское умиление: «Что я здесь делаю? Не проще было бы высматривать ястребиного орла прямо из своего московского окна? Или, чего уж там, глядя в телевизор...» Еще я вспоминал свою первую встречу с фасциатусом, и мне казалось то ли мистическим знамением, то ли вселенской иронией то, что в самый первый раз я видел пару этих птиц почти вплотную, очень низко и разглядев во всех деталях; так близко редко видишь даже очень обычных хищников. Что это было? Вызов? Подсказка? Подарок? Перст судьбы?

Размышляя об этом, я залез по крутому склону на выбранную точку, устроился и начал наблюдать.

Все было как-то некругло, писать рутину о происходящем вокруг не хотелось, я просто сидел и смотрел. На неугомонных сорок в ежевике около Сумбара. На людей около домов. На изредка проезжающие машины. На песчанку, перебежавшую дорогу, и на здоровенную гюрзу, непростительно медленно переползающую проезжую часть точно по следу песчанки и явно приносиваясь — вышла на охоту.

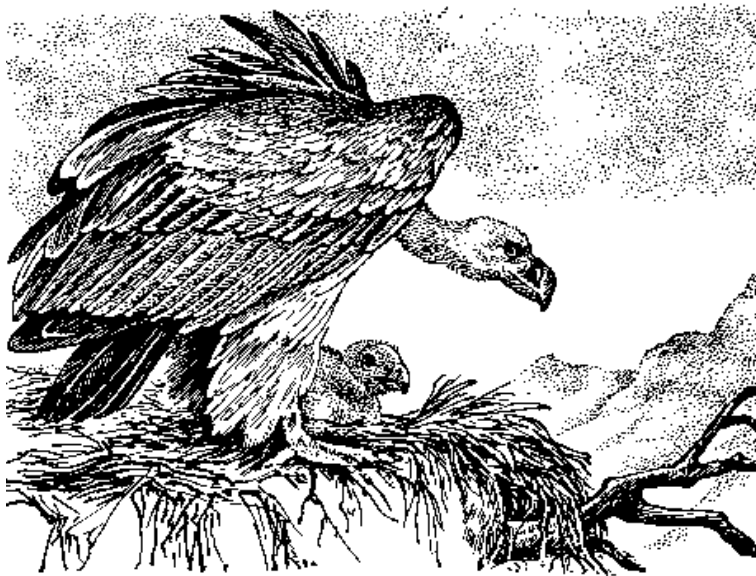
МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

...рассеяв тьму и мрак, солнце озарило мир своим сиянием...

(Хорасанская сказка)

«27 мая. В субтропическом климате солнце является не только началом всей жизни, но часто несет и смерть. Где-нибудь в тундре, за Полярным кругом, все живое цепляется за каждый доступный солнечный лучик, здесь же все наоборот. Взять, например, гнездование птиц.

Открытые гнезда устроены так, что хотя бы часть постройки всегда находится в тени, давая укрытие от безжалостного



солнца еще беспомощным птенцам: даже в жаркое время года, в полдень, когда солнце выше всего, в гнезде всегда есть хоть маленький уголок, где птенцы могут укрыться в спасительную тень. Как естественный отбор учит птиц угадывать эту затененность? Ведь положение солнца меняется не только по часам, но и по сезонам. А ведь, кроме этого, для выбора места важны десятки других факторов: защищенность от весеннего дождя (а иногда и снега!), недоступность для хищников, размер уступа или расщелины, уголья вокруг и прочее. Неудивительно, что даже на необозримых горных просторах удобные для гнездования места всегда в дефиците. Они используются птицами поколение за поколением, а нередко за них соперничают и разные конкурирующие виды.

Несколько лет назад я нашел у Куруждея, выше по Сумбару, на недоступном скальном обрыве первое для Западного Копетдага гнездо охраняемого и воистину уникального вида — бородача. Это редкий и очень особый родственник грифов, сильно отличающийся от них по облику и поведению. Нашел совершенно мистическим образом, не поддающимся рациональному объяснению. Вы не поверите, но я его почувствовал. Не увидел, не проследил вслед за птицами, а именно *почувствовал* с расстояния в семь километров.

Ехал на машине со своей молодой женой (она тогда была Кларой и приехала навестить меня, полгода работавшего в экспедиции сразу после свадьбы), поднимаясь по серпантину на плато, и вдруг ни с того ни с сего ощутил, что должен остановиться, — прямо засвербило внутри: «На той скале вдалеке что-то есть». Ничего, конечно, не увидел, но через два дня, возвращаясь назад, уже не мог проехать мимо, попросил шофера сделать крюк и нашел в той самой точке на скале (с точностью до метров) гнездо бородача. Как это понимать?

Так вот, на следующий год это гнездо было занято другим редчайшим видом, ранее также не отмечавшимся на гнездовании в Западном Копетдаге, — черным аистом, а еще через год — очень обычным здесь повсеместно белоголовым сипом.

Что определило эту очередность? История одного такого гнезда, будь у нас возможность ее проследить, — это захватывающий роман, растянувшийся на столетия и тысячелетия, а сколько таких гнезд в Копетдаге? И сколько в Евразии подобных и прочих горных хребтов? А ведь есть еще Африка, Австралия, Америка...»

ГОЛОВАСТИК

Сагиб, не бойся: ты умираешь вместе с мусульманами, и я буду просить бога и его пророков, чтобы ты попал в рай; я сеид, и просьба моя будет исполнена...

(Н. А. Зарудный, 1901)

Мир словно караван-сарай, куда приходят и откуда уходят...

(Хорасанская сказка)

У одноклеточных организмов (напр., простейших) наряду со смертью, сопровождающейся образованием трупа, индивидуальная жизнь прекращается в результате деления особи и образования вместо нее двух новых.

(Биологический энциклопедический словарь)

«23 мая. Говорят, что перед сотворением рая Бог создал остров Маврикий. Если так, то перед сотворением Маврикия Он создал ущелье Палван-Зау.

Это почти каньон — узкая щель с крутыми склонами, где на более пологих местах полно кустов и деревьев. По узкому дну ущелья тоже много деревьев, а между ними вьется ручей (в нынешнем засушливом году совсем маленький, но не пересыхающий и с рыбой!). Когда пролетающий над деревьями тювик пронзительно кричит поблизости от своего гнезда, то этот звук многократно усиливается отражением от близких скал, и даже безо всякого эха создается удивительный подчёркнуто-стереофонический эффект. Так же и с громкими криками клушиц, шурующихся в щелях скальных обрывов где-то наверху.

Скалистые ласточки жмутся к стенкам ущелья; поползень раскатисто булькает не поймешь с какой стороны; соловей распевает в кроне дерева у ручья; две сороки истерично разбазарились при моем приближении: на ветках рядом с ними куцехвостый, еще явно не летающий, но уже выбравшийся из гнезда птенец; к вечеру начнет перепархивать. А чего это вдруг самец серой славки меня совсем не боится, скачет по ветвям прямо над головой в кроне дерева, под которым я топчусь?

Начинается ущелье за системой, на иранской территории, и тянется на многие километры. Благодаря деревьям и близко сходящимся высоким обрывистым бортам, идешь вдоль ручья все время в тени даже в полдень. Где-нибудь на Кавказе такое — обычное дело, а здесь — редкость. Местами по течению ручья в скальном ложе расположены естественные ванны метра по три с идеально прозрачной водой, и в них рыба плавает (сантиметров по пятнадцать — двадцать!). А между камней — пресноводные крабы, желтоватые с зелеными разводами; полный атас.

Сию в одной из таких ванн, как в джакузи, по шею в быстройтекущей, прохладной воде, пузырящейся на моем бледном городском теле. На мне — ничего наносного: ни шляпы; ни очков; ни часов; ни трусов; ни прочей одежды, защищающей от солнца и ветра мое изнеженное цивилизацией тело; ни бинокля, без которого я в поле — ноль; ни фотоаппарата, без которого я вообще никуда; ни машины, которая меня подвозит; ни самолета, в котором я летаю; ни метро, в которое я спускаюсь; ни дома, в котором я живу; ни налипшей паутины условностей, которым я безропотно следую; ни суррогатных отношений со многими из тех, кто вокруг...

Сейчас со мной только главное: Любовь к Тем, Кого Люблю, Уважение к Непонятному, Сопричастность к Целому и Стремление Куда-то. И только сильные ласковые струи окутывают со всех сторон мое вновь, как когда-то, беззащитное, лишенное всего вторичного и напридуманного тело; поддерживают его, как в невесомости, как в эмбриональном пузыре, защищающем от всего неглавного...

Снаружи жара, а мне не жарко; мне чуть прохладно, но не холодно; мне хочется есть, но не голодно; мне легко парить в воде, но не уносит; мне отрадно порассуждать о вечном, но мне через два месяца двадцать восемь лет. И, сидя так, я, голоставик приблатненный, думаю: «Вот место, куда можно приехать встретить старость!» А потом и того больше: «Вот где можно достойно помереть... Кстати, где и как я хотел бы быть похоронен? Можно даже сказать, погребен?»

Вон самец горной овсянки подлетел к ручью от осыпи с крупными камнями, подсел к воде, пьет. Давай, давай, заходи, воробьиное пернатое.

Омывает иранская водичка в туркменском ручейке мой вновь первозданно-голый подмосковный зад. Жалкие члены человеческой личинки, смехотворно-патетически размышляющей в своем личиночном комфорте о предстоящем метаморфозе...

Ну, предположим, помереть бы я вообще не хотел, чего мне помирать... Я бы жил вечно. С другой стороны, говорят, это еще хуже, чем помереть в расцвете сил. А зачем в расцвете сил? Так ведь не от старости же? А почему бы и не от старости? Напридумывали страшных образов: «от старости»; глупость какая. Уж если помирать, то как раз от старости. Правильная старость так же важна, как счастливое детство. Потому что без нее не оценить зрелости. А на фига без зрелости юность?

«Эни-Бэни, Три-Бабэни...»

Ладно, а как же тогда с тезисом «хорошо быть молодым»? Чего ради все стонут в восторге от молодости? Одно не сбросишь со счетов про молодость, одно во всем этом несомненно — всеильное обаяние. Обаяние — это туз, аргумент, щит на все случаи; магнит, притягивающий к себе все нормальное живое. Пусть даже это на девяносто девять процентов чисто биологическое влечение, подсознательно-животное, какая разница.

Но зато нет в юности многого другого важного, приобретаемого позже. Нет умения выслушать. Есть лишь желание высказаться. Поэтому молодости интереснее всего она сама. Отсюда и миф о самодостаточности. (Приятно-то оно приятно; кто же побалдеть откажется; ну а дальше-то что?) Отсюда же потом и ностальгия о юности, о прошлом. Человек считает, что в молодости он был лучше, мог больше («мог все!»), и скучает о себе прошлом. А заодно — и о прошлом вообще.

«Шухер-Мухер Помазэни...»

Хорошо, а если смотреть не назад, а вперед и видеть прежде всего прогресс души в будущем? И жить стремлением к этому будущему? Как там это, э-э-э, «...работайте для него, стремитесь к нему, переносите в него из настоящего все, что только можете перенести...» (Так у Николая Гавриловича? Может, и не так, но близко к тексту. Что и неудивительно, ибо индивидуум, то есть я, есть продукт эпохи. И средней школы номер три города Балашихи. Которой горжусь.)

Прогресс души в будущем. А где гарантия, что это прогресс, а не деградация? И при чем здесь гарантии? Чувствуется, что прогресс, и хорошо. Так что тезис про «хорошо быть молодым» — фигня, щенячья эйфория.

Не-е, в любом случае самодостаточность частей — это утопия, основанная на самоуверенном заблуждении ограниченного опыта. Гармония лишь в законченности завершения Целого (рождение — детство — юность — зрелость — старость — смерть). А может, еще плюс и то, что за скобками?.. А что за скобками?

Ух, как крапивники распелись в кустах. Немыслимая плотность здесь, через каждые десять метров поет самец! Вот ведь феноменальный вид. Единственный, который из всех крапивников выбрался из Америки, а что вытворяет: по всему миру — как дома. И песня при этом веселая. Молодец...

А вдруг это правда, что при гармоничной жизни приходит и нестрашное приятие конца? А может, правда и то, что это далеко еще и не конец, за скобками-то? Не-е, про «помереть» хрен поймешь, а потом с этим явно не мне решать; с этим — как получится.

«Ас-Бас-Три-Бабас...»

Хорошо, а в завещании что писать? Должно же у меня быть завещание? С материальным наследством все просто,

проблем нет и пока не предвидится... Оставленное же мною, э-э-э... благодарным потомкам, э-э-э... нетленное духовное наследие в специальных завещательных инструкциях не нужно, оно и так, дрын зеленый, «будет жить вечно, расточая светоч...», — э-э-э... светоч... В общем, с этим ясно.

А бранные останки? Их куда? В родную землю на Балашихинское кладбище? Та еще радость — тлеть в постиндустриальном Подмосковье. Не нравится мне беззащитность покойников на социалистическом кладбище. Раскопают потом экскаватором, перекадывая в третий раз очередной трубопровод... Хотя, может, и ничего; может, алкаши забредут, хоронясь от назойливо-осуждающих взглядов прохожих; разложат скумбрию на газетке у холмика...

Во, кукушка где-то наверху — прямо к теме. Считать не будем, кукует и пусть себе кукует.

Нет, мне, наверное, лучше сгинуть в горах, чтобы потом кто-нибудь нашел выбеленные солнцем косточки, прикрытые остатками полуистлевших джинсов... С уже треснутыми очками подле черепа в прохудившейся шляпе и с биноклем, провалившимся внутрь опустевшей грудной клетки (словно я этот бинокль при жизни проглотил)... И чтобы написал исследователь или случайный путник через тысячу лет, как Зарудный: «Особое внимание обращает на себя множество чрезвычайно старых человеческих костей, настолько... выветрившихся, что даже зубы между пальцами растираются в порошок...» Во клёво-то.

Так ведь фиг долежишь до такой идиллии. Шакалы растащат по кускам; никому и не найдешься потом романтически обветренным целым скелетом в кирзовых сапогах...

«И выходит Кислый Квас!»

Не-е, все не то. Модель неправильная. Вот прохлаждаюсь я сейчас в этой прохладительной водичке, окунаюсь с головой, потом высываю ее наружу, отдуваюсь и сразу думаю о чем хочу в каком хочу масштабе: хочу — про большое, хочу — про маленькое; хочу — про бузину, хочу — про дядьку; хочу — про огород, хочу — про Киев; хочу — про королей, хочу — про капусту; красота! Неужели после такого валяться потом где-нибудь конкретными разрозненными, а главное, неподвижными кусками? На фиг надо.

Эх, жаль, мне при моей пустынной жизни в Тихом океане на склоне лет не потонуть; во было бы клёво — сгинуть с

концами в бескрайней морской пучине. Тоже, конечно, самообман: не шакалы, так рыбы растащат по кускам, рыбки-рыбочки. Им, разноцветным легкомысленным молодухам, моя брэнная плоть на пользу, да и мне самому так явно веселее.

Растащат — это правильно (не пропадать же добру), а что не растащат, растворится в соленой гидросфере, разойдется по круговоротам веществ в природе и будет себе мотаться потом туда-сюда из соленого в пресное, из пресного в соленое; от Камчатки к Аляске, от Патагонии к Австралии; во клёвото. А потом перемещается с Атлантикой, а потом и с Индийским океаном; а там, глядишь, и до Северного Ледовитого доберусь... Точно, так и надо сделать.

Но уж поскольку в мешок меня зашивать и гантелю к ногам привязывать — возня скорбящим домочадцам, да и врагу не пожелаешь доставить мертвяка на Камчатку самолетом «Аэрофлота» (на поезде протухнешь неделю трюхать, да и терпения не хватит), то официально завещаю (я не шучу) вместо этого спалить меня (в Тарусе? на пионерском костре?), а пепел развеять потом над водами Тихого океана. И без заунывной похоронной торжественности, а весело, с пониманием открывающихся перспектив... Где-нибудь в самой середине океана... С безлюдного утеса на незахоженном острове в удаленном архипелаге... Фу, тошнятина, пижонство дешевое. Надо не так, надо проще — с рыболовного катера (где в кубрике на стенах понаписано разное), в середине студенческой экскурсии на практике по морской биологии...

Выбираясь из Пальван-Зау домой, я проголосовал грузовику, в кузове которого стояли два туркмена, придерживающие привязанную к переднему борту за рога корову. Я забрался к ним четвертым, сразу предложив помощь.

По дороге домашнее животное совсем разнервничалось, с ним сделалось расстройство... А поскольку вредная привычка махать хвостом проявляется у коров даже в отсутствие мух (например, в кузове идущего грузовика), скоро все мы были щедро камуфлированы жизнеутверждающими ярко-зелеными кляксами (я — больше всех, так как стоял сзади). Я воспринял это как знак свыше, возвращающий меня на брэнную землю и подтверждающий, что морального права разглагольствовать про пенсию, завещание и кремацию я пока еще не имею.

Хозяин коровы перед Кара-Калой затащил нас к себе помыться («Э-э, нэт... Ну куда вы такие абасратые?») и попить чаю. Страхнув со штанов и рубашек подсохший камуфляж, мы умылись и уселись пить чай на невысоком деревянном настиле под зеленой ажурной крышей вьющейся над ним виноградной лозы.

Прямо над домом нависает огромный утес, около которого вьется множество скалистых ласточек. А на проводе над нашими головами сидит и щебечет деревянная ласточка. А высоко в небе над кромкой скал режут воздух серпами острых крыльев черные и белобрюхие стрижи. Вот она, классическая изоляция воздухореев. Был бы видюшник, наснимать бы такого хоть часов на двадцать, просчитать статистику — отличный материал; по Африке он есть, а здесь такого никто никогда не делал.

Хозяйка выносит нам, гостям, по платку — утираться на жару: шоферу и напарнику хозяина обычные, уже застиранные косыночки, а мне — новый мужской носовой платок еще с этикеткой. Я использовать его постеснялся, чего ради, обойдусь. Чай допили, поблагодарили, встаем. Складываю аккуратно платок, кладу его на кошму, а хозяин, его сын и шофер вдруг как на пожаре:

— Бэри! Бэри! Нельза не взять!

Уже в машине выяснилось, что таков обычай: праздник в доме — любому гостю платок в подарок. А у этого Мерета сегодня сын приходит из армии (корову везли по этому поводу) и уже объявлена свадьба второго сына. Я тогда еще сразу вспомнил тот платок, что мне в свое время Накамура из Токио подарил...»

37

...возьми палку и покопай ею землю, и, если Аллаху будет угодно, ты вскоре достигнешь желаемого...

(Хорасанская сказка)

Пока я сидел и просто смотрел по сторонам, ничего особенного вокруг не происходило, а в голове моей выстроилась очередная бесконечная цепочка, связывающая воедино все

то, что я видел в эту минуту перед собой, и то, что не увижу никогда: птиц и людей; горы и равнины; жару и холод; день и ночь; прошлое и будущее... Начав с чисто научного вопроса, я пришел к тому, что покачивался в мыслях на почти лирических волнах...

Думая об этом, я услышал за спиной звук. Настолько близко, что повернуть голову было уже нельзя — я бы обязательно вспугнул того, кто там находился. Это был, несомненно, кто-то маленького размера.

Все звуки, производимые животными, разные. Звук от движения змеи непрерывный, он как бы течет. Ящерица шуршит совсем иначе: шорох от нее цепкий и царапающий. Удирающие песчанки смешно топчут в своем мышином галопе.

Звук за спиной был другим. Он был ритмичным — равномерные лилипутские шаги с каким-то странным призвуком. Было абсолютно тихо — ни ветра, ни ручья поблизости, лишь пение птиц внизу в долине. Тишина задержалась почти на минуту — необычно долгая пауза для любого мелкого животного. Я медленно повернул голову. Ничего. Тот, кто шевелился, был явно почти вплотную со мной и не мог никуда подеваться: никакого убегающего движения или шороха не было. Я сидел, неудобно вывернув шею и понимая умом, что звуки из ничего не возникают, смотрел и смотрел, замерев, на пустую поверхность скалы. И я пересидел того, кто затаился у меня за спиной.

Это был продолговатый, жесткий, свернувшийся спиралью сухой лист какого-то кустарника. От невидимого движения воздуха он опять шевельнулся и медленно покатился по слегка наклонной каменистой поверхности, вращаясь как нож у мясорубки и производя этот отчетливо живой звук.

Я сидел, окаменев, и думал о том, насколько условны наши представления об окружающем. Ведь возьми мы за определение жизни иной критерий — например, способность производить звуки, и вся классификация природы, равно как и наше ее понимание, выглядели бы совершенно иначе. И в чем-то гораздо гармоничнее, чем сейчас. Живыми бы оказались река и ветер; скалы, отражающие эхо; волны, дождь и град; камни в горных обвалах; шторма и грозы; лавины и шуршащий по барханам песок; капель и трескающийся на реке

лед; вулканы и гейзеры; густо хлюпающая раскаленная лава; водопады и опавшая листва...

Идея, прямо скажем, не нова, но я соприкоснулся с ней уж как-то очень вплотную, и таким освежающим оказалось вдруг ее звучание... Глупо, конечно, но, думая об этом, я ощутил, что внутри у меня все встает на свои места. Я окончательно пришел в себя и, глядя вокруг со своей скалы, убедился, что краски сияют не просто с былой силой — я испытал самое настоящее вдохновение. От всего окружающего меня великолепия. От мгновенно нахлынувшего ощущения всех предшествующих и уже угадывающихся впереди последующих лет, связывающих меня с этим прекрасным местом. От единения со всеми теми, кто со времен Зарудного, Радде и Вальтера путешествовал здесь, исследуя и описывая эту уникальную природу. От почти физического контакта со всем тем феерическим разнообразием, которое росло, ползало, жужжало, летало, чирикало, возвышалось и шуршало вокруг меня. Это был момент, когда я отчетливо ощутил себя *Частью Целого*...

Прошу прощения за столь пространственные сентиментальные сентенции, но все сказанное важно. Потому что эта благодать, снизошедшая откуда-то без видимых причин, подняла меня на такую высоту эмоционального подъема, что сделала как бы само собой разумеющимся тот факт, что в следующее мгновение, через сто десять минут после начала наблюдений, я вдруг услышал озабоченное карканье вороны из кроны дерева и не удивился его причине: в двухстах метрах от меня и на высоте десяти метров над крышами домов запросто и без шика летел ястребиный орел...

38

Подумал шах и дал визириям на разгадку тайны месячный срок и к тому же предупредил, что, в случае неудачи, им не избежать смертной казни. Сказал так шах, сел на лошадь и ускакал.

(Хорасанская сказка)

Последняя часть этой истории укладывается по времени меньше чем в сутки: через два дня мне надо было улететь в

Москву вести в Тарусе и в Павловской Слободе практику у студентов, так что продлить это приключение я категорически не мог.

Вид этой птицы мгновенно вернул меня к реальности. Безо всяких возвышенных эмоций я начал непрерывные наблюдения и уже не мог оторваться от них, чтобы спуститься вниз к одному из домов и заранее договориться о ночлеге.

Я наблюдал и описывал детали семейной жизни этих птиц, их охотничьи маршруты, стычки с другими появляющимися в поле зрения хищниками, понимая, что это как раз тот материал, которого я так ждал. Они все время держались поблизости, периодически пугая меня отлетами из поля зрения: им ничего не стоило улететь на несколько километров (я даже предпринял безрезультатную попытку проследить их, пройдя вдоль одного из ущелий) и так же вернуться потом обратно. Никаких признаков гнезда не было.

Я ломал над этим голову, гадая, есть ли на этом участке гнездо и если есть, то где оно может быть. Ведь у одной пары орлов бывает, как правило, несколько гнезд (в среднем три-четыре, но может быть и шесть), используемых с известной периодичностью. Такие гнезда всегда неподалеку друг от друга, а здесь, во всей обозримой округе, ни одной гнездовой постройки не видно, как ни обшаривал окрестные скалы в бинокль.

Ближе к вечеру на дорогу, ведущую к боковому ущелью, свернул фургон, показавшийся мне подозрительным тем, что он проехал в горы мимо домов без остановки, что сразу навело на мысль: уж не за архарами ли отправились джигиты? Эта деталь потонула в наслоении наговариваемых на диктофон данных о вечернем поведении пары орлов, постоянно державшихся поблизости.

Час шел за часом, и вот наступил момент, когда стемнело настолько, что, отведя глаза от бинокля, уже невозможно было бы вновь найти потом рассматриваемую в него птицу.

Сказав себе: «Сейчас или никогда», — я сидел и неотрывно смотрел на самку, следя за всеми ее перемещениями и буквально усилием воли расширяя себе зрачки. Вот она села на скалы. Вот перелетела и села на другое место. Я еле различаю ее контур. Она снимается со скалы и перелетает на новую присаду. Все ее поведение меняется: полет становится не то



что суетливым, но каким-то озабоченным. Еще короткий перелет и присаживание на той же стенке, потом еще раз. И вот она перелетает на новое место, и я вижу, что это гнездо. Более того, я безошибочно угадываю в этом гнезде поспешные движения встающей ей навстречу еще одной птицы, явно меньшего размера, — птенец!

Непривычный чужой бинокль дрожит в руках, еще минута — и ничего не будет видно в полной темноте. И я дожидаюсь этой минуты, убедившись в том, что самка остается на гнезде с птенцом. И наконец понимаю, что к этому заветному секрету я все-таки оказался допущен...

Не бог весть что по сравнению с мировой революцией, но наблюдавшееся Зарудным в конце мая 1892 года в ущелье хребта Асылма в Центральном Копетдаге нашло подтверждение именно сейчас — вечером 27 мая 1986 года здесь, у Коч-Темира на Сумбаре.

39

Вечером птица Симуург повела с девушкой такой разговор:

— О дитя мое, я думаю, тебе не следует отправляться завтра к реке...

(Хорасанская сказка)

Я собираю вещи и уже с каким-то новым ощущением в душе спускаюсь вниз к домам. Это ощущение — отнюдь не радость или удовлетворение, не сознание выполненного долга и не парадоксальное опустошение, возникающее порой по достижении того, к чему давно стремился. Это некий трудноформулируемый общий вопрос к самому себе обо всем сразу.

Потом, извиняясь, бужу рано уснувшего хозяина — пожилого безобидного сторожа-инвалида, который впускает меня

в бедный полутемный дом (сейчас мне откровенно непонятно, почему я просто не лег спать прямо там, где сидел на скале; наверное, не было ровного места). Сколько же раз, работая год за годом в Туркмении, я пользовался гостеприимством этого миролюбивого и веселого народа.

Мы пьем из треснутых пиалушек зеленый чай, хозяин безговорочно приглашает меня ночевать, но чем-то обеспокоен. Чуть позже выясняется чем: проехавший в ущелье фургон — это действительно браконьеры. Причем, по его словам, *плохие* браконьеры. Он откровенно опасается, что, когда они будут возвращаться ночью, у меня могут быть неприятности как у свидетеля. Я знаю, что такие случаи бывали; Афганистан меня тоже кое-чему научил, но мне, дураку, все-таки это кажется несерьезным, я тогда еще думаю, что моя молодая жизнь навсегда впереди, всегда и везде вне опасности... Спать я, однако, на всякий случай ложусь, как Незнайка, — не раздеваясь и не разуваясь, прямо в турботинках, и не внутрь спальной, а просто накрывшись им.

Я сплю одним глазом, и мне полуснится-полудумается про найденных орлов и про очередную предстоящую практику, которая ждет меня впереди через пару дней.

ЧИЖИК В ПАВЛОВКЕ

О дети мои, я посылал одного дива по делу в некое место, и когда он вернулся, то рассказал, что...

(Хорасанская сказка)

«10 июля. ...Впервые приехав на третьем курсе в Павловскую Слободу на трехдневную практику по ФР, мы вылезли из электрички, и я сразу же узнал и саму станцию, состоящую из единственного крашеного дощатого домика-кассы на низкой платформе с прорастающей в растрескавшемся асфальте травой; и поле, простирающееся вдоль забора из колючей проволоки; и тяжелый железный мост за этой колючкой. Это было то самое место, где четыре года назад мы начали с Гопой свой байдарочный маршрут и где произошел тот неприятный случай с лягушками.

Ну, а уж пройдя со всей нашей четвертой подгруппой вдоль поля от станции, ступив впервые на примечательный дощатый подвесной мостик и поддерживая истошно визжащих от искреннего ужаса девчонок (незаметно нарочно раскачивая с Жиртрестом и Хатом мост), я сразу впечатал в своей памяти и плавно текущую под этим качающимся мостом Истру с просвечивающим на мелких местах песчаным дном, и крапиву с дудником под огромными развесистыми ивами вдоль берегов, и мальчишек, галдящих на тарзанке, привязанной к наклонившемуся над рекой стволу, и «красоток-девушек» (название какое!) — прозрачнокрылых синих стрекоз над водой, и песню иволги в тенистых ольховых зарослях, куда не пробивался нестрашный подмосковный зной, и знаменитый на всю округу головкружительный подъем, по которому тропинка от мостика круто взбирается вверх.

Мы тогда впервые расположились в капитальных, по сравнению с несерьезными домиками тарусской геофаковской базы, корпусах, построенных по типу стандартного пионерского лагеря. Все это странное место называлось так же странно — «АБЭЭС».

Студентов, кроме нас, биологов геофака, на всей АБС больше не было, так что предчувствие трехдневного отрыва сложилось само собой; непонятно было лишь какого, в какую сторону. Это первым выразил наш двухметровый (игравший за юношескую сборную страны) баскетболист Дима, когда мы, сбросив вещи, уселись на крыльчке:

— Мужики, а чего мы здесь делать-то будем? Вы ведь себе даже водки не купили. Здесь хоть магазин-то есть?

Я сидел и просто так строгал ножом подобранную тут же деревяшку от валявшегося рядом разломанного стула, из которой у меня через несколько минут сам собой получился отличный (тяжеленький, чуть больше, чем обычно, серьезный, мужской, крепкий, «профессиональный») чижик.

Странное дело, второй раз у меня непроизвольно чижик вырезался. Не случайное это совпадение, видать, символ это для меня какой-то.

Первый раз это было в семьдесят втором. То самое первое, еще небывало, апокалиптически жаркое лето, когда не было еще разговоров про изменение климата, когда зимы в Москве традиционно были с сугробами и в меру морозные,

а лета были теплые, но без убийственной жары, когда впервые начались пожары на торфяниках и леса были закрыты для отдыхающих. Это было тем летом. Я сдал вступительные экзамены на географо-биологический факультет МГПИ, Маркыч сдал последние выпускные госы в МИФИ, и мы без долгих сборов решили мотануть на Волгу в Едимново.

Маркыч поехал с плоским, как сдувшийся резиновый шарик, пионерским рюкзачком, в котором лежала запасная футболка, бутерброд и книжка на английском, а у меня получился раздувшийся до предела распущенной шнуровки яровский рюкзак с живоловками для мышевидных грызунов, паутинными сетями для птиц, фотоаппаратами, пленками, определителями, банками для мелкой живности, гербарной папкой для растений и т. д. Всю дорогу Маркыч доводил меня, периодически как бы спохватываясь и спрашивая с беспокойством, почему же я не взял старинный бронзовый дедов микроскоп («Ты его забыл?!»). Не важно. Короче, поехали мы в Едимново.

Едимново — это святое место, и там со всеми случаются чудесные дела. Отправился в 1237 году князь Ярослав Ярославович туда на охоту, поохотился, а «после лова зверей на Волге» ночью ему приснилась неведомая прекрасная девушка, которая, вопреки всему другому в его жизни (он был уже женат), суждена ему невестой. Проснулся он поутру, оделся в простое платье и, продолжая переживать свой волнительный сон, пошел просто так, любопытствуя, по деревне, заглянув в дом по соседству, где свадьба готовилась. А невестой там прекрасная Ксения — дочь едимновского пономаря, — князь сразу и узнал в ней привидевшуюся ему девушку. И вышло, что и ей точно так же, в ночь перед свадьбой, приснился князь и видение было, что именно он, а не жених Григорий, и есть ее суженый.

Увел князь Ксению из-под венца, обвенчался с ней сам в тот же день, и началась с этого совсем другая чудесная история. И даже не одна. Потому как не только у Ярослава с Ксенией состоялся в жизни поворот (едимновцы почитали Ксению как «молитвенницу за родину»), но и Григорий, отвергнутый, убитый горем жених ее, принял постриг под именем Гурия и основал Тверской отроче-монастырь...

Вот я и говорю, что в Едимново («Едимоново» — на карте) со всеми случаются чудесные дела. Со мной там случилось детство. Так что, если я начну рассказывать про Едимново, меня понесет, и про Павловку я уже не смогу рассказать. Поэтому — только про чижик.

Маркыч тогда греб на весельной лодке, я сидел на корме и просто так строгал ветку ивы с зеленой, гладкой, пахнущей приводной свежестью корой. Когда срезаешь ножом эту кору, белоснежная древесина на срезе аж сочится избыточным соком — и сразу запах арбуза вокруг.

Светило непривычно жаркое солнце (я еще не знал, что мне в будущем уготована Средняя Азия), подернутое от дыма и пепла окрестных пожаров серебряной знойной пеленой; ветра не было; повсеместных моторок на воде тоже не было (все окрестности были закрыты для дачников); мы были одни на всю видимую округу необъятного простора Московского моря и *плыли просто так*.

Периодически поднимая голову, я обводил взглядом ставший низким и плоским горизонт *без Вышки* и вздыхал, понимая, что моя жизнь уже навсегда изменилась в какую-то новую, пока еще неведомую, сторону. Я щемяше и томительно грустил, как может грустить лишь *вьюнош*, переживающий или начало, или конец первой любви, или что-нибудь подобное.

Нет, все-таки одну вещь про Едимново я должен сейчас рассказать — про Вышку. Потому что без нее не получился бы и чижик.

Из всего детства мне больше всего запомнилось Едимново, куда мы каждый год выезжали из Балашихи на все лето. Из всего бескрайнего деревенского мира в Едимново мне здорово запомнилась *Вышка*. Это был бревенчатый триангуляционный знак, стоявший на песчаном бугре между деревней и лесом. Когда тебе пять лет, тридцатиметровая вышка выглядит *как до неба*. Я был абсолютно уверен, что она была там *всегда* и что она была видна *всем отовсюду*.

Уже много лет спустя, читая или слыша про Вавилонскую башню, я все еще (посмеиваясь сам над собой) представлял ее в виде *Вышки* — стандартного триангуляционного сооружения, которые в несметном единообразном множестве возвышались по всей нашей необъятной стране, передавая друг другу молчаливую весть о единстве геодезического простран-

ства. Я видел их в очень разных местах, но все они чем-то отличались от такой особой *Нашей Вышки*, вокруг которой всегда и строился пейзаж моего детства.

Возвращаясь поздним летним утром из леса со сбора грибов, мы всегда проходили мимо нее, и я каждый раз, несмотря на усталость, сворачивал с дороги и, с трудом меня уже ненужными горячими сапогами песок с валяющимися на нем сосновыми шишками и сухими хвоинками, подходил и трогал руками ее посеревшие от времени, необъятные и вечные бревенчатые опоры, шершавые сухим деревом, нагретым на утреннем солнце, и стоявшие незыблемой пирамидой, как продолжение самой земной тверди.

После этого Мама уводила меня дальше, домой (отвлекая, — «Купаться!»), а Ириса и Папан начинали будто бы искать напоследок вдоль опушки грибы, но я-то знал, что они отставали, чтобы залезть на Вышку! Хотя бы *до второй площадки*. Это было моей самой заветной, самой несбыточной и самой безнадежной мечтой — влезть на Вышку, ощутив ладонями дерево лестничных перекладин и недоступную снизу *Высоту Над Простором*. Но мне, маленькому, этого было нельзя.

Однажды я предпринял тайком попытку осуществить свою вожделенную мечту, но сознание греха, физический страх высоты и робость перед огромностью этой загадочной пирамидальной конструкции (словно молчаливо осуждавшей меня за ослушание) остановили меня тогда на середине первого пролета, выше я не полез.

Поэтому, как бы компенсируя невозможность влезть на Вышку, я каждый раз залезал на стоящую рядом с ней *Кривую Сосну*.

Это обычная сосна, растущая на песке, как и множество других сосен вокруг, но при этом сильно особенная. Не прямая и ровная, как все сосны, а расходящаяся на несколько ковраых приземистых стволов совсем низко от земли. Я еще, помню, все время думал, почему же она такая особенная? Может, потому, что растет немного отдельно от остальных сосен? Или, может, наоборот, она и растет отдельно, потому что особенная?

Я залезал на нее и сидел на ветвях, глядя вокруг на Волгу, на лес; вверх — на Вышку; вниз — на песок с шишками, на пятна упругих лишайников с вкраплениями тугих чешуйча-

тых кочанчиков «заячьей капустки». Замечательное и странное растение. И название странное; ведь вряд ли ее зайцы едят. (Став студентом, узнаю, что это — *молодило отпрысковое* — класс!)

На Кривую Сосну не только я лазил. В Едимново все на нее лазили. Все мальчишки, все девчонки; все деревенские мужики, когда мальчишками были. Залезали кто куда мог и сидели на ней, впитывая детскими душами что-то важное.

Судьба у нее такая, у Кривой Сосны; на нее и впредь все всегда лезть будут; это ее предназначение — десятилетие за десятилетием мазать прозрачной смолой детские ладони. Если, конечно, случайные заезжие люди не подпалят ствол костром или пьяный тракторист не заденет трактором (хотя это вряд ли, местные мужики главное даже по пьянке соблюдают). А раз так, что ей еще может угрожать?

Прошло двенадцать лет, и вот мы с Маркычем приехали сюда в то пожароопасное заповедное лето. Вышка здорово постарела за эти годы без меня. Представлявшиеся вечными опоры, раньше наполненные силой, вобранной бревнами за десятилетия их предшествующей жизни деревьями, состарились за многолетнюю бытность свою столбами, подгнили и уже не казались незыблемыми. Перекладки деревянных лестниц местами превратились в труху, из которой зловещекладбищенски торчали глубоко изъеденные оспой ржавчины гвозди. Ветер в тот жаркий день дул такой, что вся эта конструкция вибрировала на нем, как готовый оторваться и улететь парус.

Как папуасы в обнимку с пальмовыми стволами, мы вскарабкались по опорам на первый пролет (все лестницы внизу уже были обломаны) и полезли выше, миновав и первую площадку, и вторую, и добравшись наконец на заветный *самый верх*, который дрожал на ветру пугающей дрожью, словно Вышке стоило большого напряжения последних сил удерживать нас на себе.

Мы очень долго стояли там, не в силах отвернуться от жаркого, как из домны, восточного ветра, пахнувшего летним зноем и далекими, невесть откуда, дымами; ветра, несшегося на нас от скошенных полей с уже желтыми копенками, еще не сложенными в стога; от пестрящего белыми бурунами *Залива*, разделяющего Едимново и соседнюю деревню Горки; от темнеющего на горизонте далекого леса, простирающегося до са-

мого Конаково, загадочного леса без деревьев, лишь с егерскими кордонами.

Стоя на тесной верхней площадке и осторожно опираясь на шаткие перила с пятнами птичьего помета, я впитывал каждую деталь, которую ухватывали не только глаза, но и все мои прочие чувства, жадно наполняя себя тем, что представлялось в детских мечтах много лет, для чего уже тогда было изготовлено во мне особое место, но что лишь сейчас впервые проникало в меня в реальности. Я завершал в себе что-то, давно исподволь ждавшее завершения, чтобы приступить к уже подпиравшему, но еще неизвестному мне *новому*.

Происходившая внутри меня химическая реакция была почти ощутима физически, так что вниз я слезал в каком-то полупьяном состоянии, которое, однако, не прибавило мне лихости-удали, а, наоборот, заставило опасно пробовать каждую прогнившую деревяшку, перед тем как поставить на нее ногу. Я забеременел чем-то, что нужно было в первый момент охранять от встрясок или падения.

Ночевать мы с Маркычем отправились на один из островов напротив деревни. Улеглись там без палатки на поживу комарам, обезумевшим от неверия, что в этом голодном летнем безлюдье нашлись наконец два дурака, добровольно отдавших им на растерзание.

Ночью вдруг задуло, и не успели мы облегченно вздохнуть, избавившись от назойливо звенящих кровопийц, как засверкали молнии и полил такой дождь, что нам пришлось вскочить, втащить лодку на берег, перевернуть ее вверх дном и забраться под нее, как под крышу, спасаясь от неопасного, но все же неуютного, черного, ночного ливня, которым хлестал в темноте при всполохах молний ураганный ветер.

Проснувшись утром, ничего не соображая в первый момент от полнейшей темноты и лишь потом сообразив, что мы под лодкой, я выбрался из-под этой скорлупки, словно вылупившийся из яйца птенец, и, оглядевшись по сторонам на белый свет, сразу понял, что что-то в этом моем новом мире не так. Все вокруг то же, но все другое. Еще подумал тогда, не во мне ли самом изменения (так бывает, когда вдруг видишь все вокруг в новом свете, ищешь перемены снаружи, а они внутри). Но в следующее мгновение обожгло: *не было Вышки*. Я вдруг понял, что значит «не верить собственным глазам».

Просмотрел силуэт деревенских крыш еще раз. Потом опять в другом направлении. Вышки не было. Она дождалась меня вчера, но рухнула этой ночью во время грозы.

Мы поплыли на берег, и я посидел на разваленных в беспорядке серых бревнах, наблюдая, как невзрачный мужичонка, воровато озираясь, бочком, словно паучок, начал перетаскивать обломки государственной собственности в свой огород на личные дрова. Я повздыхал и вытащил из бревна на память огромный кованый гвоздь.

Поэтому я и плыл в лодке грустный и счастливый, размышляя в свои семнадцать лет о вечном и бренном и строгаю ивовую ветку. И вот точно так же, как на крыльце в Павловке, у меня вдруг из этой ветки получился чижик. И само собой возникло ощущение, что он и есть мой секретный ключ к чему-то важному и что на нем нужно лаконично выразить самое главное.

Я поделился этим с Маркычем, ощущение счастья распирало нас обоих, он меня понял, поэтому, посоветовавшись, мы решили, что я должен вырезать на чижике: «МИР. ТРУД. МАЙ».

Я сначала вырезал слово «МИР». Хорошее слово и легко режется. Потом слово «МАЙ». Тоже хорошее слово и тоже резать легко; даже легче, чем «МИР», потому что нет круглого «Р». Слово «ТРУД» показалось мне слишком длинным и слишком трудным для резни. Поэтому я предложил вместо него вырезать самое распространенное слово из трех букв. Не в матерном, а в позитивном, вселенски-утверждающем значении. В конце концов, в основе всего вечного и сокровенного у всех народов всегда лежат фаллические ассоциации, а как символ труда оно и того лучше.

Оставалась еще четвертая сторона, на которой я, в ознаменование явно ощущающегося *Начала Чего-то*, вырезал римскую единицу, как и положено на настоящем чижике.

Маркыч одобрил мое творчество, перестал грести, мы сказали полагающиеся случаю слова и торжественно предали наш символический чижик волнам на счастье всех народов и поколений...

Но на крыльце в Павловке я вырезал тогда не символический, а просто чижик. И в ответ на Димин вопрос, чем же мы здесь будем заниматься три дня, я, все еще продолжая строить, сказал:

— В чижа будем играть.

Рассмотрев мой чирик, молчаливый, степенный дембель Петя вынул окурок и, покачав головой, сплюнул, с безропотной покорностью судьбе утвердив:

— Совсем офигели... Ну что же делать, пошли играть.

Два из трех дней практики, буквально от темна до темна, мы с маниакальным вдохновением играли в Павловке в чижа. Пришлось объяснить правила Диме, никогда не игравшему в чирика ни в своем привилегированном детстве, ни в олимпийских тренировочных лагерях сборной СССР; поспорить немного с Хатом, который со своим сержантским опытом дед-старослужащего смешливо пытался внести в игру какие-то новопридуманные правила, предоставляющие неоправданные льготы умудренным жизнью дембелям, но все предварительное утряслось очень быстро.

Я не знаю, какие азартные игры («на человека») существуют в зонах, но мне почему-то кажется, что в чижа мы играли, как обреченные смертники. Было в этом что-то полностью отрешенное и от оставленного за пределами АБС привычного «гражданского» мира, и от самой физиологии растений, ради которой мы в эту Павловку приехали, и даже от традиционных мыслей о девушках и дружной конспиративной вечерней выпивке. Игра в чижа была эйфорией, самодостаточным таинством и буйством, не требовавшим дополнительных раскрасок или подсветок.

Мы играли часами, охваченные неожиданно прорвавшимся мальчишеским порывом, лишь поочередно отбегая в стоящий недалеко под елками сортир, на стенах которого год за годом, поверх друг друга, накапливались сакральные откровения газетных заголовков: «Где злоба дня сплавлена с вечностью», «Наш ответ рабам диет», «Я сам!», «Ничто не остановит поиск радости!», «Дал ли разрешение Моссовет?», «О личном вкладе», «Все, что есть во мне, — ваше» и проч.

Уже совсем ввечеру, напрыгавшись в чижа до обессиленного одурения и обдумывая, что же делать с необходимыми отчетами по практике и с описаниями экспериментов, старательно заложенных нашими девчонками, мы от безысходности выпили всю *хлорофилловку* — слили втихую в лаборатории спирт с вытяжкой хлорофилла из экспериментальных пробирок, долив туда вместо спирта воды; идиоты... Не по-

мню как, но эксперименты состоялись и практику по ФР мы сдали...

Через десять лет мы со Славкой — моим коллегой по кафедре, работали летом на АБС, он — начальником, а я — парторгом практики. Мы блюли там железную дисциплину, объясняя студентам, что пропуск лабораторного занятия по ботанике или физиологии растений — последний смертный грех, который человек может принять на свою обреченную душу перед окончательным и уже безвозвратным падением. Безжалостно пресекали попытки вечерних бдений с невинным студенческим выпивоном и, вообще, олицетворяли собой унтерпришибеевщину с душевно-интеллектуальным уклоном, незыблемый порядок и железную *самодисциплину*.

Заранее распределяя роли («хороший мент — плохой мент»), мы устраивали полтора сотням студентов публичные разборки на утренних линейках, раздавая провинившимся наряды по уборке территории, прополке крапивы, выгрузке мусора из баков и т. д. Я приходил на эти линейки со своими группами после утренних орнитологических экскурсий, с бинноклем, в камуфлированной куртке и смотрел на ряды студенчества подчеркнуто строгим взором. Цирк.

Поздними вечерами, завершив очередной трудовой день во славу *Полевой Практики*, мы, когда не было чаев и посиделок с гитарой, играли со Славкой свою бесконечную (на всю практику) партию в пинг-понг, записывая тысячный счет карандашом на краю теннисного стола.

Как-то за одну неделю набралось особенно много всего. Студентка, прыгивая ночью с забора, пропорола ногу ржавым гвоздем и не могла ходить (мальчишки устроили турнир за право носить ее в столовую). Потом второкурсник-шалопай не вписался в темноте в дверной проем, разбив себе башку о косяк. Потом трое местных обсуждали что-то ночью с тремя нашими (рваная рана кастетом)... Потом ботаники во время сбора гербария нашли на тропинке в лесочке труп мужчины средних лет. (Прибежали с трясущимися губами; вызвали «скорую», «скорая» приехала, констатировала смерть, но не забрала. Забирать должна милиция. Вызвали милицию. Приехала милиция: да, мол, мертвяк, но забирать должна перевозка... Пока приехала перевозка, пролежал мужик целый день.) Потом наш ручной ворон Карлуша пролетел насквозь два оконных стекла (с улицы внутрь столовки.

Сел на теннисный стол, встряхнулся и с интересом стал разглядывать голубоватым птичьим глазом суетящихся на битом стекле людей). Потом третьекурсники поймали-таки местного маньяка, подсматривавшего за девчонками из туалетной ямы. Скрутили его, я подхожу, а у него деформированный череп — явная родовая травма. Все равно заставили его написать начальнику практики (Славке) объяснительную записку (и. о. ф., прописка, номер паспорта и что делал в сортире. Каково?). Потом, во время самостоятельных наблюдений, заблудились две первокурсницы, которых искали всей станцией по всему окрестному лесу; на которых, как оказалось, где-то напал мужик, одну повалил, но до дела не дошло; они упилили тогда на пятнадцать километров по трассе Москва — Рига; привез их кто-то назад на «Запорожце». Потом на помойке обнаружился ржавый артиллерийский снаряд. Позвонили в в/ч, приехал майор, сказал, что транспортировать нельзя, надо рвать здесь, эвакуирую, мол, всю АБС и окрестные дома... Оцепили помойку красными флажками, а утром приехал сапер, посмотрел, забрал снаряд под мышку и увез.

Приколы и приключения сыпались на нас каждый день. В то лето я нашел гнездо зяблика, под которым висел повешенный. Дело в том, что замечательная птичка зяблик строит свои гнезда-чашечки, всегда вплетая в их стенки не только зеленый мох и тонкие чешуйки бересты (а в городе, за неимением бересты — автобусные и трамвайные билетки), но и конский волос. И вот в этом гнезде один из еще слепых птенчиков невероятным образом не только запутался шеей в петле конского волоса, но и вывалился из гнезда, повиснув под ним на волосине жалким трупиком и демонстрируя на своем трагическом примере уникальные случайности и причуды естественного отбора.

Я долго лез тогда на эту сосну с полным кофром не только своих, но и напиханных мне туда чужих фотоаппаратов, потом старательно фотографировал это уникальное природное явление. Толпа зевак стояла под деревом, со всей живостью, прямоотой и утонченностью студенческого остроумия громогласно обсуждая и повешенного, и меня, сидящего из-за этого на дереве, и орнитологию, и собственную студенческую долю (под руководством начальников-некрофилов), и свое учительско-биологическое будущее, гадая, что произой-

дет раньше: я целиком свалюсь или выроню часть фотоаппаратов...

Потом пытливый первокурсник-натуралист Колюша учил меня есть личинок усачей. Он извлекал жирную белую личинку из-под коры, любовно обтирал с нее древесную труху, явно любуясь на это уникальное творение природы.

«Надо коричневую голову сразу откусить и выплюнуть: она невкусная, хитинизированная, жесткая и на зубах скрипит противно, если есть целиком. Остальное уже как раз и есть *продукт*, почти одни жиры и белки. Только выбирайте побелее, потому что если темный кишечник сильно просвечивает, то это, наверное, молодая или перелинияла недавно, а значит, и жировых тел у нее еще мало, не такая питательная... А насчет паразитов не волнуйтесь, они чистые, никакой дряни не терпят внутри, если заражены чем-то, сразудохнут; в них только грегагины, а грегагины, сами знаете, в человеке не живут... Сергей Александрович, будете? Как вам на вкус? Правда, похоже на кедровые орехи?»

Под испытующими взглядами собравшихся вокруг первокурсников я, с бравым видом крутого утонченного гурмана, откусывал насекомому его «невкусную хитинизированную» голову и не моргнув глазом мужественно жевал еще извивающееся обезглавленное червеобразное тело, под завязку наполненное белками и жирами, вдумчиво закатывая глаза и компетентно замечая, что «вкус не гнилостный» и да, похоже на кедровые орехи (или даже — на незрелый кокос...).

В то же лето с другой подгруппой мы изучали «альбиноса». Неожиданно наткнувшись во время экскурсии в густом хвойном лесу на улетевшую у кого-то с дачи канарейку, сиротливо желтеющую в зловещей темноте еловых ветвей, я воодушевленно устроил экспромт-семинар об альбинизме и развил целую дискуссию о том, альбинос какого вида перед нами.

Остапа, как говорится, несло. Я так распалился, что не прислушался к тактичному шепоту внутреннего голоса, настороженно намекнувшего, что, мол, полегче... Но было поздно. Волна студенческого воодушевления редким явлением природы уже пошла с моей подачи девятым валом, один из студентов притащил откуда-то духовушку, и мы безжалостно (хоть и безрезультатно) охотились на несчастную домашнюю птицу, сполна познававшую перипетии жестокого реального мира...

Честно признаюсь, мысль о том, что это — прозаическая канарейка, почему-то не возникла у меня ни разу, хотя канареек я перевидал достаточно. Бывает такое — «башню заклинено». Поэтому, когда все тот же пытливый первокурсник Колюша поведал мне в столовой, что тоже видел неподалеку нашу канарейку, мне поплохело. Живот мой скукожился до размера яблока, потом сразу раздулся как арбуз, я закрыл закатившиеся, как у эпилептика, глаза, но виду не подал, вложив все свое конджо в вопрос-мольбу и мысленно воззвав: «Господи! За что Ты меня так?!» — «Не ищи дешевой популярности» — был ответ. С тех пор я всегда контролирую свой преподавательский кураж и никогда чересчур вдохновенно не вру студентам для красоты.

(Не менее тяжелый случай произошел со мной через несколько лет. В США, Вашингтоне, на аккуратном газончике в ста метрах от величественного купола Капитолия, сидя на корточках в окружении своих бывших студентов, я подкармливал крошками от вкусного американского коржика доверчивого американского голубя, бестолково топтавшегося в полуметре от моих ног. Сам не знаю как (сработали инстинкты балашихинского детства?), но я вдруг непроизвольно схватил его рукой. Причем схватил неловко — за хвост. Шокированная буржуазная птица в смертельной панике дернулась от этой чисто пролетарской выходки и, рванувшись, стремительно улетела от меня куцым бесхвостым обрубком, а весь голубиный хвост нелепо-унизительным букетом остался в моем кулаке.

Душа моя вылетела от стыда из тела, поднялась метров на десять вправо-вверх, и я отчетливо увидел со стороны, что сижу как дурак с голубиным хвостом в руке, а мои юные коллеги в истерике валяются на изумрудной травке под развевающимися звездно-полосатыми флагами. Всегда сдержанная отличница Надя лишь попискивала, не в силах вдохнуть-выдохнуть, Кет гулко и грубо хохотал, а Стас, всхлипывая и вытирая слезы, простонал: «Вы, Маса, однако, совсем плохой охотник; ушел птица...» Я молча поднялся и отнес голубиный хвост в ближайшую урну.)

Или как, ежась от утренней прохлады и скользя на мокром от росы головокружительном спуске к Истре, мы носились в пять утра все по тем же качающимся подвесным мостикам на первую «кукушку», чтобы доехать до соседней

станции с замечательным названием «Озерки». «Кукушка» нередко опаздывала или отменялась совсем (если не было электричества после грозы или после замыкания трансформатора), и тогда мы бодро топали в Озерки пешком (сорок минут).

Там от станции начиналась экскурсия, проходившая через пристанционный лес с колонией крикливых рябинников и удивительными тропическими песнями иволги. Потом шли поля с журчащими трелями жаворонков в поднебесье и с длинноухими зайцами, неиспуганно прыгающими по утренней росе на скошенных местах. Потом начиналась мокрая луговина вдоль непроходимой полосы тростника и осоки с плачущими криками чибисов, несмолкаемой трескотней камышевок-барсучков и угрожающими патрулирующими силуэтами низко парящих болотных луней. Потом уже сквозь туман тяжелели водой сами озера с перелетами уток на открытых плесах, с чайками и крачками, крикливо пикирующими за мелкой рыбешкой. Дальше в лесу — подтопленные берега, где из непролазной болотины торчали неровным частоколом голые засохшие березовые стволы, насквозь издолбленные дятлами. А уже потом, в обход озера с юга, дорога шла через деревню с распевающими около скворечников скворцами, склочно чирикающими на заборах воробьями и расхаживающими по деревянным мосткам и по бортам привязанных к колышкам лодок трясогузками... Хорошо...

А как в один из сезонов моя группа, меняясь посменно, просидела неделю, выполняя большую работу по наблюдению за скворцами, кормившимися опарышами на совхозной навозной яме? Девицы сначала морщились, а потом ничего, вполне воодушевились героизмом научного подвига; взвешивали и измеряли опарышей, изымая их из полужидкого навоза... И обсуждали потом в лаборатории, тревожно принимаясь к уже тщательно отмытым рукам, мол, будет что рассказать о славно проведенной летней практике... А я утешал их тем, что для поэта или для сказочного принца на белом коне, наверняка ничего не может быть лучше ядреной русской *деуки*, пахнущей летними травами и прочими деревенскими ароматами...

А ночные экскурсии по совам? Что может быть волнительнее для девичьего студенческого сердца, чем три часа в ночной лесной темноте, куда не пробивается ни свет вездесу-

щих уличных фонарей, ни отдаленное сияние большого города, ни даже лунный свет, наглухо загороженный тяжелыми еловыми ветками? Когда темно так, что тропа аж светлеет в густой тьме. И неожиданные шорохи вокруг. А требуется еще и выискивать, откуда исходят требовательно-пронзительные крики сидящих где-то наверху голодных птенцов ушастой совы.

Периодически кто-нибудь из девчонок не выдерживал, проталкивался в группе вплотную ко мне, а в особенно страшные моменты непроизвольно цеплялся за мой локоть, забывая, от впервые в жизни испытываемого ночного ужаса, формальные нормы поведения между студентками и преподавателями.

Чего греха таить, порой я пугал студенток специально, с будничными интонациями нагнетая ночной ужас рассказами о том, что ночью даже в самом обычном (в дневное время) месте порой удастся наблюдать «агрессивное или хищническое поведение встречающихся (теоретически...) в этих краях крупных животных...» (Хе-хе-хе...)

Потом из-за Павловки на факультете была «зеленая революция», когда ректорат решил раздать в пределах АБС наделы на дачные участки, а студенты и преподаватели-биологи решительно воспротивились этому. Сработало, Павловку отстояли тогда.

А вообще-то чирик — это птичка такая маленькая с приятным мелодичным голосом, а не только четырехгранная деревяшка с заостренными концами, по которой надо попасть лаптой. Этих птичек-чириков в Павловке тоже очень много. Летают стайками по верхушкам берез».

АКУЛА НА КАФЕДРЕ

— ...Поднимай своих верблюдов, — нам пора отправляться в обратный путь...

(Хорасанская сказка)

«20 марта. Дорогая Светлана Петровна!

Когда хожу по холмам («клик-клик» — шагомер), хорошо думается про разное. В том числе и про московское. В том числе и про кафедральное. В том числе и про то, как на вто-

ром курсе у Вас на занятии доклад делал по хищным птицам. Не понимаю, как Вы тогда это вынесли. Я бы сейчас, как преподаватель, не стерпел бы такого: девяносто минут вместо пятнадцати... Но меня тогда и правда понесло, это я даже сейчас помню.

Часто скучаю по кафедре. Нет, не так. Не скучаю. Чего мне скучать, если я из родных стен в поле еле вырвался. Не скучаю, а ощущаю тылы; это совсем другое. Все-таки эти самые пресловутые родные стены не заменишь ничем.

А коллектив в этих стенах? Доставшееся нам всем по жизни сочетание таких разных людей: С. П. Н., А. В. М., В. И. О., С. П. Ш., В. М. Г., И. Х. Ш., В. Т. Б., А. Б. К., А. О. Ш., И. А. Ж., В. М. К., В. Е. К., В. М. Д., Е. Ю. П., Н. М. Ч., М. Е. Ч., Н. Т. К., С. А. Е., А. Г. Р., С. А. Ф., В. Г. М., Л. И. Б. Перечисление инициалов смотрится как генетический код в нашей общей «кафедральной ДНК»: цепочка букв, но сколько всего за ними! Как и в настоящем генетическом коде, не все здесь друг с другом сочетается, но все необходимо. Со временем что-то на что-то заменяется, что-то исчезает. С факультета уже четверо за бугор отчалили. И не лучшие, и не худшие — разные. Кто-то готовился, клинья подбивал, у кого-то само сложилось. Это не важно. Важно, что их нет. Могли бы быть здесь, когда каждое подставленное плечо общую ношу облегчает, когда каждый рядовой с саперной лопаткой — на вес золота.

Ведь образование у нас, какую эпоху ни возьми, всегда — передний фронт. Где не столько стрелять приходится, сколько окапываться. Но их нет, уехали. Хотя это, может, и не самое главное, уехали и уехали, главное — чтобы мосты не жгли.

Это у какого же французского театра эмблема — пчелиный рой? Не помню. Мол, летите пчелы, кто куда, летите хоть по всему свету, но потом собранную пыльцу несите назад в свой улей... Так же и нам *наши люди везде нужны*, а уж даже плохонький лазутчик «в тылу врага» или толмач в лагере союзника для армии, поди, не меньше рядового в окопе ценятся. Хотя мы такие тонкости лишь задним числом обдумываем (если обдумываем), уже *после* того, как любого, перешедшего фронт, без суда, за *дезертирство* или за *предательство*, к стенке...

Ну да ничего. Бог даст, всегда будут в родных кафедральных коридорах с выщербленными паркетинами такие же студенты с горящими глазами, с увлеченностью природой и с

жаждой путешествий, как и много лет назад. Такие же, как и сейчас, неугомонные аспиранты, в которых накопленное за пять студенческих лет сплавляется с радостным предвкушением «всамделишного» вхождения в профессиональную науку. (Помните, как я перед сдачей аспирантского экзамена бороденку отпустил? Цирк).

Будут преподаватели, которые, как вы все, не скупятя на время, уделяемое студентам, и не щадят живота, протапывая ту самую, порой неприметную и теряющуюся в передрыгах будней, спасительную тропинку традиций и связи времен. Тропинку, в конечном счете пробивающуюся через все дебри и колдобины и выводящую всех нас на наш главный жизненный путь, уж как ни сторонись высоких слов.

И будет дух экспедиций и практик, остающихся в памяти пережитыми вместе приключениями, опасностями, счастьем общения, вдохновением открытий, любовью, образами дальних стран и предчувствием будущих свершений.

И будут новые и новые достойные буквы, встающие на свое особое место в славный кафедральный «генетический код»... Только так и может быть.

Ведь не зря же корифеи фундамент закладывали. Сергей Палыч, бывало, как посмотрит из-под косматых бровей, сердце сразу холодеет; какие уж там после этого первичные почки или вторичные рты... А он сидит на своем кресле с подлокотниками, в профессорской феске и со спокойствием парящего над реальностью, игнорируя истеричные административные запреты («Курение в здании факультета категорически запрещено!»), отламывает фильтр от сигаретки, вставляя ее в длинный прокуренный мундштук...

А как там Михеич? Все так же с утра за столом, немым укором всем нам — простым смертным, живущим в суете? Важное это дело — постоянство.

Вот, например, в зоологической аудитории на боку у чучела акулы всегда мелом написано имя правящего американского президента. Сами знаете: так было в мою бытность первокурсником, так же было и когда я защищал в этой аудитории диссертацию (пришлось перед сбором Ученого совета влезть на стул и стереть надпись мокрой тряпкой, от которой потом выступили белесые разводы), так же и сейчас, когда я сам читаю там лекции. Президенты меняются, многострадальная акула, застыв с зубастой оскаленной улыбкой, бес-

сменно олицетворяет коварный империализм. Надежная акула...

Эх... Правильно все-таки Михеич, Мудрый Дед, пожелал мне на обмыве после защиты проработать на кафедре всю жизнь: дом родной; где ни шляешься-мотаешься, а знаешь, что в конце концов вернешься сюда».

ПЕНОЧКА В ТАРУСЕ

Сидел однажды могущественный Сулейман на троне в окружении людей и пери, дивов и джиннов, птиц и животных, и из трепетного благоговения перед его несказанной мудростью никто не решался вымолвить слово. Одна лишь птица Сар, взмахнув крылом, издала некий странный звук...

(Хорасанская сказка)

«2 июня. Здравствуй, Люся Николаевна!

Сами видите, занесло меня, елки на фиг, завел песню про пенаты.

Хорошо, а геофак? Уж Вы-то знаете, что моя альма-матер точно состоит из двух колыбелей. Участь на геофаке, курсы про птичек делал, бегая через двор в соседнее здание на биохим, на кафедру зоологии. И все спрашивал себя, помню: мол, в чем же дело? Два одинаково облупленных школьных здания в ста метрах напротив друг друга, два факультета одного института, студенты вечно вперемешку, а дух общения на этих факультетах разный. На биохиме всегда были как-то заметнее звезды-индивидуальности. На геофаке тоже хватало ярких личностей, но там всегда главнее было непередаваемое ощущение братства и единства. Может, в Тарусе все дело?

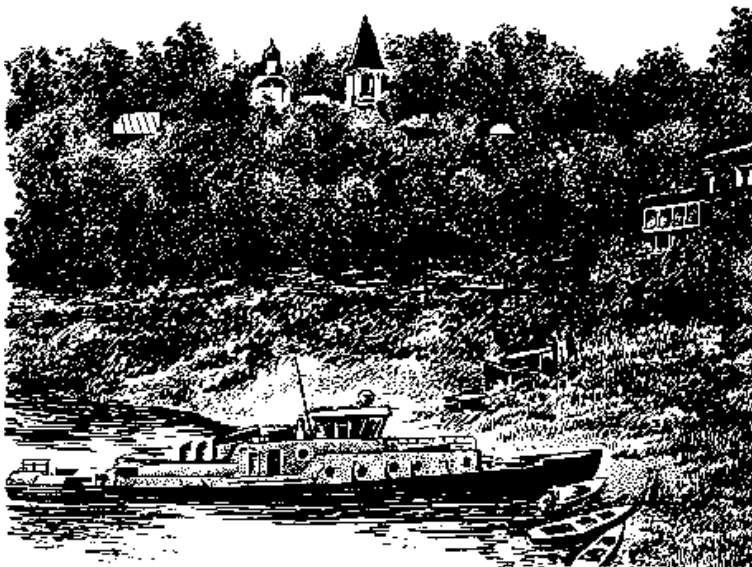
Да-а, Таруса цементировала многое. Объективно подумав — ничего примечательного: антропогенный ландшафт, сама база — далеко не новая, далеко не самая комфортабельная и постепенно разваливающаяся... Но то-то и оно, что Таруса была всем нам очень важным. Утренним туманом над Окой и Таруской. Традициями и духом российской интеллигенции; приближением и сопричастностью к славным литературным именам. Провинциальной негой деревенско-го-

родских улиц, покрытых не асфальтом, а травой с гусиным пометом. Серыми от времени и солнца деревенскими заборами и раскрашенными наличниками над яркими головками астр и хризантем. Горшками с геранью на окнах. Узнаваемой неустроенностью многого вокруг. Нашим собственным вдохновением, смехом, удалью и любовью, рождающимися среди всего этого и благодаря всему этому.

О Тарусе всю жизнь помнят все, кто в ней хоть однажды побывал на практике. Потому что Таруса была, есть и будет нам всем — как нателный крест. Который и не должен быть драгоценным в прямом смысле слова, потому как его сила, значение и бесценность совсем в другом. Таруса давала то, что нигде и никогда не давалось нам так щедро и так легко: она давала крылья, единство и ощущение тылов.

Плюс умножьте все это на эйфорию и наивное всеисилие молодости. В Тарусе всем мечталось о дальних странах, океанах, горах и пустынях; всем верилось в вечную дружбу и любовь; всем казалось, что так вся жизнь и пройдет в ощущении всегдашнего начала чего-то важного, поджидающего тебя впереди.

В этом конечно же заслуга многих, кто работал тогда с нами. И прежде всего, А. Е. Сербаринова. Сербор был стерж-



нем всего происходящего, на нем держалось многое, если не все.

Одна Гулящая Тетрадь чего стоит! Вы знаете про *Гулящую Тетрадь*? Нет? У-у, это был класс. Палочная дисциплина огороженной глухим забором «зоны» в значительной степени держалась на самосознании и самодисциплине. В частности, на необходимости подняться перед предполагающимся загулом на высокое сербариновское («царское») крыльцо и записать в специальную Гулящую Тетрадь, на какое кострище, со скольки до скольки и — самое прикольное — с кем идешь.

Жизнь била во всех ключом, спать светлыми, так и не темнеющими до конца, июньскими ночами в восемнадцать — двадцать лет было категорически невозможно. Вся база после отбоя пустела на глазах, рассеиваясь по окрестному лесу приглушенно и заговорщически гудящими группками и молчаливо растворяющимися в никуда парочками.

А Гулящая Тетрадь пухла и пухла, вмещая в себя квинтэссенцию нашей жизни, все самое из этой жизни сокровенное: легко и беззаботно перечисляемые через запятую имена друзей; с сомнением, с испугом или со смущением обозначаемые инициалы сердечных привязанностей... Но Сербор соблюдал тетрадь в строгости. Листать ее не позволялось никому. Он сам был Вершителем Дел и Судеб; Тетрадь была Высшей Летописью Нашего Тарусского Бытия...

А как однажды народ почему-то вдруг потек в самоход. Прокопали лаз под забором за домиками, все пролезли, а Наташка, славящаяся своими роскошными формами, застряла посередине — ни туда и ни сюда. Уже пролезшие наружу старались ее оттуда вытащить, а она — никак. И, как назло, — Сербор с фонариком. Подошел к торчащей из-под забора «задней половине крокодила», посмотрел внимательно, расправил своим обычным жестом огромную окладистую бороду, а потом как рывкнет в темноту:

— Дневальный! Стул! — Дневальный, понятное дело, быстрее ветра слетал за стулом, интересно ведь, чем все кончится. Сербаринов сел на этот стул, опять расправил бороду, упер руки в колени. Задняя половина, нелепо-простоудшно торчащая из подкопа, замерла в ожидании высшего суда; шепот на противоположной стороне забора стих; дневальные по бокам от Сербора застыли в почетном карауле около трона, с кото-

рого сам Сербаринов взирал на перемазанные землей джинсы и кроссовки, обессиленно уткнувшись в глину носками внутрь... — Ну, здравствуй, Попа... И что же, Попа, мы будем с тобой сегодня делать?... Как бы ты сама поступила на моем месте?..

А как он будил перед линейкой приходящий лишь к самому утру народ? Отворачивая полог палатки и видя там спящее тело, Сербор оборачивался назад, чтобы опять рывкнуть: «Дневальный!» — но в большинстве случаев этого не требовалось: дневальный был тут как тут и с гадливой готовностью (вспоминая самого себя в подобном положении) уже протягивал полное ведро колодезной воды... На линейке регулярно стоял кто-то, «умывавшийся» весь целиком прямо в одежде...

Но даже Сербор был не всесилен. Когда сегодня я слышу академические дискуссии про то, что «социум самопроизвольно генерирует определенную, ё-моё, морально-психологическую среду», я вынужден почтительно преклонить голову перед теоретиками отечественной педагогики. Потому что видел это сам: бабслей в Тарусе.

Являясь спонтанным проявлением первородного устремления мальчика, юноши, мужчины пошалить в жаркий день, обливая водой девочек, девушек и женщин, бабслей являлся неизменным атрибутом каждой летней смены. Сербор предпринял было попытку ввести это стихийное буйство в рамки расписания, но потом лишь махнул рукой и сам периодически ходил мокрый насквозь, стряхивая блестящие капли с широкой бороды...

Никто не знает, как и почему, но вдруг в какой-то из дней в воздухе возникало известие: «Сегодня — Бабслей!» И жизнь менялась. Потому что с этого момента все привычные социальные координаты растворялись в жарком летнем воздухе. Каждый мог выразить симпатию к каждой, окатив ее с ног до головы; студент — преподавательнице, доцент или профессор — студентке; слабая половина отвечала сильной тем же. В баблее переставали существовать табели о рангах, различия возраста и социального статуса; обливались все и вся. Аккуратистки, маменькины дочки, пытались прятаться по лабораториям, но этим потом доставалось особо. Когда буйство заканчивалось, такие пипетки-недотроги пугливо выбирались из-за дверей на белый свет, и вот тогда-то им и воздавалось на полную.



Так же произошло и со мной в последний год, когда, после большого перерыва, я вновь вел там практику. Постарел, наверное, потерял чутье. Бабслей я тогда почти пропустил. Писал дневник в комнате за зоологической лабораторией, а потом вышел на крыльцо: мама дорогая, бабслей идет! Я схватил аппарат, начал снимать визжащих *деук* в купальниках и *дембелей* и *умывальников* с ведрами.

В собственной неприкосновенности я был уверен, подсознательно уповая на то, что даже тарусская удадь не посягнет на дорогую японскую оптику. Наснимал и студентов, и преподавателей.

Отсмеялись все, отхохотались; перерыв кончается, подходит время начала занятий, а я смотрю в окно — все мои девичьи еще мокрые, расселись на ступеньках у своего домика на солнышке, словно ждут чего-то, и даже не чешутся, что через пять минут всем надо в аудитории сидеть. Выхожу на крыльцо, только приготовился строго промолчать на них командирским голосом, рявкнув командирским взглядом, как на меня сверху ведро воды!

Короче, подставился я, как последний лох... Под чей-то вопль: «Акела промахнулся!» — все, кто был, взревели в восторге, как болельщики на стадионе, а я стою в прилипших штанах, в залитых очках, с поникшей размокшей сигаретой в руке, а с крыши на меня щерится долговязый Денис, туды его растуды; сидит с пустым ведром и с удовлетворенным лицом плохого человека, сделавшего свое мокрое дело...

Начав работать в Тарусе как преподаватель, уже после кончины А. Е. Сербаринова, я старался следовать его стилю и традициям, но ни его преемники (Саньчу привет!), ни я сам не смели их просто копировать.

Начиная свои тарусские орнитологические экскурсии в пять утра, я нередко выводил в маршрут группу, в которой никто так и не ложился спать. На такой экскурсии главных задач было три: первое — не делать перерывов и не разрешать никому садиться (севший человек мгновенно засыпал, сначала не в силах удержать закрывающиеся веки над медленно вращающимися, безумно плавающими глазами, а потом безнадежно и бессильно по-птичьи свесив голову); второе — не заснуть самому и, третье, главное, — изучать птиц без скидок и поблажек.

Не заснуть самому было важно, потому что студенчество с чаем, гитарой и свечками толклось в моей зоологической лаборатории с отбоя до момента, пока я не отправлял всех восвояси. А так как сердце у меня мягкое и неформальным общением с молодежью я всегда дорожил и дорожу, то отправлял я посидельщиков в половине пятого, чтобы лишь успеть самому побриться перед выходом на птичек.

Бодрствующее по ночам студенчество отсыпалось днем, я днем не сплю. После недели в таком режиме даже моя многолетняя тарусская закалка начинала давать слабину. На одной из собственных экскурсий я отчетливо почувствовал, что могу бесконтрольно уснуть на середине собственного объяснения, несолидно рухнув носом в траву. Осознав такое, я панически увеличил в своем повествовании количество вводных фраз и безличных оборотов, позволяющих не так строго проводить связную линию повествования. Это меня и спасло: в одно из мгновений, рассказывая про пеночку-весничку, я все-таки на секунду отключился, с трудом удержавшись на ногах...

Вечером того дня, ничего никому не объясняя, я приколол на дверь зоологической лаборатории записку «Ушел на базу», заперся и улегся в своей задней комнате спать...

Что сравнится с восторженно-блаженным летним сном в средней полосе, когда светлая короткая ночь лишь сереет за дачным окном? Ничто! Ни сиеста в кондиционированной прохладе под пальмами на тропическом острове, ни даже привал у тенистого ручья в ущелье прокаленного солнцем Копетдага...

Я преподавал в Тарусе и на кафедре со многими из тех, у кого учился сам. Есть все же что-то особое в том, что учишься у людей как студент, а потом оказываешься с ними же, но по другую сторону бывлой «баррикады» в веселом вселенном противостоянии «профессора — студенты», уже как коллега и соратник. И как же хорошо на сердце от сознания того, что тебя самого уже не будут пытать колокольчиками на зачете по ботанике!.. Вот она, свобода навсегда: идешь мимо, скажем, крестоцветного и не боишься его ни фига, смотришь смело и думаешь: «Ну, что, крестоцветное?..» — а самому и не страшно совсем, что латынь перепутаешь...

Время идет. Общие практики нескольких курсов одновременно в Тарусе больше не проводятся. Лишь отдельные энтузиасты (Корольковой поклон!) продолжают ездить сюда со студентами, не в силах оторваться душой от этого места. Да еще «дембеля» как-то скинулись, накупили краски, собрались там с Саньчем, отремонтировали, что смогли.

Выбравшись туда недавно с группой студентов после длительного перерыва, я нашел на шкафу в задней зоологической лаборатории пыльную коробку с коллекцией жуков, собранных нами с Жиртрестом на первом курсе двадцать четыре года назад...

Но база стоит, и рында — обод от троллейбусного колеса по-прежнему висит у входа (каждый прошедший практику имеет право врезать по ней перед отъездом молотком).

Так что, будете в Тарусе, спросите, где студенческая база геофака; это прямо от центра вверх по склону в противоположную от Оки сторону; улица Луначарского. Вам любой покажет. А уж если доберетесь до заветных покосившихся ворот, ударьте там во славу геофака по рынде ржавым молотком (пошарьте рядом в траве). Я и здесь услышу...»

40

В ожидании утра мы вынуждены были устроить привал. Ночью на нас напали разбойники. Я проснулся от громких криков и, к своему ужасу, увидел, что...

(Хорасанская сказка)

После двух часов ночи действительно слышен мотор, хозяин выходит к машине, откуда, из-под одинокого фонаря, доносится непонятная туркменская речь с обильно вкрапленным понятным русским матом. Джигитов четверо, сразу проснувшись, я вижу это из окна. Поговорив, они посылают хозяина за мной. (Зачем им это понадобилось?) С безропотной азиатской покорностью слабого сильному он направляется назад к дому.

Мы вместе выходим к машине. Один из браконьеров, как в плохом детективе, прыгнув из кузова и сидя на кор-



точках, вытирает травой с рук кровь. Второй из них очень агрессивен; по некоординированному взгляду вижу, что он явно накуранный. Двое других здесь же, рядом, но держатся молча, — такие неприятнее всего.

Без особого труда кося под свежеразбуженного дурачка и перетапываясь с наивной сигареткой так, чтобы по возможности держать их на одной линии, вступаю в разговор, деталей которого не помню. Все кончилось мирно, сведясь почему-то к обсуждению политики Горбачева в Москве... Не знаю, как вы, а я за многое искренне уважаю Михаила Сергеевича. Мои ночные собеседники этой симпатии не разделяли, что чуть было вторично не поставило мою жизнь на грань неоправданного риска...

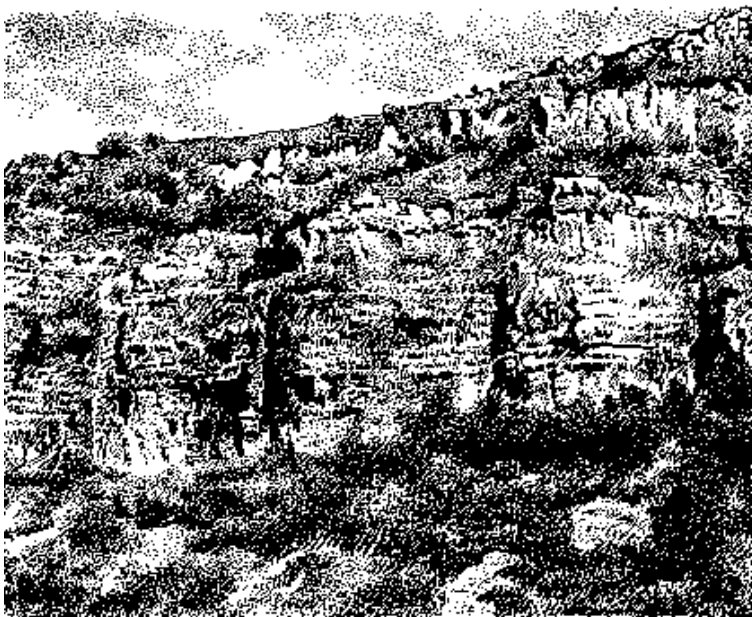
Я уверен, что главной причиной урегулирования потенциально чреватой ситуации явился явно впечатливший браконьеров факт, что я специально приехал сюда из Москвы, чтобы посмотреть какую-то птицу на скале. После этого они, видимо, уже просто не смогли принять меня, убогого, всерьез... В конце концов они уехали, мой безответный хозяин вздохнул с облегчением, и мы снова легли спать.

41

Загадку разгадав, теперь я вижу:
К концу страдания наши подошли, —
Хоть на дорогах поисков тяжелых
Увяла юность, как цветы в пыли...

(Хорасанская сказка)

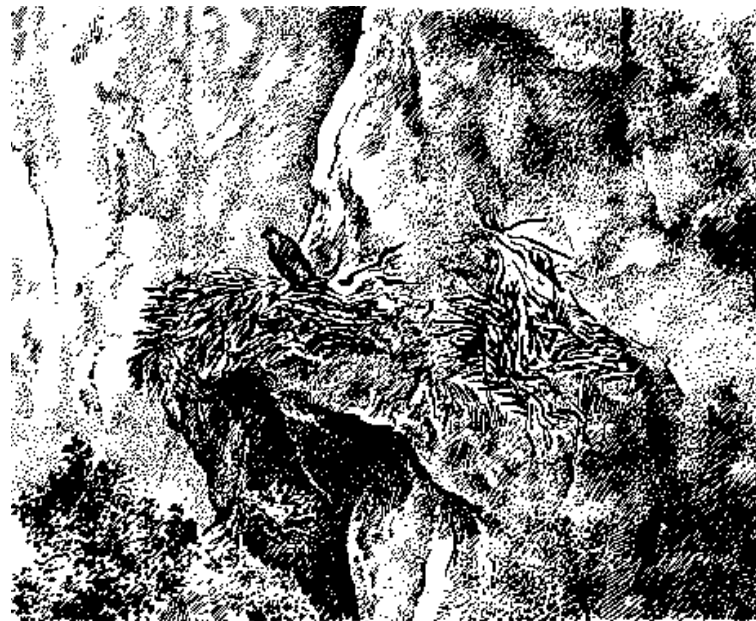
Я встаю затемно и к моменту рассвета уже сижу недалеко от гнезда. Когда рассветет, я рассмотрю его в деталях. Увижу, что устроено оно высоко на обрыве, где сухие и зеленые ветки уложены орлами в полутораметровой нише от сферической конкреции, выпавшей из скалы.



Потом я пронумерую видимые в округе вершины как ориентиры для описания перемещений птиц и одиннадцать часов буду наблюдать за семьей ястребиных орлов, включая еще не до конца оперившегося птенца, совершенно не осознающего собственной значимости, и его крикливых соседей — светливую братию воробьев, гнездящихся под надежной защитой — между сухими ветками в толще орлиного гнезда.

Разгляжу в деталях орленка, еще сохраняющего белый детский пух на голове и шее, с приметными черными пятнышками впереди и позади глаз и рыжеватым пятном на груди; его желтый с черным кончиком клюв; темно-коричневые оперяющиеся крылья; еще куцый хвост и непомерно длинные когтистые лапы.

Понаблюдаю, как он, в перерывах между сном, подобно заводной игрушке, по двадцать раз подряд упруго подпрыгивает на гнезде, размахивая в такт набирающими силу крыльями. В этом гнезде он — единственный наследник, ему одному достается вся родительская забота и все родительское внимание. Когда птенцов два (а в исключительных случаях три), не



все так идиллически. Старший, более крупный, как правило, первым получает корм (но зато младших мамаша нередко кормит потом дольше и внимательнее). У африканских фасциатусов старшие птенцы очень агрессивны к младшим, у европейских и азиатских это почему-то менее заметно, даже когда птенцы голодные.

Посмотрю, как самка, принеся птенцу пищу, потом ненадолго подсаживается на гнездо и кормит кусками этой добычи своего отпрыска. Все как в учебнике: насиживание (шесть недель), основная непосредственная забота о потомстве, прямое кормление — все это на матери. Самец часто приносит добычу на гнездо, но сам редко кормит молодых (это наблюдалось лишь изредка у африканских птиц). Самка фасциатуса будет пестовать своего отпрыска дольше многих других птиц. Она будет кормить его из клюва в клюв до самого вылета, когда полностью оперенный орленок уже почти достигнет размера взрослых птиц. Да и после этого он, уже самостоятельно летая по округе, несколько недель будет, проголодавшись, прилетать в гнездо, чтобы мать его покормила.

Понаблюдаю за дневной родительской жизнью взрослых птиц. Увижу, как они подолгу неподвижно парят в потоке сильного горячего ветра, шевелящего у них отдельные перья. Как летают вдвоем вплотную к скалам, почти касаясь их концами крыльев, следуя своим излюбленным охотничьим маршрутам. Как присаживаются для отдыха недалеко друг от друга. Как пикируют на невидимую мне добычу, замеченную ими почти с километра. И как однажды самка зависнет в полете на одном месте, трепеща крыльями, как пустельга, — для орлов это очень необычно.

Все же охотники они изумительные. Добывают все что угодно, используя самые разные приемы и маневры. Даже описано, как орел по земле бежал, догоняя домашнюю птицу (правильно, такая добыча не заслуживает пикирования в полете); во цирк, посмотреть бы, фасциатусы ведь ужасно длинноногие... Наблюдалось, что при парной охоте одна из птиц выпугивает добычу, вторая атакует ее из скрытой засады, а потом оба делят добычу; неудивительно: между членами пары (образуемой на всю жизнь) — полный контакт.

А как Зарудный пишет в 1903 году: «Однажды мне пришлось видеть, как ястребиный орел, погнавшись за зайцем и настигнув его у горного гребня, за которым лежала страшная круча, схватил лапами, проволока несколько десятков шагов и сбросил в пропасть...» У-у!

Буду, затаив дыхание, следить за тем, как орлы набирают порой над гнездом немыслимую высоту, превращаясь в абсолютно невидимые невооруженным глазом и еле заметные даже в бинокль точки. Как в этом поднебесье самец раз за разом взлетает по дуге вверх, застывает на долю секунды неподвижно, почти вставая вертикально на хвост, а потом стремительно «ныряет» вниз, сложив крылья, в пикирующем демонстрационном полете, заявляя свои права на гнездовую территорию, на жизнь и на это небо вокруг.

Удивлюсь тому, как самец, летая недалеко от гнезда, пару раз прокричит не своим обычным раскатистым клекотом, а неожиданно сдержанным, каким-то грустным криком, которого я до этого никогда не слышал: «Каа-лии, каа-лии...» — словно сообщая кому-то что-то интимное, не предназначенное для постороннего уха.

Опишу, как они снисходительно игнорируют атаки смехотворно маленькой, истошно кричащей пустельги, бесстрашно

пикирующей на них поблизости от своего гнезда на соседнем обрыве. Как конфликтуют сами с вторгающимися на их территорию конкурентами, безжалостно гоня даже таких солидных птиц, как более крупный, но не столь ловкий в полете беркут, вынужденный даже постыдно присесть на камни, вжимая голову в плечи от уверенных атак хозяев территории.

Буду отличать в этой паре самца от самки не только по поведению (самец всегда ведет себя как истинный джентльмен, галантно и неотступно сопровождая в полете самку), но и по окраске (она не такая контрастная, сочная и нарядная, как у поистине великолепной самки, которая явно старше), а также по отсутствующему у него в правом крыле маховому перу. Сфотографирую все, что удастся.

Порадуюсь тому, с каким упорством и старанием птенец пытается ловить своим грозным клювом мух («Так их всех, насмешниц!»); с каким интересом он наблюдает за скалистыми ласточками, порхающими около гнезда, и за проезжающими внизу по дороге машинами, смешно вертя за теми и за другими головой.

Когда после полудня я, вслед за солнцем, пересяду на новое место, более удобное для наблюдений, все утро контролирующее меня взрослые птицы это сразу отметят, и самка подлетит ко мне почти вплотную (я отчетливо разгляжу ее строгий родительский глаз) — проверить, куда я пересел и не таит ли это подвохов... Я веду себя тихо и неназойливо, опасаться мне нечего (известны случаи пикирования орлов на людей около гнезда).

Сам же орленок, просидевший весь жаркий день в спасительной тени, после четырех часов дня, когда уже снижающееся солнце осветит наконец гнездо, с явным удовольствием усядется на солнышке, подставив ему грудь и широко расправленные крылья: ультрафиолетовая солнечная ванна — обязательная гигиеническая процедура.

Потом я испереживаюсь за птенца, когда его разморит на послеполуденном солнцепеке и он уснет, свесившись, на краю гнезда, по-детски задрвав хвост вверх и чуть не свалившись



вниз. Он удержится лишь в последний момент, уже падая, — хлопав крыльями и судорожно схватившись еще непропорционально огромными когтистыми лапами за наваленные в гнездовой нише зеленые ветки, испуганно прижавшись потом к скале подалеже от края («Вот тебе и на! Еще не хватало мне стать сегодня свидетелем несчастного случая...»). Клянусь, ни один орнитолог в мире не поверил бы мне, что я не сам угробил птенца для коллекции в подтверждение факта гнездования.

Даже не свалившись сейчас со скалы и избежав на сей раз случайной гибели, этот орленок имеет достаточно шансов погибнуть от естественных причин; половина всех птенцов гибнет в первый год жизни. А уж близость этих птиц к человеку меня откровенно пугает.

Специально переговорив позже про орлов с живущими здесь туркменами, я с некоторым облегчением узнаю, что эти люди вполне миролюбиво считают птиц своими соседями. Хочется верить, что это действительно так, но вообще-то редкий хозяин не снимет со стены ружье, увидев, как орел подхватил на его дворе соблазнительно беззаботную курицу. Тем более в мусульманской стране, где Коран отнюдь не почитает братьев наших меньших. Это вам не Индия.

Редчайших леопардов, доживающих свой век в единичных окрестных ущельях и изредка убивающих пасущихся на склонах телят, которые вытеснили их естественную добычу — почти уничтоженных человеком архаров, от пуль не спасают никакие увещевания и никакие официальные запреты.

Как бы то ни было, численность ястребиного орла сокращается повсеместно. Взять, например, Испанию — здесь фасциатусов больше, чем где-либо в Европе: в начале века гнезилось пар семьсот, осталось чуть более трехсот; лишь за последние годы, пока я искал это первое и пока единственное гнездо в СССР, в Испании по непонятным причинам исчезло больше сотни пар.

В прочих местах, за счет меньшей численности орла, урон и того весомее. В Израиле было сорок пар, потом осталось две; сейчас двадцать; на всю Италию — десять пар; в Португалии везде редок; в Греции осталось пар пятьдесят; во Франции — пар тридцать. Так же и в Африке: в Тунисе было за сотню пар, осталось пятнадцать. В Индии распространен широко, но везде малочислен. Вроде бы он не так уж и редок по миру в целом, но пугает то, что во многих случаях по непонят-

ным причинам он исчезает там, где прочие виды орлов чувствуют себя совсем неплохо.

Много фасциатусов гибнет на проводах от замыканий на линиях электропередач (особенно молодых птиц). Часть травятся пестицидами и удобрениями. Но главный урон, несомненно, — за счет повсеместного вторжения человека в живую природу и изменения всей среды обитания вида. Углубляясь в анализ этого антропогенного (по вине людей) разрушения местообитаний откровенно боязно.

ОТСТУПЛЕНИЕ ПРО НАСТУПЛЕНИЕ

И закралась ему в сердце греховная мысль:
«Нынешней ночью не худо бы все это добро потихоньку унести...»

(Хорасанская сказка)

«30 марта. Проблема воздействия человека на экосистемы Западного Копетдага не нова. Благоприятный климат, богатство природы и выгодное географическое положение предопределили древность существовавшей здесь цивилизации, — этот регион входил северной провинцией в простиравшееся по Ирану античное Парфянское царство, являвшееся основным соперником Римской империи на Востоке. (Осколки древней керамики из разных культурных пластов регулярно попадают в сыпучих обрывах вдоль Сумбара, а однажды Стас нашел там и потом целый день откапывал огромную амфору литров на девяносто).

Присоединение Закаспийского края к России в 1881 году активизировало не только его научное исследование, но и хозяйственное освоение; наступление человека на природу пошло полным ходом. К этому времени относятся как первые большие экспедиции, организованные по Закаспию в целях описания природы и народов этого нового форпоста Российской империи, так и прокладка дорог и строительство крепостей-поселений.

Уже в те, далекие от нас, времена было положено начало земледелию, скотоводству и локальной рубке лесов. Но уровень этого воздействия был по нынешним меркам ничтожным. Пребывавший еще во младенчестве «непросвещенный»



античный мир не знал тракторов и пестицидов, но знал, что вырубать леса вдоль рек нельзя. Он был еще малонаселен и целиком зависел в своем благополучии от мирного диалога человека с окружающей природой. Земледелие и скотоводство по определению должны были строиться на принципах устойчивого сосуществования с природными экосистемами, иначе они просто не могли бы развиваться. Уже тогда реальный ход событий был далек от идиллической гармонии, но все же он в большей степени строился на основе уважения к природе и практического здравого смысла, чем в последующие эпохи, все более знаменуемые попытками

человека «не ждать милостей от природы, а взять их у нее». Обезвоживание и опустынивание региона пошло все более нарастающими темпами.

Еще несколько десятилетий назад в долине Сумбара использовались водяные мельницы — многометровые цилиндры, сложенные из плоских обтесанных камней с отверстиями в середине: подводимая по арыкам вода падала сквозь них, вращая жернова. Из-за нехватки воды эти мельницы оказались заброшенными еще до того, как необходимость в них отпала».

ВИНТЫ

Часть своего войска отправил он в чужеземные страны, дабы сделать Хорасан государством могущественным, а самому стяжать славу не имеющего себе равных в благородстве и справедливости.

(Хорасанская сказка)

«2 апреля. В окрестностях Кара-Калы, являющейся одной из исконных русских крепостей-поселений, в ущелье Баган-

дар на Сюнт-Хасардагской гряде, по скалам вьется серпантин дороги, сложенной из камней вручную на заре освоения (колонизации) Россией этого важного стратегического региона. Местные называют эту дорогу «Винты». Восемь лет назад мы еще ездили по ней на машине с Андреем Николаевым, начавшим нелегкое дело практической заповедной охраны этих мест; сейчас она зарастает порослью инжира и держидерева.

На плоской скале у основания склона до сих пор различается императорский символ Александра III с короной и высеченная рядом надпись, пугающе исчезающая с годами: «Приказанием генерала Куропаткина... в 1892 г. сия дорога пробита текинцами, гокланами... под руководством капитана... Поклевского-Козелла...» (У генерала Куропаткина Зарудный испрашивал финансовой помощи для одного из своих путешествий; Куропаткин денег не дал, а получив потом



книгу Зарудного о все-таки состоявшейся экспедиции, был настолько впечатлен талантом и трудолюбием автора, что послал ему внушительную сумму, на которую было организовано следующее путешествие.)

Однажды, когда мы лазали здесь по горам с Зубаревым и снимали на видео эту надпись, все слабее и слабее заметную на легко разрушающемся податливом сланце, я, видя это пагубное воздействие времени, не удержался от соблазна и потащил в карман отвалившийся от скалы кусок камня с выгравированной на нем буквой, оправдывая сам себя тем, что камень этот все равно уже откололся и почти потерялся среди просто щебня...

Это было не обывательское стяжание раритетов, но гипнотизирующее притяжение символа, за которым скрывалась захватившая мое воображение эпоха. Зубарев тогда наорал на меня, заставил вытащить этот камень из кармана и приложить его на то место, от которого он отвалился. Вот для чего, среди прочего, нам нужны надежные спутники — чтобы удерживать иногда от поступка, за который потом будет неловко или даже стыдно».

Сейчас, когда я пишу это, сидя за тысячи километров от Багандара, я не отказался бы хранить у себя этот камень. Я включил бы настольную лампу, достал бы его из коробки и положил бы на ладонь. И еще раз впитал бы в себя детали его фактуры. Провел бы другой рукой по его шершавой серо-коричневой поверхности; проследил бы пальцем желобок надписи, вытесанной сто с лишним лет назад незнакомым мне человеком. Кто знает, может быть, бородатым служивым казак, который, вырубая эти буквы на опостылевшем солнцепеке, мечтал вернуться домой, в какую-нибудь заснеженную губернию центральной России...

И все же я благодарен Зубарю за то, что он удержал меня тогда. Потому что место этому камню именно на той самой скале, и нигде более. Его фактуру и тяжесть в руке я все равно всегда буду ощущать, как и в тот день много лет назад, а кроме меня, он, сам по себе, никому потом не будет интересен — просто камень с еле заметной непонятной канавкой...

«ДРАКА С МИЛИЦИЕЙ»

Как очарованный ходил я среди этих гигантских вековых деревьев, среди этой могучей полутропической растительности. И как нельзя лучше понял я, какую связь имеет народный эпос с лесом, среди которого и могла возникнуть идея о таких богатых, как иранские Рустем и Зораб, как наш русский Илья Муромец, — мощных и крепких, что эти столетние деревья, горделиво возвышающие свои верхушки к синему небу.

(Н. А. Зарудный, 1892)

Землю сей пустыни напоила своим ядом красная змея. До ее появления земля здесь была благодатной и цветущей...

(Хорасанская сказка)

«10 апреля. ... Новые времена принесли с собой в Западный Копетдаг не только телевидение, холодильники и кондиционеры, но также варварские рубки, катастрофический перевыпас и зверское браконьерство. Расшатывание традиционных культурных устоев через приобщение к искусственно насаждаемому социалистическому укладу сказалось не только на снижении моральных норм в повседневном поведении людей (алкоголь, наркотики и воровство), но и на отношении человека к природе.

Девственные копетдагские леса оказались полностью дорублены и в некогда непроходимо заросших горных ущельях, и на покатых водоразделах, и в долинах вдоль русел рек.

Традиционный туркменский хлеб — чурек выпекается в глиняных печках — тандырах, которые протапливаются до прогревания стенок, к которым затем изнутри прилепляются лепешки из теста. Отсюда важное требование к топливу — оно должно быть чистым, не коптить. Для растопки тандыра нельзя использовать не только уголь или торф, но и традиционные, в понимании россиянина, дрова — они тоже слишком дымят. Идеальная растопка — тонкие ветви тамарикса, произрастающего в жарком климате кустарника, формирующего тугайные заросли по речным берегам: тамарикс дает много жара, но не дымит.



Спрос на это топливо возрастает пропорционально росту и концентрации населения; в соответствии с этим увеличиваются и браконьерские рубки. Причем ведутся они все более безоглядно, без малейшего понимания того, что рубится сук, поддерживающий собственное гнездо. Уже сейчас топлива катастрофически не хватает, чурек превращается в праздничное блюдо для особых okazji, в магазине за прозаическими буханками выстраиваются огромные очереди, — усложняются повседневные бытовые проблемы, рушится привычный уклад жизни людей, на глазах исчезает важный элемент культурного своеобразия региона.

В окрестностях Кара-Калы тугаи оказались вырублены настолько, что местное руководство уже просто вынуждено было на это как-то реагировать. Обезображенные берега Сумбара с торчащими из опустевшей земли занозами вырубленных кустов решено было включить в хозяйственный оборот в новом качестве: их распахали, удалив из почвы отмирающие корни растений, являвшиеся последним сдерживающим эрозию фактором.

Результаты этого привычного для нас командного земледелия сказались уже следующей весной. Паводок после пер-

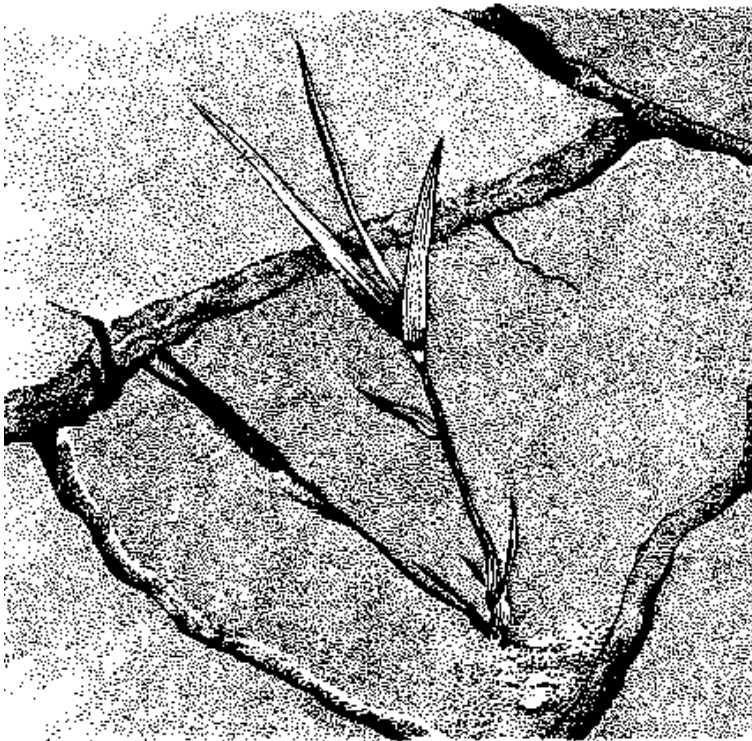
вых сильных дождей драматически изменил весь ландшафт целиком: Сумбар, исходно текущий в узком глубоком русле, закрепленном тугаями, предался бесконтрольному разгулу, — лишённые растительности и распаханные берега рушились в буквальном смысле на глазах.

Стоя и наблюдая это, не решаясь подойти к краю подмываемого обрыва, я вздрагивал от устрашающего грохота обваливающейся в воду земли: минута, и — у-у-х! — кусок берега размером с кузов многотонного грузовика рушится вниз. Через две недели после паводка Сумбар в этом месте тек среди обширных намытых отмелей, а русло его было уже не десять метров шириной, как ранее, а достигало местами двухсот метров, делая пейзаж неузнаваемым.

Жизнь тоже изменилась здесь радикально: исчезли десятки видов птиц, населявших тугайные заросли, появились единичные новые, осваивающие вновь образовавшийся ландшафт. Интересно было, конечно, увидеть летящего над водой, как где-нибудь в Вологодской области, кулика-перевозчика или стоящую на пустынной отмели цаплю, но даже ее согбенный силуэт воспринимался как траурный караул былому разнообразию птичьего мира. Я по привычке говорю про птиц, а ведь они составляют хорошо заметную, но лишь очень малую толику всеобщего хитросплетения живой природы, большей частью невидимого для непосвященного взгляда.

Случаются ли подобные явления в дикой природе, не нарушенной человеком? Конечно. Но естественные тугайные сообщества обладают удивительной способностью быстро восстанавливаться после стихийных катаклизмов, подобных селевым размывам. Измененные же человеком ландшафты, во-первых, страдают в десятки раз сильнее, а во-вторых, никогда не восстанавливаются потом в столь полной мере.

Перевыпас (а он в долине Сумбара, по оценкам сотрудников заповедника, в описываемый период превышал допустимые нормы в шестнадцать раз) еще страшней, чем рубка. Особенно козы, выедающие абсолютно все без разбора — от корней трав, выгрызаемых ими из-под земли, до кустов, коры и нижних ветвей погибающих впоследствии деревьев. На сотнях тысяч квадратных километров в Копетдаге, даже в местах,



где можно провести месяц, не встретив ни одной живой души, трудно найти один квадратный метр, не испещренный следами овец и коз. Многие урочища выбиты скотом полностью и уже необратимо превращены из цветущих степей и тенистых экзотических лесов, увитых диким виноградом, в навсегда потерянные для природы и для человека, разрушенные эрозией и подверженные засолению бэдлэнды — жаркие пыльные пустыри.

Некоторые из них, претерпевшие особо драматические изменения, потеряли не только исконные растительные сообщества, но и почвенный слой, утратив тем самым основополагающую способность поддерживать жизнь как таковую. Их безжизненный облик дал им и название — «лунные горы». Печальная метафора.

Экономические и социальные последствия подобных трансформаций очевидны. Давеча в Кара-Кале два дня под-

ряд была «драка с милицией» (мы не участвовали) — в магазине давали мясо... И это — в скотоводческой стране!»

ПТИЧИЙ РЫНОК

Гости перемигнулись друг с другом, глядя на чаши, и в душе их окрепли нечестивые помыслы...

(Хорасанская сказка)

...англичане не так жадны, как русские, которые... объявили леса казенными и стали продавать деревья их же прежним собственникам.

(Н. А. Зарудный, 1916)

«10 октября. ...Не хочу без разбора катить бочку на соотечественников (многие из которых посвятили всю свою жизнь охране природы Туркмении), но все же в немалой степени способствовали деградации природных сообществ Туркестана и выходцы из России, волею судеб оказавшиеся в этой абсолютно чужой для них природе и культуре. Понятно, конечно, что в прокаленных солнцем скалах и в пустыне истосковавшейся по родным зеленым просторам российской душе требуется отдохновение, но все же грузовики вырубаемой под Новый год (за неимением новогодних елок) вечнозеленой арчи — это слишком.

Двухметровая арча растет порой восемьдесят, а то и сто двадцать лет. Срубить ее нетрудно двумя ударами топора, но восстановить арчовые леса невозможно, даже если и попытаться это сделать. Туркмены, пока это было возможно, выборочно рубили тысячелетние деревья, используя их для строительства домов (арча — это вечная древесина, ее не повреждают даже термиты), пограничники сейчас уничтожают подрост (да, именно так, столетние деревья — это всего лишь еще молодая поросль...).

Наконец, отдельной проблемой охраны природы является контрабанда редкими видами животных. Туркмения богата эндемиками, не встречающимися в более северных широтах, цены на черном рынке баснословны; многое, вывозимое от-

сюда, уходит не только на «Птичку» в Москву, но и напрямую за кордон.

Никто не считал, какое количество редких ящериц, змей, насекомых незаконно вывезено отсюда в припрятанных мешочках и коробочках. А каким образом птенцы балобана (он — один из основных ловчих соколов, каждый экземпляр которого незаконно приносит десятки тысяч долларов) попадают из нашей Средней Азии в Арабские Эмираты?..

Во всем этом есть некая особая пакость и дьявольщина, потому что занимаются этой контрабандой люди, разбирающиеся в природе (назвать их зоологами не поворачивается язык).

Ни в кого сейчас огульно не кидаю камнями и никого не оправдываю. Меньше всего хотелось бы делать это с позиций политических или национальных сравнений. Но уж больно безрадостна действительность и настораживающи перспективы.

Но я не пацифист. И к тому же знаю, что даже эту книжку прочитают некоторые из тех, кто замешан в эти дела. Что,



джигиты, жируете? Мните себя самыми умными и неуязвимыми? Не вы первые, и не вы последние. «Добродетельный человек и злой работают каждый за себя. Бог никому не делает неправды». Придет еще, придет ваш черед...»

«ПРИКОСНУТЬСЯ ЩЕКОЙ...»

— Сушая нелепость! — воскликнула птица Симуург. — Как это судьба мальчика из Восточных земель может сочетаться с судьбой девочки из Западных!

(Хорасанская сказка)

«10 марта. Здравóво, Маркыч! Как оно?»

...В здешних туркменских обстоятельствах все чаще и чаще задумываюсь над проблемой тоски по банальной лесной зоне у «европейского» человека, пребывающего в южных странах (а ведь здесь горы, и сейчас не жарко, и это не пески, не пустыня, это рай по сравнению с Ашхабадом, Небитдагом или Красноводском).

Наверное, действительно, все решает, где вырос, — детский импринтинг. Не случайно ведь на Руси отроку не разрешалось отлучаться из дома до семнадцати лет. Потому что потом, уже куда бы ни занесло жизнью, осознание корней не развеется... У меня самого все более явственно всплывают в памяти Едимново, Островищи и Вологда, я сам среди всего этого и то, как мир постепенно расширялся, расширялся, расширялся из этих исходных точек, становясь все больше, все сложнее, но неизбежно утрачивая яркость наполняющих его образов. И оценивается все это сейчас совсем по-другому, чем тогда (там часто мечталось о неведомых странах, сейчас туда охота).

Да и позже все это было важно. Сам знаешь, каково в Балашихе сходить в леса прогуляться *за станцию*. Мы там с Леликом класса до девятого каждый день костры жгли за озером и курили подпольно, смачно прикуривая ароматизированную кубинскую дрянь («Ким», «Висанд») от тяжелых головешек, серьезно просвечивающих потаенным красным огнем сквозь сизый пепел.

Узнать бы надо, откуда это название взялось — *Мазуренское* озеро. Улавливаю я в нем отзвуки чего-то бандитско-шаловливого, посвист какой-то разбойничий. А название самой станции еще лучше: «Горенки»; прекрасное название, не замечаем уже по привычке.

Эх, как однажды на закате мы с Папаном (мне лет семь было) видели, как над этим озером десяток чеглоков на стрекоз охотились — красота: у соколов этих настолько маневренный полет, что за пилотажем и не уследишь; вывертываются в воздухе, хватают когтистыми лапами пучеглазых стрекоз, а потом только слюдяные крылышки медленно падают на неподвижную воду, в которой небо отражается: половина озера синяя, а половина — бордовая с закатной стороны. Сейчас и не увидишь ни одного чеглока в этих местах.

Вот видишь, меня зной до смерти не палил, бескрайние пески не окружали, змеи ядовитые не обвивали, я не корифей, но про леса и про озера вспоминается. Потому как сидишь иногда на бугре, и до горизонта — ни кустика. А если и найдешь что, так что-нибудь стервозное, из одних колючек. И очень легко представить, как у людей возникает в соответствующих условиях мания «повалиться в травах, поймать карася или полосатого окуня, прикоснуться щекой («как к девичьей груди») к березовому стволу»... Что еще? Насладиться «глазью озер, стремнинами рек, говором осин»...

Ведь это, знаешь ли, не так себе, переместившись в пространстве, гармонично вписаться в другую природу, в незнакомый ландшафт, в жизнь иных людей. Зато интересно. Оказываясь где-нибудь вдали от дома, в чужих краях, каждый раз ощущаю шемящую невозможность прожить жизнь встречаемых там людей и пытаюсь взглянуть на все их глазами.

Иду по солнцепеку в Туркестане, а вспомнилось, как лечу в самолете над Скандинавией; внизу, надо понимать, Европа. Все такое маленькое, скучившееся; столпотворение стран, толкотня народов, людская суета. А в океане, в нескольких десятках миль от фьордов Швеции, — пара малюсеньких островков, возвышающихся среди кипящих бурнов скальной твердью; и на каждом из них по домику. Как видят мир живущие в них рыбаки, или метеорологи, или кто



они там еще? Как относятся к соседу, дом которого виден из окна, но к которому не подойдешь запросто покурить на крыльчке. И как знакомый им мир отличается от того, что видят канадские рыбаки, живущие на таких же островах с другой стороны Атлантики? Или загорелый абориген под пальмой на тропическом острове? Или старушка с кудельками, читающая газету на скамейке в центре Осло? Или пожилой туркмен, который, опершись на лопату около арыка с мутной водой, внимательно рассматривает сейчас меня, монотонно гулкающего сапогами по укатанной гравийной дороге («клик-клик» — шагомер). Он смотрит на меня и думает, возможно, что-нибудь типа: «Что это за странный человек и откуда он взялся в километре от границы? Куда идет? Что у него на уме? Вот ведь какие люди разные; у каждого свой путь, слава Аллаху...»

Туркмен стоит и смотрит на меня, а я иду и смотрю на него. («Безразлично пройти, столично проигнорировав крестьянина-аборигена? Или улыбнуться? Это ведь и не усилие во все даже и для угрюмого или необщительного человека. Это ни для кого не усилие, но ведь далеко не всегда считаем нужным улыбнуться. Разболтались мы, капризничаем вечно, блажим, как дети, по любому поводу; катим свой гонор направо и налево; добрая воля или на нуле, или стремится к нему, а если не так, то это уже, считай, праздник...»)

Я киваю туркмену, он кивает мне в ответ, продолжая неотрывно меня рассматривать, все так же опершись на лопату и не меняя позы.

Потеплело, и птички мои фьюить — опустело все за два дня... Летает моя орнитология уже где-нибудь севернее, поближе к родным краям, где реки и озера, вокруг которых леса и полно зелени...»

НАМАЗ

В Сеистане и особенно в Белуджистане очень часто русские... отличаются под именем урус...; часто называют нас также «исаи», т. е. христианами. Странное дело, но в тех же странах англичан часто признают евреями...

(Н. А. Зарудный, 1916)

Меня привел сюда Тот, кто и меня, и вас создал...

(Хорасанская сказка)

Боже, милостив буди мне грешному.

(От Луки 18:13)

«20 мая. ...Рано утром быстро иду напрямик к горам. На соседнем склоне — отара; чабан сидит на верхушке холма, обложив закопченный кумган жарким, но быстро прогорающим (как раз чтобы вскипятить чай) костерком из полыни; крутит при этом настройку видавшей виды «спидолы» самого первого выпуска.

Вечером возвращаюсь назад по соседней гряде холмов, подхожу к той же отаре. Тот же чабан прямо на тропе (мне его не обойти), расстелив коврик для молитвы, творит намаз.

Я заметил его издалека. Он был таким маленьким на фоне простирающейся за ним долины, хребта Монжуклы, вечернего неба и уже совсем вдаль синееющего иранского горизонта. Согбенная фигура человека на коленях в глубоком мусульманском поклоне. И это было так особо — один человек в молитве среди всего вокруг.

Именно так и есть, так и должно быть: его михраб — весь мир вокруг. Я тоже в церковь специально не хожу. Потому что

я каждый день и каждый час в своей церкви... И в деревне на Волге, и в московском метро, и здесь, посреди этих холмов, на мусульманской земле...

Церковь — дело особое. С детства у меня сохранились смутные воспоминания с вкраплениями ясно запечатлевшихся сцен: я совсем маленький, еще в школе не учусь; на улице снег, нам с Мамой почему-то надо выходить из дома необычно рано. Для этого даже потребовалось встать заранее. Вся обстановка странная, Мама как-то озабочена, не шутит; собирает меня, как на работу. Я спрашиваю:

— Куда мы идем и зачем?

— Пошли, Сережа, пошли, нас ненадолго эвакуируют.

— Что такое эвакуируют?

— Это когда надо выйти из дома, отойти в специальное место и подождать там. Но потом мы опять вернемся домой.

— А почему это?

— Ох... Потому что церковь сегодня будут взрывать...

— А зачем ее взрывать?..

Церковь я помню лучше. Во-первых, потому что она долго *была*, стояла вплотную с нашим домом. Солидный купол, всегда казавшийся мне олицетворением надежности, прочности и устойчивости. Он гармонично круглил среди одинаковых своими гранями и углами пятиэтажных жилых домов с безликими клетками окон. Словно церковь никак не соглашалась с царящей, растущей и наползающей со всех сторон одинаковостью. Церковь именно не противостояла воинственно этой одинаковости, она просто смиренно не соглашалась с ней.

Но помню я этот купол так хорошо еще и потому, что мне на всю жизнь запомнилась секунда, когда его взорвали.

Мы вышли тогда на еще заснеженную улицу подмосковной Балашихи (по-моему, была весна) и сразу попали в поток других жильцов из нашего дома, так же сосредоточенно и не улыбочиво идущих в одном направлении. Толпа, как и всегда в те годы, выглядела серо-черно-синей, будучи одетой в одинаковые драповые зимние пальто с одинаковыми черно-коричневыми цигейковыми воротниками. Странно, но это помню отлично.

Как помню и солдат оцепления, необычно стоявших в нескольких шагах друг от друга вдоль улицы, по которой двигал-

ся людской поток. Сами солдаты тоже были необычными: у каждого из них на поясе висела маленькая лопатка в чехле, а назывались эти солдаты новым для меня словом — «саперы».

Мы прошли два квартала и встали за спинами солдат, стоявших уже гораздо более плотной цепью, сомкнувшись плечом к плечу. Я рассматривал их одинаковые стеганые зеленые ватники, перепоясанные коричневыми кожаными ремнями, и памятник Ленину, стоявший за линией солдат на высоком постаменте. Этот Ленин не протягивал руку куда-то вперед, почти привстав на мыски, как обычно делали другие Ленины, а стоял устало, как обычный человек, засунув одну руку за жилет под пиджаком.

У него за спиной, метрах в трехстах, спокойной устойчивой громадой стояла церковь с ее округлым куполом. На фоне ее силуэта Ленин выглядел совсем маленьким. А в толпе вокруг нас я часто улавливал слово «храм». Храм — это и есть церковь.

И вот мы стоим за цепью солдат и ждем. Сейчас храм должны взрывать. Никто вокруг не разговаривает громко, какой-то приглушенный полупшепот, и все. Я все никак не могу понять, зачем же эту церковь надо взрывать, пытаюсь спросить про это у Мамы, но она почему-то не объясняет, невесело одергивая меня:

— Помолчи, Сережа, стой спокойно.

Перед шеренгами солдат на огромном пустом пространстве внутри оцепленной зоны суетятся несколько офицеров. Они сосредоточенно заняты чем-то, быстро ходят, переговариваются, отдают какие-то приказы, кто-то убегает, прибегает назад. Интересно, о чем эти офицеры думают? Волнуются? Ведь важная у них работа...

Потом вдруг все эти движения разом замедляются, офицеры перестают командовать, и все поворачивают головы на церковь. И в толпе вокруг нас все тоже замолчали. И вдруг раздался взрыв.

Почему-то помню, что звук взрыва и картина взрыва отпечатались в моей памяти отдельно друг от друга. Я еще потом удивлялся этому. Как же так? Ведь взрыв — это и есть взрыв. Гром взрыва потому и гремит, что что-то взрывают.

Но в тот раз все было иначе. Раздался почему-то не очень громкий, какой-то приглушенный, словно поспешный, слов-

но воровато скрывающий сам себя взрыв, звук которого быстро увяз в густом, уже весеннем воздухе.

Потом купол, весь целиком, вместе с частью поддерживающих его стен, словно поднялся немного вверх и застыл на фоне неба на долю секунды, как застывает, уже начав двигаться после пуска, космическая ракета, перед тем как гордо и решительно рвануться в космос. А потом весь этот огромный купол вдруг растворился в никуда облаком красной кирпичной пыли.

Я тогда еще опять удивился: церковь снаружи не была красной, и не видно было, что она сделана из красного кирпича, а когда ее взорвали, она вдруг лопнула кровавыми кирпичными брызгами...

Совсем не помню, как реагировали на все это стоявшие вокруг меня люди, наверное, был слишком поглощен картиной, развернувшейся перед моими глазами.

Красное кровавое облако продолжало оседать тяжелыми густыми клубами за спиной у памятника Ленину, который стоял все так же устало, даже не вздрогнув от неожиданного взрыва у него за спиной. А я думал: может, этот взрыв и не был для него неожиданным? Может, Ленин *знал*?

Когда это было? Году в шестидесятом — шестьдесят первым? Мне лет пять-шесть было.

С тех самых пор (с того утра, когда раздался взрыв) я перед церковью, как зданием, как концентрацией труда и веры, робею: святое место, тут спору нет. А вот на церковную службу не тянет.

Ибо сказано: «...когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно».

Не чувствую я потребности в посреднике. Я через посредников воблу на рынке покупаю. А в моих личных отношениях с... (сами понимаете, с Кем) мне посторонние взгляды ни к чему. Потому как, если я на посредника в таком деле соглашусь, то мне сначала надо в его всамделишности убедиться, а это дело хлопотное. Есть среди батюшек святые люди, есть, не спорю и уважаю стойков. Так они и среди здешних чабанов есть, и среди московских инженеров. И так же, как среди инженеров, они среди батюшек — исключения.

А может, я не понимаю чего. К тому же я некрещеный. Но главное мне все-таки понятно.

Главное — это то, что мы с этим чабаном по сути совершенно одинаковые. И уж тем более неразличимо схожи мы для Того, Кто, может, и правда смотрит на нас с ним сверху, или отовсюду, или изнутри нас самих. Схожи в том, что у каждого из нас исходно — равный шанс... И отметку в дневник каждому из нас выставят по одним и тем же критериям. Мы — как два рядовых плечом к плечу: думаем на разных языках каждый о своем, а идем рядом в одном строю...

«Первоначально все люди имели одну веру...» Еще вспомним это... Потому как не может же дурдом продолжаться бесконечно. Напридумывали, видишь ли, «верные — неверные, ортодоксы — протестанты»... Уж на что Чингисхан «дикарь и азиат», так и то в его «Книге запретов» все просто и ясно: похулил чужую веру — башку с плеч.

Бог, он ведь для чего? Чтобы поддержать и примирить. *Когда вокруг Бога распри, это уже — от дьявола.* Тогда уж лучше так, как один мужик, который меня спросил однажды: «А баптисты — это кто? Это православные католики?..»

Через тридцать семь лет после того саперного утра и через пятнадцать лет после моей первой встречи с ястребиным орлом, проработав два года безвылазно в сугубо зарубежной стране, я ощутил катастрофическое снижение уровня русского духа в крови и понял, что мне необходимо отправиться «полетать по Руси», дабы этого духа заново «нанюхаться». Для чего поначалу почему-то отправился на Аляску, которая в моем представлении и ощущениях всегда была огромным куском *русской* земли.

Порассматривав медвежьи следы на глухом берегу реки Русская, я прошел по сухому еловому стволу, нависающему над голубовато-зелеными, быстро и ровно текущими струями, и уселся на него, свесив ноги вниз и анализируя знакомое уже ощущение, что Аляска, несомненно, все еще *продолжает оставаться* русской землей, сохраняя в себе тот самый пресловутый *русский дух*. Потому что я конечно же чувствую себя здесь явно иначе, чем в других местах того же континента, отчетливо ощущая то самое, трудноуловимое и непередаваемое *нечто*, исходящее отовсюду из самой земли, от гор, рек, деревьев и прочей «недвижимости». Многие называют это особой

энергией, которая сродни твоей душе; может, так оно и есть, не знаю, похоже.

При этом я в очередной раз привычно думал совсем не оригинальную мысль о том, что продажа Аляски была даже большей ошибкой, нежели ВОСР. Не лишишь мы Аляски, пили бы наши пограницы по-тихому водку с канадскими коллегами, слух про это быстро бы дошел до американских пограницев, они бы канадским завидовали, в гости бы к ним чаще ездили, с нашими бы пограницами познакомились... Соседство ведь всегда свои собственные тропки протаптывает... Не было бы «холодной войны», весь мир был бы сегодня другим... Политикам-то легко выгребываться перед абстрактным «вероятным противником», а когда этот самый вероятный противник сидит напротив тебя за столом и два часа с тобой на незнакомом языке разговаривает, но всем все понятно, то это уже совсем другой расклад...

Именно в этот момент у меня и выкристаллизовалось то, что подспудно зрело давно. Я понял, что, несмотря на всю окружающую меня благодать, русского духа мне здесь все же не хватает и что я должен, не откладывая, поехать по-настоящему домой, в Россию. И обязательно там покреститься.

Я прилетел в Москву и пустился во все тяжкие, нанюхиваясь русского духа *про запас* перед вновь предстоящей отлучкой.

Съездил в Смоленск на конференцию по охране природы. Смоленск — это очень русский город.

Покурил на крылечке своего пустующего и разваливающегося без хозяев домишки в смоленской деревне Ксты, купленного прямо накануне поездки за кордон и в котором я ни дня так и не пожил. В пятидесяти метрах от дома зеленым бугром с вековыми липами круглеет курган, в котором похоронены отступающие наполеоновские солдаты, а в двухстах метрах с другой стороны — свежие погрызы бобров на ручье.

Потом сгонял к родственникам в деревню в Брянскую область.

Потом провел полевую практику с первокурсниками геофака в Тарусе.

Потом опять вернулся домой в Балашиху и, занимаясь разными делами в Москве и Подмосковье, начал присматривать

ся к церквам и храмам, выбирая для себя, где же свершить задуманное таинство.

Процедура крещения во всех этих столичных местах меня совершенно не вдохновляла, раз за разом навевая ассоциации с дворцами бракосочетаний: массовое производство христиан мало отличалось от массового производства счастливых супругов. В результате я решил отложить столь важное начинание, заключив, что суетиться в таком деле смешно.

Поэтому, вместо предполагавшегося крещения я отправился в Вологду со своими друзьями-телевизионщиками: режиссером Сашей Шуминым и оператором Колей Картовым. Сашка — изыскан, как юный князь, всегда спокоен и по средам ходит с друзьями в баню. Колька — улыбчив и одержим съемкой, носится, как архар, со своим неподъемным «бетакамом», невзирая на усталость, погоду и прочие препоны.

Мы выехали вечером с Ярославского вокзала. Утром я подскочил в четыре, вышел в коридор спящего купейного вагона и стоял там у окна, рассматривая догоняющий и опережающий наш поезд рассвет и постепенно проявляющиеся, как на фотобумаге, пейзажи, столь знакомые российскому железнодорожному пассажиру: глухие полустанки, запущенные грязные станции, столбы, заборы, колодцы, леса, поля и перелески...

«Приволжье» — Волга гладкая и спокойная; «Филино» — у платформы — огромная желтая цистерна с когда-то сладкой надписью: «Патока»; «Коченятино» — грачи расселись на придорожных елках; а вот удручающе-черный, словно построенный из шпал, и частично уже разваливающийся пристанционный дом, на покосившемся крыльце которого висит вылинявший трехцветный российский флаг и стоит пожилая женщина в таком же выцветшем халате; стоит уже смертельно усталая, а ведь еще только утро (может, после ночной смены?), — это что же за станция будет? Какое-нибудь «Погорелье» или «Погост»? Нет, это «Пречистое»...

Снимали ребята в Вологде много и разное. Уникальную деревянную архитектуру, соединяющую (порой на соседних улицах) элементы стилей шести столетий и исчезающую бук-

вально на глазах: сгоревшие дома иногда подолгу даже не убирают, оставляя чернеть руинами даже в центре города.

Местных умельцев, делающих потрясающие игрушки из бересты (и, стесняясь, продающих их за бесценок на улице, чтобы хоть как-то свести концы с концами).

Музей вологодского кружевного промысла с потрясающими экспонатами. Детский танцевальный ансамбль. И многое другое.

И вот в один из этих дней все наши запланированные съемки отменились из-за дождя. Мы сидели в гостинице и точили лясы про разное, ожидая, когда нам подыщут для съемки что-нибудь, не зависящее от погоды. В этот момент позвонил принимавший нас в Вологде журналист Юра и предложил поехать снять Спасо-Прилуцкий монастырь.

— Отлично. А чего там? — спросил Сашка. — Чего примечательного наберем, сюжет какой?

— Вы что, ребята, — ответил Юра, — это же Прилуки... Он в четырнадцатом веке заложен.

Мы сели в пришедший за нами «уазик» и поехали под проливным дождем в Спасо-Прилуцкий монастырь.

Древняя монастырская стена, молчаливые башни по периметру, неподвижные и молчаливые колокола на колокольне внутри монастырского двора, тяжелое темное небо, дождь — все это создавало ощущение трудной и непарадной приземленности, парадоксальным образом обрамляя исходящее из всего этого места невидимое сияние святости и чего-то важного настоящего. Сподвижничества за веру, вот чего.

Мы, не стовариваясь, приумолкли, войдя в монастырские ворота. Колька, Сашка и Юрий незаметно перекрестились на входе; я конечно же обратил на это внимание.

Нас встретил молодой монах с отчетливыми монголоидными чертами лица; он был одет в видавшие виды ботинки, ветхую, поношенную рясу, подпоясанную затертым веревочным поясом, и в простую черную монашескую шапку. Проводив нас через двор к церковным дверям, он вошел доложить о нашем приезде.

Каждая деталь окружающего поражала меня своей непоказушной *настоящостью* и невероятным трудом, сокрытым за всем этим. Стены, заложенные в 1371 году вологодским чудотворцем Дмитрием Прилуцким, пришедшим в Вологду из

Переяславля-Залесского; башни, крытые посеревшей от времени дранкой; сложенные в арчатых углублениях монастырских стен поленницы дров на зиму; совсем не лубочно-рекламная колокольня и купола церкви внутри периметра стен. Трава местами не скошена, лошадь пасется без привязи.

К нам вышел наместник монастыря, удививший меня своей молодостью; выглядел он лет на двадцать пять, то есть был много младше всех нас. Без суеты и какого-либо заискивания перед телевизионщиками расспросил нас о деталях программы и о целях съемки, согласился дать интервью, но на вопрос, можно ли снять внутри, ровным, спокойным голосом сказал, что лучше от этого воздержаться: интервью можно записать и здесь, под сводами вне храма, а сам монастырь снаружи выглядит не менее колоритно, чем внутри... Братии же ни к чему столь явное вторжение мирского...

Когда отсняли фрагмент, он уже вне кадра рассказал, что они ежегодно получают несколько сотен, а то и тысячу с лишним просьб со всей страны допустить к постригу, но выдерживают испытательный срок лишь единицы, да и то не каждый год. Сейчас в монастыре всего двенадцать монахов.

Досняли все, попрощались, направились к выходу, и вдруг меня прямо как толкнуло что-то изнутри: «Вот оно!» Я на ходу развернулся, догнал священника, извинился и, запинаясь под его строгим взглядом, задал свой вопрос (не может ли он меня здесь покрестить).

— А что это вдруг приспичило?

— Ни в коем случае. Совсем не приспичило и уж тем более не вдруг. Но место такое, что уйти просто так не могу...

Он расспросил меня подробно и неспешно, кто я, откуда, где и что делаю; еще о чем-то, что, как казалось, не имело отношения к моему вопросу-просьбе.

Он смотрел на меня долго и строго, не стесняясь этой своей строгости, несмотря на нашу явную разницу в возрасте. Я еще больше смутился.

— Вообще мы здесь мирских не крестим. А если крестим, то очень редко. Тебя я покрещу. Приезжай завтра к одиннадцати. Крест и рубаха у тебя есть?

Новая белая футболка, купленная специально еще за кордоном, у меня была, лежала в гостинице в нераспечатанном пакете, а креста не было. Потому что я не хотел покупать лубой попавшийся, а искал такой, какой мне исходно представ-

лялся, когда я слышал слова «нательный крест». Понятия не имею, почему мне хотелось именно такой крест, я даже не помню, где и когда я его видел (ведь наверняка видел, не мог же сам придумать из ничего).

— Креста нет. Рубаха есть, — ответил я.

Наместник повернулся к постоянно присутствующему не-вдалеке молчаливой тенью монаху:

— Владимир, открой ему лавку, пусть посмотрит. — Потом он повернулся и, лишь склонив голову в ответ на мое признательное прощание, ушел вверх по ступеням.

Монах подошел ко мне и, потупив взгляд, сказал тихо:

— Пойдемте, я вам открою нашу лавку. — Мы прошли еще глубже под какие-то следующие своды, он вынул из складок рясы большой ключ и отпер им деревянную дверь из толстых досок и с огромными, во всю ширину двери, коваными петлями. Вошли в маленькую комнатку без окон с единственным застекленным прилавком. — Дело в том, что у меня всего один крест есть, последний остался, так что выбирать не из чего... — Он выдвинул из-под стекла коробку с черным подбоем и поставил ее передо мной. Там среди маленьких женских крестов лежал один-единственный мужской. До деталей точно такой, о каком я и думал с момента решения покреститься...

Должен сказать, что к этому дню у меня было уже несколько неправдоподобных возможностей убедиться в том, что Бог, несомненно, существует. И некоторые из них были куда более впечатляющими. Поэтому я не удивился. Я просто обрадовался. Быстро достал деньги, купил крест и цепочку к нему; положил на стекло солидную сумму, существенно превосходящую стоимость покупки.

— Монастырю.

— Спасибо. — Володя ответил со спокойной сдержанной благодарностью...

На следующий день в одиннадцать мы были на месте (ребята без обязательной для них камеры смотрелись странно, как не у дел). Сашка с Колькой спросили разрешения присутствовать (сначала у меня, еще накануне, в гостинице), а потом — уже на месте, у самого наместника. Тот разрешил.

Крестил он меня в старых, *исконных*, стенах под низкими сводчатыми потолками, и длилось крещение в общей слож-

ности часа полтора. А потом пригласил меня на трапезу с братией (Кольку с Сашкой не позвал).

Мы молча прошли с ним через монастырский двор под тяжелые своды уже другого приземистого здания и оказались в обширной трапезной с длинными дощатыми столами. Обед уже начался. Все двенадцать монахов ели за одним столом, а за соседним сидели еще человек десять, но без ряс. Настоятель направился к столу, за которым обедали монахи, а мне приглашающе указал на другой стол.

Я уселся вместе с мирянами, работающими с монахами в монастыре. Все они были одеты очень бедно. Нет, даже не бедно — отрешенно-аскетически, вот как. Все серое, черное, ношеное-переношеное. Они уже ели второе, а когда я подошел, кто-то сразу подвинулся и передо мной поставили старую гнутую алюминиевую миску с пустыми щами, пододвинув такую же выдавшую виды миску с крупно нарезанными ломтями черного хлеба.

Я ел, будучи буквально погруженным во весь этот, еще день назад непредставимый для меня мир, с трудом увязывая собственные звенящие ощущения с рациональным восприятием окружающего.

На второе была картошка, варенная прямо вместе с рыбой (даже будучи опьяненным этими небывалыми впечатлениями, я с трудом глотал с алюминиевой ложки картофельно-рыбные комки, отрешенно констатируя, насколько же это невкусная еда). Я видел, с каким благодарным аппетитом ели эту картошкорыбу мои соседи по столу, но сам все же сразу запил комок во рту предупредительно поставленным кем-то передо мной компотом.

Благодарность, которую я за все вместе, включая этот обед, испытал к самому месту и к этим незнакомым мне людям, живущим совершенно неведомой для меня жизнью, я описывать не буду. Получится слащаво и показушно. Но чувство этой благодарности за кратковременное, по случаю важного дня, приобщение меня, стороннего, мирского и суетного, к миру непарадной, мозольно-трудной *благодати* было у меня полностью искренним и воистину всеобъемлющим; это уже без каких-либо высоких слов. Оно и сейчас во мне такое же. Впрочем, эта моя благодарность была не только и не столько к святому месту и людям, сколько к гораздо

более важному, стоящему за всем этим. Понятно, к Чему и к Кому...

После трапезы я попрощался с моими застольниками, щедро и крепко крестившимися после еды, попрощался с монахами; отдельно попрощаться с самим наместником не успел: он поел раньше, выходя из залы, кивнул мне строго и приветливо, а чуть позже я уже видел его в окно спешащим с «дипломатом» к поджидающей у выезда машине. Видно, от мирских дел в наше время при такой судьбе, да еще и при ответственности за веру, и подавно не уйти...

Сашка и Колька ждали меня у ворот. Встретили без смеха и каких-либо обычных подколов. Мы уселись в пришедший за нами рафик и поехали назад в гостиницу. А в голове у меня вдруг запелась давно не вспоминавшаяся песня: «Я наде-ну кольцо из желе-еза, подтяну-у поясо-ок и пойду-у на восто-ок...»

Еще тремя годами позже (уже через сорок лет после утра со взрывом), проходя по улицам своей подмосковной Балашихи жарким июльским днем, я привычно кивнул Владимиру Ильичу, еще более разочарованно и устало стоящему напротив кооперативных ларьков все на том же месте в той же самой позе. А пройдя мимо памятника, вдруг увидел то, чего раньше не было.

В городском сквере, рядом с нашим старым домом, в котором мы когда-то жили, на месте взорванной церкви стоял новый деревянный крест. Прочитав надпись на прикрепленной к нему табличке, я узнал, что здесь, оказывается, был храм Святого Благоверного князя Александра Невского — одного из самых почитаемых героев российской истории.

Крест деревянный, простой, и выглядит он куда менее помпезно, чем новый подъезд и автоматические ворота частного банка по соседству, занявшего здание бывшего детского сада, расположенного во дворе нашего старого дома.

Простой деревянный крест... Символ Веры. Символ того, что, как ни избегай высоких слов, нельзя победить ни взрывами, ни обволакивающей безликостью тоталитарного однообразия, ни самодовольным богатством...

Хотя, как знать, может быть, именно наши новые банкиры и установили этот крест, взявшись за строительство здесь новой церкви?..

«Клик-клик» — стучит шагомер. Я иду по освещенным входящим солнцем холмам, еще не зная ничего ни про Спасо-Прилуцкий монастырь, ни про новый крест на месте взорванного храма в Балашихе, я просто иду, возвращаясь из маршрута и подходя к молящемуся в глубоких поклонах туркмену все ближе и ближе...

Поравнявшись с чабаном, я вынужден бестактно поздороваться. Он молча кивает мне в ответ, поражая одухотворенностью и интеллигентностью выражения лица и изысканной элегантностью самого этого ответного кивка. Неужели и вправду снисходит что-то во время молитвы?..

«Востав от сна, прежде всякого другого дела, стань благоговейно, представляя себя пред Всевидящим Богом, и, совершая крестное знамение, произнеси: «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь».

42

Птица Рух, со своими птенцами летевшая следом, тоже попрощалась и при этом дала шахзаде несколько своих перьев.

(Хорасанская сказка)

Пока я сижу у гнезда, невеселые мысли о надругательстве над природой Копетдага вновь и вновь прокручиваются в голове и никак не вяжутся с моими наблюдениями за ястребиными орлами, которые уверенно и, как мне кажется, жизнеутверждающе управляют со своими домашними делами, обеспечивая кров и стол своему пока еще не оперившемуся отпрыску — продолжателю орлиного рода...

Уже под вечер, исчерпав отпущенное мне около гнезда время, я спущусь от него на шоссе, проголосую в очередной раз попутной машине и поеду домой в кузове грузовика вместе с двумя стреноженными баранами, пытаюсь угадать, о чем они думают, и думая сам об иронии судьбы, — это гнездо, по словам живущих здесь туркменов, устраивается птицами на скале испокон веков. Ни один зоолог, приезжающий в Западный Копетдаг, не минует этой дороги. Я ездил по ней туда-сюда за все эти годы несчетное количество раз.

ПТЕНЕЦ И ШУРАВИ

Этот очень редкий в Закаспийском крае орел известен мне только для Хорасанского участка; здесь в 1892 году в средних числах мая в хр. Асильма-Даг посчастливилось мне найти его гнездо; оно было выстроено на очень высоком можжевельном дереве, росшем в глухом тенистом ущелье...; в нем я нашел двух птенцов, покрытых еще пухом, но уже с повсюду пробивающимися перьями.

(Н. А. Зарудный, 1896)

«17 июня. Здравствуйте, Сэр!

Представляете, гнездо я все-таки нашел... Как говорится: «Мы строили-строили — и наконец построили». И благодаря чему? Благодаря случайному стечению весьма неприятных обстоятельств. Парадокс. Хотя, кто знает.

Приезжаю на Средний Сумбар. Участок пять на пять км как на ладони — огромные ветвящиеся ущелья, обозримые все враз. Место уникальное по ландшафту, но цивилизованное до неприличия: основная автомобильная дорога, от нее — отвилки в горы, поселок. Что совсем хреново — вдоль Сумбара пасека; пришлый люд откуда-то из другого района гонит деньгу: выставили улья, поставили рядом бочку с сиропом, который невинные пчелки прямиком качают к себе в соты, производя вроде как «цветочный горный мед». Короче, дрын зеленый, шурави — они и есть шурави; прут на окружающую действительность как на буфет. Понятное банальное жулье, не заслуживающее упоминания, но меня выводит из себя сам факт: хамское использование вечных природных механизмов, стоящих вне морали, в аморальных целях. Пчелы не могут обманывать, но оказываются втянутыми в обман, что при всем моем цинизме бесит меня, вызывая непреодолимое ощущение гнусности.

Короче, приехал, сидел-сидел, и что же Вы думаете? Вы смотрел пару! У меня, можно сказать, торжественное событие, а они набрали высоту — и за горизонт. Я ждал-ждал — ничего. Встаю, саквояж на плечо, глубокий вдох и прямиком вслед за ними к горизонту вдоль одного из ущелий. Ноги до колен стоптал, шагомер мой весь истикался, фляги с собой не было — сплошные трудовые будни. Ни фиги. Красота непере-

даваемая, но плюс тридцать три в тени, а тени нет. Птиц даже и не видел.

Возвращаюсь, плюхаюсь без сил на исходную точку; пригнулся, сами понимаете, в поте лица размышлять о диалектике бытия, а тут вижу: они опять летят. Мотаются в пятнадцати метрах над домами, как будто так и надо...

Сижу, а у самого крыша едет: фасциатусы в поле зрения; я сижу; вокруг — пейзаж; магнитофон на пасеке на подсевших батарейках тянет музыку, которую вместе в Кабуле слушали, — абсолютно сюрреалистический бедлам, честное слово. Будто все, что раньше за последние годы бывало, не осталось в прошлом, а перемешалось с настоящим... В общем, бред. А за птиц просто животный страх: все время маячат на выстреле от пасечников. И не улетают никуда, вертятся здесь же, мои хорошие.

Сижу, смотрю сверху, изучаю с высоты человеческого геня жизнь орлов, природы и общества: вот одно, вот другое. А они летают, крутятся, всегда рядом, все синхронно: самец всегда за самкой, как тень.

Стемнело полностью; бинокль, во-первых, чужой, во-вторых, не двенадцати, а десятикратный: еле-еле самку углядел, как она уже в темноте, перелетая по скалам, на гнездо села. Хорошо еще, что углядел.

Переночевал у однорукого сторожа Нурсахата с ночным приключением (чуть до разборки с местными не дошло, но утряслось; геройски погибнуть права не имел).

Утром, еще в темноте, кусок чурека откусил — и бегом к гнезду. Представляете, в гладкой скале, посередине тридцатиметрового обрыва — сферическая дырка от конкреции! Сколько раз, мотаясь здесь, представлял, как уютно можно было бы укрыться в такой дыре в подходящем месте. Конкреции эти как каменные ядра всех калибров валяются повсеместно, а в скалах везде от них округлые емкости.

В нише (диаметром метра полтора) дно с наклоном внутрь, а основание чуть выступает из скалы небольшим карнизиком: в результате птенец в гнезде совершенно незаметен снаружи (а прямо снизу и сама ниша с гнездом не видна).

Вопреки канонам, никакой особой гнездовой постройки, просто рыхлый веник зеленых веток, поверх которых с бестолково-гордым видом сидит птенец (маховые сантиметров по пятнадцать), длинноногий, как страус. (К слову: длинно-

ногость — хороший полевой признак вида, бросающийся в глаза у сидящих птиц, которые почти всегда держат корпус горизонтально, не опуская хвост вниз.) Я этого неофита сразу непроизвольно окрестил Васечкой и просидел на нем, не отрываясь, весь день под завязку. Закон подлости: последний день, трам-тара-рам...

Родители отпрыска своего блюдут, но мелочной опекой не балуют: за одиннадцать часов наблюдений самка провела на гнезде лишь сто сорок восемь секунд (из них две минуты — в середине дня, когда притащила в гнездо в клюве метровую зеленую ветку, а потом поклевала от лежащей в гнезде пищи); остальное время летают вокруг, охотятся.

Взрослые птицы неразлучны: самец от самки ни на шаг; всюду следует за ней, как приклеенный, в пяти — десяти метрах; садится там же, где она, слетает вслед за ней. Смотрится это просто великолепно в своей изысканной эlegantности: самка, сознающая себе цену, с аристократическими манерами, и ее блистательный кавалер, который сам не промах, но при этом не просто также сознает ее цену (и первенство), но и не преминет это галантно подчеркнуть. Удаляется самец от самки лишь в моменты демонстрационных полетов, когда пикирует с огромной высоты по синусоиде по нескольку раз подряд; да и то часть таких демонстраций адресуется целенаправленно самке в качестве ухаживаний: он пикирует сверху именно к ней. Эх... Вот с кого всем нам, «кобелям паршивым» (привет там Ханум), надо брать пример...

За девятьсот шестьдесят четыре минуты наблюдений отметил девятнадцать контактов двух взрослых птиц с другими видами. В большинстве случаев они окрикивались пикирующими сверху обыкновенными пустельгами (в одном случае — сразу четверьмя соколами одновременно; в другом — всего в сорока метрах от своего собственного гнезда). Орлы на это не реагируют, лишь иногда мелко потряхивают в полете концами крыльев (выглядит это до потехи смешно, словно они стряхивают с себя прорывающееся наружу, с трудом сдерживаемое раздражение из-за этих надоедливых шумных мосек, что лают на слона). Пролетающих поблизости от гнезда стервятников сами они контролируют, сопровождают, но не атакуют. А вот беркуту достается (но в километре от гнездовой скалы они и его игнорируют).

В полной мере сознаю, что не могу претендовать при разговоре о фасциатусе на объективность, но все же птица эта необыкновенно элегантна. Есть в ней что-то, мгновенно отличающее ауру этого вида от прочих орлов, выглядящих на его фоне, я бы сказал, слегка замшелыми неповоротливыми пентюхами. Это, знаете ли, как разница между интеллигентом по рождению и по воспитанию: в обоих случаях очевидные атрибуты налицо, но мелкие детали неизменно выдают разницу.

Антураж гнездовой территории этой пары шокирует: никакого ореола загадочной птицы, избегающей человеческих глаз; абсолютный синантроп. Опять та же песня: в ненаселенке — сама осторожность, а как попривыкнет к цивилизации, так уже и никакого смущения. Восемь лет езжу под этим гнездом, а оно в двухстах метрах от дороги... Зря я Вам все это бегло описываю, устно рассказать интереснее было бы... Ладно, доживем.

Привет Татьяне!»

«ЛЕТАЮЩАЯ БАНЯ»

— Твоя просьба для меня весьма неожиданна, — отвечал шах, — некогда дал я зарок оберегать всех от летающей бани, ибо всякий, кто вознамерится разгадать ее тайну, обречен на верную гибель.

(Хорасанская сказка)

«20 мая. Дорогая Лиза!

...Сегодня видел НЛО. Точнее, — почти видел. В общем, надеялся увидеть... Регион уникальный, народу — никого, самое оно тарелкам полетать...

Так вот, иду сегодня, смотрю по сторонам на родной Туркестан в целом и на родной Копетдаг в частности и вдруг слышу отчетливый гул самолета, а самолетов здесь и в помине не бывает; ни одной трассы наверху.

А тут гудит. Но ничего не видно. Я остановился и думаю: «А вдруг не самолет?... Вдруг они? Надо их чем-нибудь привлечь».

А чем я могу их привлечь, кроме как зайчиком карманного зеркальца да небывалым всплеском телепатической энергии, заметным на фоне горно-пустынного ландшафта их точным приборам и утонченным чувствам?

Сел на камень, качаю зеркальцем в разные стороны, прислушиваюсь к звуку чего-то невидимого над головой; сосредоточился, сконцентрировал желание войти в контакт с братьями по разуму.

Зеркальце — понятное дело: в солнечном зайчике — миллион свечей, его из космоса заметить можно, а вот с телепатией как? Собрал, можно сказать, конджо в кулак, в критическую массу, чтобы рвануло посильнее, чуть ли не мычу от напряжения. А сам думаю, мол, ну вот прилетят сейчас, а что я им скажу? В зависимости от того, про что они меня спросят? А что они спросят?

— Ты кто?

— Сергей из Балашихи.

— Поверхностно. Надо глубже.

— М-м... Васин и Дашин папа.

— Это точнее. Что про вас всех здесь самое главное?

— Ничего себе...

— Не думай, чувствуй вглубь.

— То, что мы часто знаем, как надо, как правильно, как хорошо, а делаем все равно как хочется и как привыкли, поэтому — часто плохо.

— Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?

— «Хорошо» — это когда по любви и по совести (по вере), а «плохо» — это все остальное.

— Что у вас хорошо?

— Любовь и доброта — вот что хорошо.

— А что плохо?

— М-м... Нехватка чувства меры. И миллионы голодных детей.

— Ты сам хороший или плохой?

— Хороший.

— Всегда думаешь, говоришь и делаешь добро по любви и по совести?

— Нет.

— Значит, Ты плохой.

— Нет, я хороший.

— А как тогда узнать?

— А вы не узнавайте, вы чувствуйте вглубь, в главное.

— Из Тебя фиг вынешь главное.

— Ну, если бы до главного в каждом легко было бы добраться, тогда уж точно все были бы хорошие.

— *Так вы не все хорошие?*

— Не все.

— *Почему?*

— Не знаю.

— *Сдаешься?*

— Сдаюсь.

— *Потому, что вы не знаете, зачем вы здесь. Зачем живете. И не умеете быть вместе.*

— А вы, конечно, знаете, зачем вы там у себя?

— *Конечно знаем. Мы изучаем мир вокруг. Самопознание материки.*

— И вы конечно же знаете, зачем вы здесь?

— *Конечно знаем. Ты сам контакта просил.*

— Я думал, вы чего расскажете, а вы только вопросы задаете. Те же самые, что мне дети задают каждый день — детские.

— *Все вопросы о Главном — детские.*

— Интересное кино... Тогда что же в вас особенного?

— *А почему мы должны быть особенные? Потому что летим на том, чего Ты никогда не видел? Мы такие же. Почему Ты про кино сказал?*

— Не важно... Так, значит, у вас тоже, как и у нас: «хотели, как лучше, а получилось, как всегда»?

— *Да. У нас просто «как всегда» другое.*

— В том смысле, что лучше нашего?

— *Не лучше и не хуже. Другое.*

— Но техника-то у вас лучше. Вот эта, на которой вы прилетели.

— *«Эта», на которой мы прилетели, — не техника. Мы это не строили. Это у нас всегда было. Это и у вас есть. Вы использовать не умеете. Потому что вы здесь не поняли Главного.*

— Ну-у, началась философия...

— *Это не философия. Это — правда. А не нравится, так нечего и контакта просить, сидеть тужиться. Нам тоже не все нравится.*

— И что же вам не нравится?

— *Ты хамишь.*

— Как я хамлю?!

— *Если уважают, думают «Вы» с большой буквы, а Ты — каждый раз с маленькой.*

— Это потому, что с... Вами не поймешь: то ли Вас один... одно, то ли сразу много... Когда говоришь, все время такое ощущение, что Вас несколько. Множественное число.

— *Понятно уже, но объяснил Ты плохо. Можешь спросить вопрос.*

— Не «спросить» вопрос, а «задать» вопрос.

— *Не отвлекайся на неглавное. Можешь задать вопрос.*

— Что для Вас красиво?

— *Это где Ты чувствуешь, что там Красиво. Как здесь. Чувствуешь?*

— Чувствую...

— *Красиво?*

— Красиво... Так, значит, Вы друг другу можете дать почувствовать то, как сами чувствуете?

— *Мы Тебе можем дать почувствовать, друг другу нам не надо. Мы и так друг друга чувствуем. Мы — все разные, но мы — одно. Ты тоже можешь.*

— Я не могу.

— *Ты не пробовал.*

— Все-то Вы знаете.

— *Не все. Но Ты не пробовал. Задай еще вопрос.*

— Так кто же Вы такие?

— *А это важно? В «Науку и Религию» хочешь написать? Или в «Сайнс»?*

— А сами не хамите?

— *Не обижайся.*

— Я не обижаюсь.

— *Обижаетесь.*

— Опять все знаете?

— *Не все. Но обиделся Ты очень заветно.*

— Не «заветно», а «заметно».

— *Заметно. Оговорки всегда возможны, «Бедность — не порок».*

— Это не про то.

— *Сами уже видим, что не про то. А где Балашиха?*

— На север отсюда, в Московской области.

— *Значит, Ты — ЧМО березовое?*

— Сами Вы — «чмо».

— *Мы — не ЧМО. А Ты — ЧМО: Человек Московской Области.*

— Очень остроумно.

— Это не остроумно. Это правда. Можешь задать еще вопрос.

— Я уже задал: что про Вас там самое главное?

— У нас все по-другому.

— Как?

— Мы — все разные, но все вместе. Вы — по сути одинаковые, но все порознь. Это главное. Остальное — детали, не главное.

— А еще что не так?

— У вас всегда все с чего-то начинается и чем-то заканчивается. И жизнь, и кино, и зима, и дружба. У нас не так.

— А как?

— Без времени. Зато пространство сложнее. Вы грустите о времени, мы — о пространстве.

— Мы тоже иногда грустим о пространстве.

— Нет, вы грустите о времени, когда в этом пространстве находились.

— Но уж без времени материи точно не бывает. Материя и время неразрывны.

— Теоретик, Ты лучше в своих жаворонках разбирайся, если до сих пор думаешь, что это возможно.

— Все равно время — это основополагающий атрибут бытия. Теория относительности.

— Вашего бытия и вашей относительности. Для вас время очевидно, для нас его нет. Для вас Бог создал заповедник в пространстве (сад на востоке Эдема), для нас — заповедник во времени. Вне времени.

— Ну так мы в свой заповедник при жизни не попадаем. А Вы? Вот именно конкретный... конкретные Вы, Вы уже того?... Покойники?

— Нет, мы не покойники, мы так в обычной жизни живем. Просто вы прокололись в самом начале (подставила девушка вашего Адама), мы — пока нет. И у нас труднее: нам изначальный грех назван не был. Так и живем, гадаем, чего можно, а чего нельзя; стараемся быть хорошими. А как ошибемся — и нас туда же, как и вас, — в бытие со временем. Подумать страшно...

— У Вас... от Вас... кусок, вон, слева исчезает...

— Это кажется. Просто изменение мерности; такое постоянно происходит. От настроения.

— Ну так Вы хоть живые, или как?

— Живые. Но другие. Другая природа жизни; это не главное.

— Ничего себе! Мы как раз про это и гадаем...

— Вы заняты не тем. Форм жизни много, их суть одна.

— И в чем же суть?

— Первое: каждый вносит свою корпускулу в субстанцию добра. Второе: вносит больше, чем берет.

— Не ново.

— Все Главное — не ново.

— «Главное — не главное»... Так если мы такие разные, то и главное у нас разное.

— Главное — одно для всех форм.

— Субстанция добра?

— Упрощенно — да.

— Для всех форм?

— Да. Кстати, у вас здесь деревья, дождевые черви и почвенные артроподы особенно хорошие, сразу видно. И они скромнее вас.

— Как это?

— Все прощают вам.

— У нас такое антропоморфизмом называется.

— У вас много чего как называется.

— А еще что главное?

— Еще — Быстрое Начало, Первый Шаг. Каждый старается внести добро первым.

— Это просто. Что еще?

— Это не просто. И это все пока. Пока... Пока, Сергей из Балашихи, Васин и Дашин папа. Смысл запомни, про саму встречу забудь.

— Так как же я про нее забуду?!

— Ты уже забыл. Ты про мозоль запомнишь. Будь не болен!

Так я ничего в тот раз и не высидел со своим зеркальцем и дружескими воззваниями на телепатических лозунгах. И не видел ничего. А ведь гремело над головой совершенно отчетливо.

Зато на обратном пути ногу стер. Сильно. Первый раз за все время. Сам не понимаю как. Шел-шел, ничего не замечал, думал о чем-то. А домой прихожу — волдырь. Странно...

Но зажило быстро.

— Я пришел в эту пещеру, чтобы разгадать ее тайну. Теперь... я должен немедленно возвращаться назад...

(Хорасанская сказка)

Поздно вечером с Наташей, Игорем и Стасом мы открываем за здоровье ястребиного орла бутылку местного «Чемена», а на следующий день я уже лечу на самолете в Москву, возвращаясь совсем к другой жизни, множеством невидимых нитей связанной с тем гнездом на скале.

Я смотрю на облака за иллюминатором, вспоминаю жару, солнце, горы, происходившее со мной в Кара-Кале, дорогих мне людей, которые остались сейчас там, и дорогих мне людей, к которым я лечу домой.

ЖАЖДА С АКЦЕНТОМ

Невыразимо приятно чувствуешь себя, когда после целого ряда переходов через раскаленные, безжизненные горные пустыни очутишься среди массы зелени, слышишь поминутно птичьи голоса, видишь журчащую, прозрачную, вкусную воду.

(Н. А. Зарудный, 1901)

Только он приблизился к тому роднику и вознамерился было омыться холодной водой, как его окружили странные...

(Хорасанская сказка)

ЖАЖДА — общее чувство, развивающееся при обеднении организма водой... При уменьшении количества жидкости в организме происходит возбуждение питьевого центра в головном мозге, что вызывает... реакции поведенческого характера, связанные с поиском и поглощением воды...

(Биологический энциклопедический словарь)

«31 мая. ...На плоской вершине Хасара — самой высокой горы во всей округе, в понижениях среди широченного степ-

ного пространства с великолепной травой и свечками ферулы, разбросаны настоящие рощи из высоких деревьев. Заросли местами непроходимые. И что же? В этих разрозненных дебрях, сконцентрировавшись до запредельной тесноты, распевают множество самцов пеночки-теньковки! Ушам в первый момент не поверил, впору озиаться: уж не в Тарусе ли я? Уж не в Павловской ли я Слободе?

Пенка эта теоретически должна встречаться по всему региону, но в реальности я нигде ее в окрестностях Кара-Калы не отмечал; выше по Сумбару есть, а здесь нет. А на Хасаре поют, демонстрируя уникальные свойства осколков былого великолетия: эти рощицы — останцы некогда сплошных лесов сухих субтропиков Копетдага, соединявшихся с Гирканией — удивительной природной страной северных провинций Ирана — сердца Хорасана.

И что самое потрясающее — пение этих птиц (здесь свой особый подвид) по общему тембру просто на слух мгновенно отличается от песен наших российских теньковок — отчетливый диалект с каким-то металлически-вибрирующим акцентом! Класс!

Посмотрел на них, наслушался вдоволь, пошел вниз, свернул с тропы и, уже отойдя от нее довольно далеко, наткнулся на непреодолимое препятствие — полосу густой ежевики шириной от силы метров десять, но ведь не пролезть. И не возвращаться же.

Пришлось далеко обходить — опять подниматься вверх по голому, прокаленному мергелевому склону, к тому месту, где он сходится с соседним отрогом — бездарно и обидно снова лезть вверх на пути вниз.

Шел, шел, глядя под ноги на черно-буро-фиолетовый, сыпучий, словно крошенный асфальт, склон; думал, сдохну. Сегодня даже здесь, наверху, ужасно жарко, пекло такое, что от земли просто пышет жаром. Саквояж с аппаратами висит на мне, как раненый товарищ, которого не бросишь в беде. Это, конечно, не волок через перевал Восточного Саяна с рюкзаком в сорок кг, когда прешь вперед, сняв очки и не видя ничего, кроме своего ботинка, наступающего на мелкую щебенку, или на камень, или на влажную землю между корнями чахлой лиственницы, но все равно... Лезу вверх, как робот, на

одном конджо; дышу часто, а толку мало; шагомер кликает явно реже обычного.

Не рассчитывал я на такую жару. Если бы знал, не пил бы так бездумно жидкости с утра. На таком солнцепеке без питья надо ходить: прополоскал рот одним глотком и несешь потом эту воду под языком, пока все не впитается. Так можно и целый день пройти, почти не потев.

Другое дело — когда вода не дефицит, жары особой нет, пьешь себе вдоволь, но и потеешь сразу, ходишь вечно мокрый, как шенок. Это детский вариант, или американский, для развлекательных прогулок. Вроде как напряга меньше: пьешь и пьешь себе, потеешь и потеешь. Иногда такое чувство, что потеешь прямо тем, что пьешь: напился чаю, так и кажется, что потеешь сразу заваркой с чайнками... Именно так я с утра и выперся сегодня — непонятно почему пить начал без ограничений. Впрочем, знаю почему: у подножия Хасара утром почти пасмурно было, дымка такая, вроде как не жарко.

А сейчас солнцепек всюю, воды не осталось, потеть перестал (выпотел весь); пульс стучит в висках; во рту привкус крови; глаза словно надулись и выдавливаются потихоньку из орбит; наклонишься, согнешься в животе — глаза немного выпирают. Да и вижу вроде как хуже. Не зазорно — Зарудный вон пишет, что даже у верблюдов от жажды зрение сразу ухудшается. Не работа, а сплошной трудовой героизм и производственный подвиг. Как салага, честное слово.

«...один из лучших наших ишаков в этот день околел от солнечного удара...» (опять Зарудный). Да-а...

Сколько сейчас? Ну, тридцать пять — тридцать шесть максимум. Почти утренняя прохлада по сравнению с тем, как Н. А. хаживал с караваном по Ирану. Ну, так мне и в этой «прохладе» скоро начнут черти мерещиться.

«Джинны делают людей сумасшедшими, являясь и днем и ночью, главным образом в безводных местностях и в жаркое время года, когда те устанут или изнурятся. Пэри добрее. Случается, что они влюбляются в мужчин и в таком случае приносят им счастье» (опять Зарудный).

Хрен кто влюбится, когда плетешься вот так...

О, если бы испить сейчас я мог Любви твоей жизнительный Глоток!..

М-да... Вечная слава «Водкину-Селедкину»...

Все замедлилось. Птиц вообще не видно, попрятались от этого пекла. Мысли загустели, глухо падают, как куски глины, при каждом шаге. Даже не мысли, а черт-те что. Чувства, наверное.

«Клик. Клик. Клик. Клик» — шагомер. Вода. Влага. Влажность. В данном прискорбном случае явно весьма относительная...

Мне абсолютно относительная важность хранить Любви своей остаточную Влажность...

Странная фактура у этой крошки выветривания под ногами. Видимо, сквозной дренаж. Совсем не видно сортировки поверхностным стоком...

Что-то подозрительно пусто вокруг. Потому что Копетдаг — это горы в пустыне. Пустыня. Оазис. Колодец. Надо искать колодец. Или копать.

Провалится крылатый иноходец в Любви моей заброшенный Колодец...

И вот тогда-то уж мы всех рифмоплетов к ногтю... Хотя так просто не сдадутся. Упорный нынче графоман пошел. «Писаки... Французишки...» Это же надо, ни одной живой твари вокруг...

Бреду один и головой поник, но не замерз Любви моей Родник...

Не замерз? Хм... Значит, мороз. Снег и лед. Шаг. Лед. Два. Лед. Три. Лед. Лед — это твердая вода. Можно кусок льда положить в рот. Да-с. Романтика...

Стоп! Крутится кассета? Крутится. «14-28; *Sitta tephronota*, булькающий крик от осыпи у вертикальных скал; теневая сторона; перпендикуляр — сто». Слава Богу, хоть кто-то есть живой; свисти, свисти, разбойник... Про что было? Лед во рту... Хрена, а не лед. Размечтался...

Упав с высот, о дно ударит гулко Любви моей разбитая Сосулька...

Шаг. Два. Три. Четыре. А по весне в Балашихе с крыш домов свисают уже не сосульки, а огромные матовые сосулищи (с волнистыми натечными боками), которые с жутким грохотом, обламывая по пути хлипкие самодельные крыши над балконами и водосточные трубы, рушатся вниз. Пешеходы, конечно, знают о них, заранее жмутся к проезжей части,

словно предпочитая погибнуть под колесами, но все равно, как жа-ахнет рядом, бабки крестятся, а малолетняя урла ржет, радуется, что не убило. Ну и правильно. А ведь задуматься — дурдом... Мать-Россия: никогда не скучно... А уж весной и подавно.

Сосулька. Лыдинка. Лыдина.

Плывет в ночи (знакомая картина) Любви моей надтреснутая Лыдина...

Раз лыдина плывет, значит, уже весна набухла. Ледоход. Можно смотреть часами. Или слушать, как ухаёт и громыкает в предрассветной темноте. Так и кажется, что вот сейчас солнце взойдет — и этот звук прекратится. Не могут же два столь самобытных таинства являться в мир одновременно.

Фу-у... Ну и крутой же склон. И пустота. Хоть бы чирикнул кто. Цыпа, цыпа, цыпа!

Ледоход. Весна. Все тает. Половодье. Шаг. Два. Три. По. Ло. Водь. Е. Слово-то какое вакханское... Половодье — это весной. А летом что? Летом роса. Туман.

Колдует в полночь как шальной шаман Любви твоей таинственный Туман...

Туман. В Едимново за полем, перед спуском к лесу. Или над Таруской. В пять утра. Стог сена торчит округлой верхушкой из белой пелены, как мягкий темный айсберг. Туман. То же ведь капельно-жидкая вода. Вода. Вода кипит. Получаем что? Чайник? Нет. Паровой двигатель? Нет. Сначала получаем неизбежную пену. Как ни крути, а пену снимать приходится. Но все равно. Любовь гнали. Гоним. И будем гнать! Через змеевик преград и обстоятельств. И получаем что? Получаем желанный хрустально-чистый конденсат! И осадок...

Порой бываю сам себе не рад, Любви своей фильтруя Конденсат...

Это точно. Кон. Ден. Сат. Кон. Ден. Сат. Фу-у... «Пилите, пилите», Шура... Что у нас при этом еще? Пар...

Пусть движет страстью всех влюбленных пар Любви моей жаронапорный Пар...

Шаг. Пар. Шаг. Пар. «Не верьте пехо-оте, когда она brave песни по-е-от...» Вы как всегда правы, Булат Шалвович. Шаг. Пар. Паровоз? Нет... Круговорот. Облака.

Развеет тост джигита-кунака Любви моей смурные Облака...

А из облаков — тучи. Хлещет из них безжалостно тугими струями дикого дождя. Как же, как же, дожидайся здесь дождя...

И призовет, молясь, язычник-вождь Любви твоей животворящий Дождь...

Моросень. Дождичек. Дождик. Дождь. Ливень. Проливень. Хляби. Потом солнце пробивается — и радуга. А трава и ветки сирени пригнуты тяжелыми каплями. Лужи на асфальте и даже на грунтовой дороге через поле. Мокро под ногами. На болоте тоже мокро. Болото.

Облунится притворства позолота, пока пройдешь Любви моей Болото...

Ну и правильно; не все кошке масленица. Но ведь опять тошнятина банальная: раз «болото», значит, плохо. А болото — это хорошо. Никогда не скучно. Болото не только проверяет. Оно всегда открывает новое. Просто никто увидеть не хочет, все боятся на всякий случай.

А на болоте всегда особо. То сфагнум качается ковром-самолетом. То «окна» коричневеют кофейной глубиной торфяных вод. А сосенки всегда тоненькие. Потому как жизнь на болоте — без излишеств. И ягода на болоте, клюква, всегда кислая. Сиропную земляничную роскошь на солнцепеках по сухим удобным полянам ищите.

И птицы здесь серьезные, грустные; то чибис заплачет, а если подальше где, так и кроншнепа вспугнешь, взлетит со стоном. И еще росянка растет, всегда грустная, полуголодная, нежными ресницами с липкими крокодиловыми слезинками — капельками-росинками прихватывая и поспешно переваривая тощую болотную мошкату.

А туман часто не сплошь, а лишь языками-лезвиями: температура-то над мхом и над водой разная. А под ногами чавкает; мокро. Болото.

Стоп! «14-39; *Sylvia communis*; три песни подряд, верх трехметрового боярышника в расщелине крупных скал; перпендикуляр сорок». Хоть один самец при деле!

Болото... Нет, надо что-то динамичное, очищающее и освежающее... Чтобы текло. Обильными чистыми ручьями. Ручей...

Где ты сейчас, о свет моих очей?! Журчит к тебе Любви моей Ручей...

«Хрум. Хрум. Хрум. Хрум» — крошка под ногами. Ручей — это когда в марте снег тает сразу по всей Балашихе и мы с мальчишками спички пускаем наперегонки. По краю проезжей части укатано толстым слоем; протаивает щелками-каньонами, на дне которых уже чернеет давно не виданный за зиму шершавый летний асфальт.

Спички несутся, то замедляя движение на расширяющихся местах, то исчезая под нависающими снежно-ледяными бортами, а мы месим потемневший набухший снег тяжелыми резиновыми сапогами, орем друг на друга, чтобы не становился никто на края каньонов («Обломится! Завалит ручей!»), пытаюсь угадать, где же исчезнувшие под снежно-ледяной коркой спички вынырнут вновь... А местами их бешено крутит в водоворотах... Водоворот.

Затянет, хоть забот невпроворот, Любви твоей крутой Водоворот...

Крутой. По фене ботаем... А чо, в натуре? Мы же здесь не мурку пестрить, в конце концов, мы здесь по делу...

Стоп! «14-47; скотоцерка, короткий истошный стрекот в нижней части метрового держидерева, две птицы рядом; перпендикуляр десять». Во скандалистки. Прав Зарудный, похожи они все-таки на синиц. Но нет у них совсем синичьей скромности.

Водоворот. Байдарки. Восточный Саян. Месяц на Хойта-Оке. Ненаселенка. Ритуальные бурятские ленточки на культурных деревьях. Снежники на перевалах. Удивленные медведи. Ворон ярко-черно парит над сопками. Хариус стоит за камнями в быстрых струях; и вдруг на дне — огромные олени рога в идеально-прозрачной воде; глазам не верю. Мраморные скалы с бело-голубыми разводами над холодными пенистыми бурунами. Весь день, с утра до вечера, мокрый, сидишь в ледяной воде, зачерпывай хоть стаканом, хоть ведром, пей сколько влезет, а пить вообще никогда не хочется. А позади и впереди — пороги.

Не миновать пугливой недотроге Любви моей бурлящие Пороги...

О, Господи... Кошмар. «Шмар. Шмар. Шмар. Шмар» — сапоги по шебнистому склону. Бог накажет за такое... Бог накажет.

И понесет меня прямо в чистилище через Любви твоей Водохранилище...

А кому оно нужно, наказание-то? Никому. Дело-то не в наказании, а в раскаянии. И в исправлении. Чтобы стать лучше и продолжать в новом качестве. Поэтому и подсознательная надежда на то, что сначала — в чистилище; это вроде как еще не ад, а лишь предбанник ада; вытряхнут, выполощут в хлорке, ототрут жесткими щетками с вонючим мылом от наружных паразитов, поставят клизму от внутренних, дадут пинка и выкинут назад, дальше ляжку тянуть... Выговор без занесения...

Стоп! «14-54; самка *Falco tinnunculus*, резкий ритмичный крик, сидит открыто, выход скал, верх мягкого склона; перпендикуляр — сто двадцать». Что, птица, голодно? Попрятались ящерицы от жары? А ты думала? Экология... Значит, не наказание, а исправление...

Исправят пустослова и позера Любви твоей бескрайние Озера...

Байкал — это Озеро. Вода ранним утром гладкая, небо гладкое, солнце еще не встало; все в серо-серебряно-стальных тонах. Граница между небом и водой не видна и угадывается лишь по нескольким точкам очень далеких рыбацких лодок, словно нанизанных на прозрачную нитку невидимого горизонта в этой единой, светящейся изнутри воздуховоде...

«Клик. Клик. Клик. Клик» — шагомер. Байкал — роскошь; сейчас и прудик бы какой сошел. Простой деревенский пруд. А исправление воплощается в искуплении... Искупить...

Наполнят счастье, вдохновенный труд Любви моей уютный тихий Пруд...

Сомнительно... Нет, не так. Пруд... Пруд.

Мираж в пустыне: пруд, взлетает цапля... Спаси меня, Любви последней Капля!..

Так ведь это уже про другое. Всегда мы так: вместо обещания искупить — очередная мольба... Но пруд — это в любом случае хорошо... Ивы по берегам. Стрекозы летают. Кувшинки плавают на темной воде праздничными белыми чашками на блюдцах плоских листьев. А к вечеру закрываются. Мол, были вам очень рады, но чаепитие закончено, пора и честь знать... А если сорвать и понюхать, то это — лучший запах в мире; а длинный мокрый стебель холодно прилипает к руке, и по нему вода стекает, намочив рукав...

Но это лишь воспоминания из детства, потому что рвать нельзя...

Стоп! «15-01; *Lanius issabelinus*, самец, верхушка держидерева, два метра; перпендикуляр двадцать». У-у, фраер хвостатый...

Шаг. Два. Три. Ну, дают теньковки... Это же надо... Поют, понимаешь ли, про любовь. Или плачут? Слезы. Океан слез. Океан...

Питают слезы дев из разных стран Любви моей соленый Океан...

Ага, жди больше; расхорохорился... Океан. А может, Тихий океан не потому «Тихий», что он бушующий, а потому, что именно в него стекают слезы влюбленных всех времен и народов? Поэтому он и самый глубокий? И соленый. Ибо, если океан соленый, он земной, а если пресный, то это океан другого мира, на небесах. Океан пресный — океан небесный. Складно. И логично, ведь из соленого земного испаряется наверх лишь пресная вода... И становится земной океан все горше и горше. А на небесах никто не плачет. Там все только радуются. Вот и прямая связь Корана с естественнонаучным образованием.

Круговорот воды. Слеза с девичьей щеки в Туркмении оказывается частицей облака в Вологде. Или снежинкой на Аляске. Или льдинкой на Аннапурне. Потому как каждая конкретная капля воды всегда связана с каждой другой конкретной каплей. Они — одно Целое. Каждая из них и существует-то лишь благодаря тому, что они — одно.

А как же Любовь? Каждая конкретная любовь так же связана с каждой другой конкретной любовью и так же питает одна другую? Конечно связана... Переход прошлой любви в настоящую. А настоящей — в будущую... Хм...

Стоп! «15-06; черный гриф и три сипа, все взрослые; круговое парение, двести метров над верхом гряды; медленно смещаются к северо-западу; дистанция двадцать — пятьдесят; перпендикуляр — восемьсот». Слава Богу, а то как будто и не в горах.

Ошибка, нельзя было так с водой обращаться, а уж тем более до конца допивать — как салага все равно... Юннат... Интересно, почему же я в детстве «боржоми» не любил? Во дурак-то...

Ага! «15-08; взрослый бородач круговым парением направленно к западу вдоль гряды; высота сто двадцать; перпендикуляр четыреста; нет одного рулевого в правой части хвоста». Откуда это он? Из хасарской пары? Наверняка из хасарской, откуда же еще. Лети, лети, мексифель, ищи свою деликатесную дохлятину; а может, и живого кеклика где прищучишь...

«Клик». «Клик». «Клик». Железка — она и есть железка, кликает... А круговорот любви проистекает. Всегда и везде. Повсеместно и непрерывно. Моя любовь растворена в твоей. Твоя любовь смешана с... его? Хм... Его любовь — с ее. Ее любовь — с моей... И это все взаимно?! Ну-у, ребята...

А что?.. Круговорот Любви в Природе. И в Обществе. И во Времени.

Круговорот Любви!

Браво! Заголовки в газетах: «Открытие века! Нобелевская премия в области Любви присуждается в этом году...» — и я выхожу на сцену во фраке и с саквояжем на плече... И стою потупившись, скромно так, в третьей позиции, приглаживаю ковер на сцене носком лакированного ботинка: мол, да чего уж там, да ничего особенного, зачем вы, право, все это затеяли...

А председатель Нобелевского комитета подносит мне хрустальную вазу, здоровенную, как хоккейный кубок. Запотевшую и наполненную холодной водой. Еле держит ее за две изогнутые ручки, аж кричит, а на граненом хрустале капельки. И говорит, мол, да ладно уж, не скромничай, пей, раз заслужил; мы тебе еще нальем...

Но ведь надо еще сначала экспериментально подтвердить изящную теорию. А экспериментировать на людях нельзя. Значит, никуда не денешься, придется жертвовать собой...

Пусть я погибну от сердечных ран, вам не заткнут Любви моей Фонтан!

Ну что ты будешь делать, совсем пусто вокруг... Сиеста. Алё-о! Есть кто живой?! Фу-у-у, жарко...



И не иссякнет, в это верю я, Любви моей кондовая Струя!

«Ква-а-су-у!!» Можно бы и гаркнуть от полноты чувств — птиц нет, испугать некого — так ведь все равно эха не будет на жаре...

Все еще не дойдя до нужного отрога, я вдруг воспротивился своей рабской психологии и безропотной восточной покорности судьбе; решил, что называется, бросить вызов. Коммунист я, или где? гордый строитель, или что?..

Нашел место, где растет здоровая чинара: под ней тень, и ежевики там меньше. Чертыхаясь и обкалывая руки о колючие побеги, проделал ножом в стене ежевичных ветвей дырку в метр диаметром и протолкнулся в нее ногами вперед, натянув панаму на глаза и прижимая саквояж с аппаратами к животу.

Свалился прямо в ручеек, на сплошной ковер опавших платановых листьев, под полог, куда и свет даже не проходит; как говорится, «под сень». При этом вспугнул от воды нескольких кекликов, которые в панике ломанулись сквозь дубли, как кабаны, оглашая округу истошным возмущенным кудахтаньем. А я сижу на сухих листьях и думаю: «Те, кто веровал и делал добрые дела, будут введены в сады, где текут реки... Они найдут там чистых женщин и вечную тень...» Понимал Мухаммед, что к чему.

Умыл рожу, смыл кровь с исцарапанных рук, но не пью сразу, как умирающий, хоть и могу уже попить («Конджо у меня или не конджо?»); стал подниматься прямо по руслу, выбрался к удобному местечку. Там расширение ручья, прозрачная мелкая лужица, по берегам которой на мокрой земле сидят сотни голубых и оранжевых мотыльков — всем жарко, все пьют.

Ну, я саквояж скинул, ручеек просмотрел, вроде черепах дохлых в нем не валяется (как давеча, когда попил водички, а потом нашел выше по течению аккуратный побелевший трупик), выбрал место почище, набрал воды в давно пустую фляжку, бросил кристаллик марганцовки (все же птички какают, кабаны писают), разболтал и засосал всю флягу целиком за один присест, как клещ. Потом разделся, вымылся весь, зачерпывая горстью мелкой воды, и еще две фляги почти подряд выпил, а ведь они по ноль восемь. Никогда раньше так и не пил. Такое ощущение, что сначала все льется в без-

донную пустоту, а потом — будто во всем теле булькает, и в ногах, и в руках, и в голове. Но впиталось быстро.

Наплескавшись в ручейке, сел, съел карамельку в тенечке и еще одну флягу уже медленно, частями (про запас) выпил. И снова тонус великолепный; бывает же такое — не просто здоров, а чувствуешь, что прет из тебя энергия.

Иду дальше вниз и думаю, чего бы такого сделать хорошего, а у самого в голове: «Тень-тюнь-тинь...» — все та же особая песня теньковки, — как стихи с необычным акцентом...»

КОРМЯЩИЙ ОТЕЦ И ВОВИК

— О мудрейшие из мудрых! Наш новорожденный не берет грудь ни у одной из кормилиц. В чем тут причина?

(Хорасанская сказка)

«15 мая. ...Едем с Переваловым в вольеры на Пархай кормить джейранят.

Они носятся вдоль сетчатого забора, не подпуская к себе и не подходя сами. Перевалов, разговаривая с ними ласково, как с малыми детьми, начинает кормежку с «ментора» — маленького беленького козленочка, назначение которого — научить джейранят не бояться кормильцев. Козленочек сосет молоко за милую душу, но дикие парнокопытные дети, даже глядя на это, в очередь к соске не выстраиваются. Нам приходится их ловить по одному и кормить, удерживая насильно. Интересно, что, будучи пойманными и прижатыми к животу, длинноногие малолетки перестают нервничать и охотно берут соску.

Лишь одна девочка Номер Семь (с большой черной семеркой на боку, нарисованной несмываемым урзолом — краской для меховых изделий) подскакивает к нам сама, требуя молока. Она накидывается на соску с почти недетской алчностью, вся дрожит от возбуждения, переступает тонюсенькими ножками, а ее черный хвостик крутится при этом из стороны в сторону со скоростью, обычно не свойственной живому организму или каким-либо его частям. Потеха.

Покормив зверей, на обратном пути зашли с Серегой на озеро в Игдеджик искупаться. Не жарко, градусов тридцать, но

хватает, по холмам вверх-вниз с саквояжем все равно идешь взмыленный («клик-клик» — шагомер; Перевалов смеется: «От тебя, П-в, всегда тикает в такт шагам, как от робота»).

Озеро это — не озеро, а пруд; перегорожен ручей плотинкой, вот и набирается зимой вода (для полива ВИРовских участков в Игдеджике). Но на пруд вовсе не похоже: уровень воды все время скачет, поэтому никакая околородная растительность не закрепляется по берегам; лишь в одном месте торчит какая-то жалкая куртинка камыша (тоже на грани выживания, как и многое другое здесь).

Но зато сама вода чистейшая (ни простейших в ней, ни водорослей), ярко-голубая с морским зеленоватым отливом (из-за солей), — фантастика; как кусок океана посреди холмов.

На берегу рыжая цапля меланхолично сидит с лягушкой в клюве. Наверное, не голодная, мусолит эту амфибию, словно сетуя на такую непрезентабельную еду.

Плескались с Переваловым минут сорок, вдоволь. Он плывет — тощий, длинный; спина загорелая до черноты, как у негра; вода ее обтекает, капли блестят на неугомонной шевелюре; на черной физиономии усы торчат и белки глаз сверкают — абориген аборигеном; ландшафт вокруг — голые многоцветные холмы, — словно мы не в Кара-Кале, а в лагуне на тропическом острове; пальм только не хватает.

Вылезли на берег — сразу правда жизни: никогда не видавшие солнца ноги у Сереги молочно-белые; шорты здесь не приняты (не поймут туркмены), без штанов не ходит, а загорать специально в этих краях — это как в тундре на лыжах кататься без нужды для развлечения. Торец черный, а ноги белые; кино. Я ему:

— Перевалов, ты своей двуцветностью опровергаешь все законы генетики и наглядно олицетворяешь неизбежный дуализм европейца в Азии: приспособливаешься, рожей и спиной уже черней туркменов, а в подштанниках все равно твоя исконная натура кроется...

А он мне:

— Молчи уж, бледнолицый, не проявляй так откровенно свою веснушчато-рыжую зависть к моему загару.

После купания он потащил меня в микрорайон допить шампанское, купленное по поводу того, что вся дружная молодежная коммуна сотрудников заповедника разлетелась по полям кто куда, оставив Сереге и ОБП полтора дня уединения.

Жизнь в заповеднике, при всей интересности работы в природе, не сахар; я бы не смог. Идиллия идиллией, все молодые, все интересующиеся работой, никаких особых конфликтов, керосин друг другу в щи никто не подливает, но от постоянного ограниченного круга общения и невозможности уединиться иначе как в поле усталость накапливается неизбежно. Вряд ли кто-либо из всех этих ребят продержится здесь действительно долго.

Когда Андрей Николаев лишь раскручивал Сьунт-Хасардаг, стягивая в Кара-Калу яркую, самобытную молодежь со всей страны и заражая всех своей энергией и видением будущего, эйфория вдохновенного начинания ощущалась во всем. Николаев напористо шел вперед со своими идеями природопользования и заповедного дела; крушил инерцию устоев; долбил старую *неправильную* советскую власть новыми *правильными* указаниями все еще советской власти.

Это было удивительное время взаимной поддержки, открытого общения, веры в успех и предчувствия великих перемен. Николаев щедро делился с каждым своими идеями. Во многое, о чем он говорил, тогда не верилось; сейчас справедливость многих его слов очевидна.

До скептических суждений по адресу такого-то или такой-то, до голосований про снятие с поста директора самого Николаева (который помог многим из этих ребят взглянуть на дело и на собственную в нем роль широко и давшего всем им шанс развернуть свои способности и таланты), до петиций в первичную парторганизацию по этому же вопросу было еще несколько лет впереди.

Будучи пришлым, но зная всех с самого начала их работы в Кара-Кале, я во время своих приездов вдохновенно общался со всей заповедниковской братией. Единственное, что неизменно вызывало и вызывает у меня острое чувство несправедливости, так это развитие отношений между директором заповедника Андреем Николаевым и некоторыми другими сотрудниками. Кто-то из работавших с ним людей так и не оценил того, что Андрей вдохновил их всех на новое дело и предоставил им свободу мысли и деятельности. А ведь это было тогда принципиально. Это было преддверием всех тех последующих глобальных перемен в нашей жизни, которые изменили всех нас и всю страну неузнаваемо.

Откуда знаю про это? Оттуда, что я был первым, на кого обрушились идеи и провидение Андрея еще до того, как в заповедник приехал первый научный сотрудник. Я уже работал в Кара-Кале, когда Николаев впервые появился там; наше знакомство возникло спонтанно и естественно: я ходил по горам, будучи москвичом, изучавшим птиц, Андрей приехал в ВИР, как новый директор еще лишь на бумаге созданного Сьунт-Хасардагского заповедника.

Он часто затаскивал меня к себе на кухню и вдохновенно описывал, что и как надо сделать, с уверенностью объяснял, что и как будет сделано. Порой я, вырвавшись наконец от него, лишь изможденно вздыхал, приходя в себя от этого каскада идей и концепций, но вслед за этим невольно задавался вопросом о том, что из планируемого действительно удастся и откуда он сам, Андрей, такой взялся.

А взялся он из плеяды активного ядра бывших выпускников МГУ, ставших впоследствии «факельщиками» в Новосибирске, — создавших объединение «Факел», оказавшееся намного опередившим свое время прообразом «нового мышления», рыночной экономики и всего прочего, сменившего позже заплесневелые устои кондово-планового социалистического уклада. Их всех разогнали тогда, основательно дав по рукам, но ведь люди-то остались те же.

Помню, как однажды, зайдя в микрорайон после маршрута, сбросив в углу прихожей пыльные сапоги и многострадальный саквояж, я застал там шумный молодежный коллектив, в котором счастливый смех спонтанно возникал даже без особого повода.

Я сидел в углу большой комнаты, которую разделяли в качестве гостиной Переваловы и еще одна семья, смотрел на лица крутящихся взад-вперед ребят, прислушивался к разговорам и думал о том, как все вокруг потрясающе привлекательно, молоды и как все у всех на подъеме. В это самое мгновение сидящий у окна Валерка встал, вытащил из кармана сигарету и, чертыхнувшись с неверием собственным глазам, высказал вслух мою мысль:

— Ё-моё, ребята, какие же вы все красивые!..

Если бы мог обратиться сейчас ко всей былой молодежной коммуне Сьунт-Хасардага, сказал бы так: «Ребята! Когда сегодня вспомните ненароком бывшие счастливые времена в Турк-

мени, вспомните уж и о том, что обязаны ими вы все были именно Андрею Николаеву. Так будет справедливо».

...Отвлекаться от неизбежных трений замкнутого коллектива в заповеднике помогают местные сенсации. Сейчас все обсуждают, как на Юру в горах прыгнул леопард. Мужик сидел на корточках у костра; тут зашипел, переливаясь, закипевший чайник, Юра кинулся к нему, и в это мгновение на место, где он сидел, бесшумно приземлился леопард. Поняв, что промазал, кот почти в воздухе развернулся на девяносто градусов и вторым прыжком исчез в темноте.

Поразительно. И совершенно необъяснимо. Было необъяснимо, пока Юра не упомянул, что незадолго перед стоянкой рассматривал и трогал остатки не доеденного леопардом кабана...

Мы сидели с ОБП и Переваловым, обсуждали это, допивая шампанское пополам с местным самодельным абрикосовым компотом — сказочным райским эликсиром, соединившим в себе силу здешнего солнца и туркменской земли (незаметно и щедро подложенным Муравскими ребятам в машину), как вдруг открывается дверь и в нее входит Вовик с сонной мордой; я его в первый момент даже и не узнал.

Вовик — это рыжий кот, живущий в микрорайоне у всех сотрудников сразу. А не узнал я его потому, что вся его рыжая шкура была, как у тигра, раскрашена черными полосками. Перевалов, по-отечески глядя на кота, уже явно смирившегося с этим унижением, поведал, что, когда метили джейранят, остался разведенный урзол, ну не выбрасывать же было его... Вовик так и ходил тогда тигром полгода, пока не перелинял постепенно полностью...»

44

Шахаде, восседая на спине у Рух, внимательно осматривал местность, над которой они пролетали...

(Хорасанская сказка)

Облака за иллюминатором плывут по своим делам, а я лечу по своим и думаю о том, что четыре года назад, после вто-

рой встречи орлов у Коч-Темира, имел ведь равные шансы продолжить наблюдения там или где-либо еще. Мы даже поговорили тогда об этом со Стасом, но уж больно населенным и освоенным казалось это место. К тому же, вернувшись в заповедное ущелье Ай-Дере, мы отвлеклись на ловлю змей (тогда я, чтобы попробовать, поймал первую в своей жизни кобру) и на общение с собравшейся там пестрой веселой компанией.

...Живший на кордоне Шурик Карпенко — егерь охраны, сидел в Ай-Дере без транспорта как без рук. Тощий, длинный, вечно злой и не устроенный в жизни, но абсолютно непродажный (его так никому и не удалось ни разу подкупить), он стал для меня символом трудной, неудобной, но воистину бескомпромиссной честности.

Иногда, выходя утром на крыльцо и буркнув под нос, мол, хватит спать, он оглашал туркменский поселок неумелым воплем пионерского горна, купленного за рубль на ашхабадском базаре. Меня он звал «Поползнев».

Один раз я зашел к нему домой, когда он сидел на протертом диване напротив телевизора и сосредоточенно курил, внимательно глядя на темный экран.

— Проходи, Поползнев, садись. Не удивляйся, телевизор не показывает, только звук. Сижу слушаю кино...

Через некоторое время у кого-то из соседей тоже сломался телевизор: звук исчез, но изображение осталось. Они поставили два этих ящика рядом у Шурика в комнате, и иногда туркменская семья, стесняясь, извиняясь и принося Шурке чурек с вареньем, приходила к нему вечером посмотреть свой и послушать его телевизор.

Потом Шурик перебрался в Ашхабад, занимаясь в Копетдагском заповеднике отловом ядовитых пауков и скорпионов (их яд еще ценнее, чем яд змей). Два холодильника в его квартире были заполнены спичечными коробками с этой нечистью, а полки на кухне были заставлены бесконечными рядами трехлитровых банок, ведрами и полиэтиленовыми пакетами, до краев заполненными высыпанными из коробков спичками, просто выбросить которые он не мог («Вы



что, сколько на них древесины потрачено!»). Он при мне убеждал соседа купить у него эти спички за бесценок, что дало бы возможность всю зиму топить печку одними спичками — гораздо дешевле, чем закупать дрова... Сам же он громко ругался по утрам, выйдя на кухню закурить, потому что спичек везде было тьма, а вот чиркнуть бы-

ло не обо что: коробки со скорпионами и пауками, вынутые из холодильника, всегда были слегка влажные, от них не зажигалось...

Одна комната в Шуркиной квартире пустовала уже две недели, потому что там жил котенок дикого камышового кота, отказавшийся приручаться и кидавшийся на людей. Его притащили из тугаев совсем малышом, потом он поменял несколько хозяев, ни один из которых не мог с ним совладать, и в конце концов оказался у Шурика.

Кормили этого агрессивного постояльца, приоткрывая дверь и закидывая туда кусок мяса или добытого для этого воробья.

Позже подобная ситуация имела место в Москве у моих друзей-ботаников. Доцент Королькова — сердобольная мягкая душа, поддалась уговорам своего сынули-шалуна (студента-биолога), и они согласились передержать недельку в московской квартире двухметрового крокодила, которого лишь на третий день удалось накрыть перевернутым шкафом, но это все же был крокодил, а не малюсенький комочек меха, напичканный злобой и коварством.

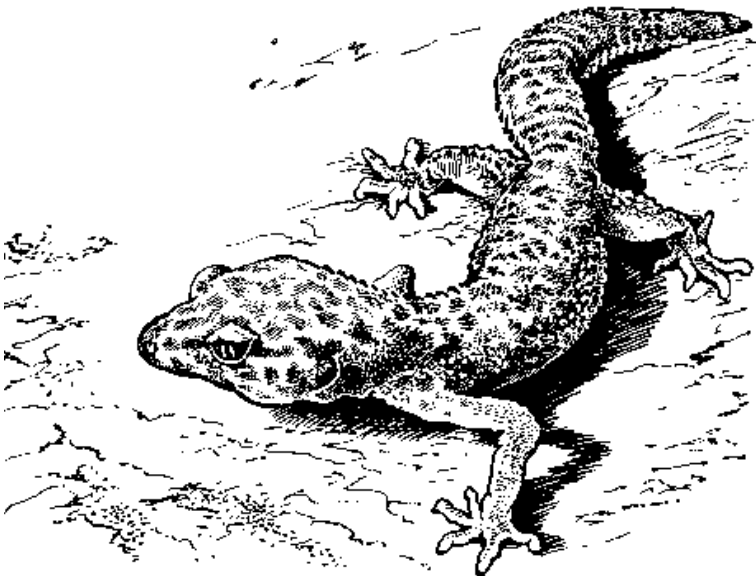
Если нужно было достать что-то из находившихся в комнате вещей, Шурик брал швабру для самообороны, приоткрывал дверь, заглядывая внутрь и высматривая, где притаился этот демон. Иногда присутствие котенка выдавала лишь складка, пробегающая по висящему на стенке ковру: звереныш умудрялся лазать по нему до самого потолка изнутри вдоль стены.

Шурик бегом заскакивал в комнату, хватал, что требовалось, и пулей, матерясь, выскакивал за дверь. Свою окончательную судьбу этот котенок нашел в Ленинградском зоопарке.



...Какая-то деуля-красотуля юных лет, непонятно откуда взявшаяся на кордоне, непонятно что там делающая (претендуя на божественность и демонстративно медитируя под заунывные звуки флейты), непонятно куда потом исчезающая. Такая публика нередко встречается в заповедниках и прочих далеких от цивилизации местах с красивой природой и увлеченными людьми, которые эту природу изучают.

...Владислав Белов — колоритная фигура, зоолог и художник из Питера, пострадавший в свое время за диссидентские взгляды. Он рассказывал о том, как, будучи упрятым в психиатрическую больницу и изнывая в изоляции от жизни, тайком держал там в пыли, собранной с пола в полиэтиленовый пакет (подобие почвы), дождевого червяка... Приезжая весной в Ай-Дере, он изучал леопардов и бабочек, рисовал и занимался отловом змей, чтобы подработать (получив после освобождения «волчий билет», в городах он не мог устроиться на работу даже дворником). В тот сезон он поймал кобру, уже в мешке отрыгнувшую только что съеденного туркменского зублефара — редчайшую ящерицу, представленную к тому времени в научных коллекциях всего несколькими экземплярами. Бывает же такое!



Крупный мужчина с внушительной рыжей бородой, Владислав, будучи змееловом, пережил несколько укусов гюрзы и кобры, но позже лишь чудом останется жив после укуса мелкой, невзрачной эфы: отправившись в тапочках ловить бабочек около кордона заповедника, он получил в ногу два укуса.

Выглядело это ужасно: когда я пришел на Пархай, он лежал в захлавленном душном вагончике в куче скомканных грязных спальников и буквально умирал от почечных колик, с какой-то фатальной агрессивностью отвергая врачей, «скорую помощь» и чье-либо официальное участие. Мне казалось, что он настолько ненавидел систему, что ему легче было сгинуть самому, чем принять что-либо от государства. Он клял эту эфу («...даже не зашипела предварительно»); смеялся над собой; грелся, выйдя ко мне, на солнышке у вагончика и брызгал кровью на кустики по малой нужде...

Потом ему станет хуже; потом за ним прилетит вертолет из Ашхабада; потом, перед явным концом, к нему вызовут родственников. А потом, уже окончательно признав ситуацию безнадежной, врачи почему-то не отключат аппарат искусственной почки в положенный по инструкции день, а на следующее утро ему станет лучше.

...Евгений Панкратов — несомненно один из наиболее самобытных и талантливых ученых, с которыми мне приходилось общаться. Он часто хмур, но у него веселое, всегда готовое посмеяться лицо, а наша шустрая молодежная компания уважительно дразнила его «классиком отечественной биологии» («Классик, идите, чай готов!»). Он периодически приезжал в Копетдаг, занимаясь поведением птиц и ящериц, мы виделись там неоднократно; общение с ним дало мне многое.

...Митька Дельвиг — зоолог, мышатник, бесшабашная душа; мой давнишний близкий приятель, с которым мы, будучи студентами, путешествовали зимой по заснеженной архангельской тайге.

Мы были тогда в снегах вдвоем с ним и с Жиртрестом и, решив не сквернословить слабовольно вдали от цивилизации и от облагораживающего дамского общества (я вообще мат не люблю), установили штраф в один дефицитный мелкашечный патрон за каждое непечатное слово.

Однажды вечером я вышел из охотничьей избы на мороз выплеснуть грязную воду после мытья посуды, а входя назад, оставил на железной ручке входной двери кожу с мокрой ладони и весь отпущенный мне на остаток жизни запас непечатной лексики и все причитающиеся мелкашечные патроны сразу...

А несколько лет спустя Митяй вместе с моими родителями и близкими друзьями провожал меня из подмосковной Балашихи в мою первую поездку в Туркмению (Чача, Андрюня, Ленка, Эммочка, как вы там?..).

Мы все вместе любовались красотами Ай-Дере; фотографировали на закате птенцов филина в нише на скале; расходились днем в маршруты кто куда, а теплой ночью, когда спадала жара, сидели около вывешенной Владиславом сильной лампы, рассматривая прилетающих на ее свет бабочек; пили зеленый чай; острили; обсуждали жизнь, любовь, природу, свои зоологические и прочие проблемы, включая и ястребиного орла. Прекрасные были времена...

45

Знай же, что в своем намерении я тверд, ибо у необходимости нет выбора...

(Хорасанская сказка)

Вернувшись домой, я готовлю публикацию и передаю ее в материалы орнитологической конференции, где уже лежит предыдущая заметка, написанная мною же, но под двумя нашими с Игневым фамилиями, предварительный и половинчатый материал.

Числясь членом оргкомитета, я имею возможность подать публикацию в последнюю минуту, но взять вторую статью редколлегии уже не может; заменить одну на другую могут, а напечатать две — никак: перебор объема, да и сборник полностью готов. Заменяю прежний материал, написанный на основе своих работ и одного наблюдения Романа, в котором он сам изначально не был твердо уверен, на новый — это справедливо. Публикация данных о гнезде формально позволит начать еще долгую и муторную работу по включению фасци-

атуса в Красную книгу СССР и Туркмении, что без документально подтвержденного факта гнездования невозможно. Отснятые у гнезда слайды идут в печать при подготовке орнитологических изданий — это первые иллюстрации по ястребиному орлу на территории СССР.

Как и следовало ожидать, замена мною тезисов про определенных пост-фактум летающих молодых птиц на информацию о первом жилом гнезде теплоты в наши отношения с Романом не добавила. «Се ля ви»...

46

Очутившись в воздухе, султан... лишился чувств, а когда опамятовался, то обнаружил, что находится в незнакомой стране, а перед ним сидит какая-то женщина...

(Хорасанская сказка)

Жизнь развивается стремительно, и с момента описываемых событий много всего произошло. Детальное описание местоположения гнезда я еще до отъезда в Москву передал сотрудникам Сьунт-Хасардагского заповедника, и оно стало специально охраняемой орнитологической достопримечательностью. За ним велись наблюдения местными сотрудниками, а потом мы наблюдали его с канадскими, американскими, российскими и туркменскими студентами. Эту пеструю компанию — экспедицию, организованную консультативной группой «ЭкоПол», мы привезли на Сумбар с моим коллегой-орнитологом, бородатым, вежливым и добродушным Андрюшей Зиминым, только что вернувшимся из Африки.

Это была особая эпопея, в равной мере экзотическая и праздничная для всех участников — кому знакомством с Туркменией, кому общением с американцами и канадцами.

Мы все вместе путешествовали по самым примечательным в этом крае местам. Испытывали радиопередатчики для птиц и учились использовать радиотелеметрию. Безуспешно пытались ловить грифов, разложив в качестве приманки аппетитный труп ишака. Мы несколько часов проторчали тогда с Гэри в палатке на вершине горы, наблюдая за этим трупом в би-

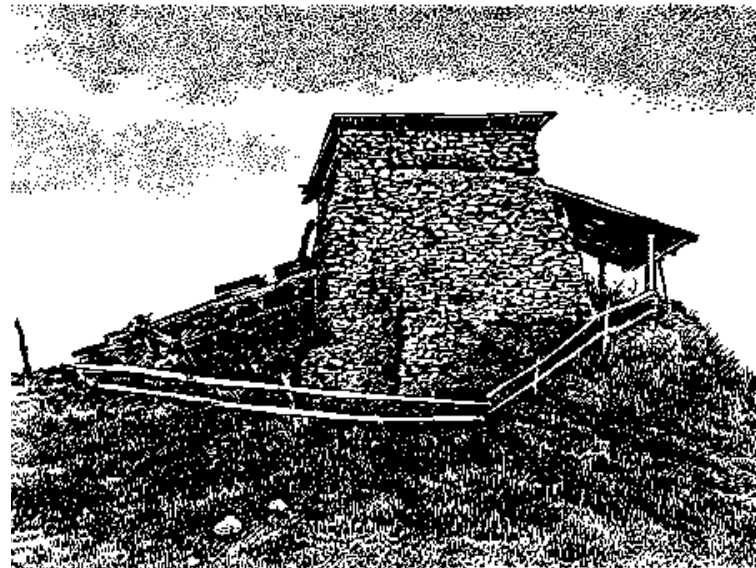
нокли и переговариваясь по радиации с сидящим у ловушки в за-саде черноглазым и смешливым студентом Виталькой Виноградовым, но никто к нам тогда так и не прилетел: погода была уж очень неподходящая для охотничьего парения грифов или сипов, никто из хищников вообще не летал в тот холодный ветреный день.

Зато поймали накидушкой сычика и потом фотографировали его со всех сторон, когда он спокойно и беспомощно лежал на спине на открытой ладони, лишь крутя на всех нас головой с огромными желтыми глазищами. А когда Джейн его выпустила, подкинув с руки, он взлетел и на лету брезгливо встряхнулся, словно стряхивая с себя следы наших бестактных неуместных человеческих прикосновений.

Потом Джейн уронила в азиатский нужник подсумок со всеми паспортами, авиабилетами, рублями и долларами, и я, из ложного гуманизма отогнав подальше наших интуристов, провел восхитительный час почти свесившись носом в очко и безрезультатно пытаюсь нащупать пропажу палкой на дне глубокого водоема, своим видом и запахом наводившего на мысли о черной стороне потустороннего мира. Оторвавшись от этого вдохновляющего занятия, я курил в теньке, привалившись к забору и приходя в себя, когда сменивший меня Стасик выловил-таки эту «золотую рыбку», за что сразу получил прозвище «Супер-Стас».

С Джейн мы общаемся постоянно. Она преподает в Нью-Йорке детям полевою экологию, учит их видеть то, что не очень заметно в повседневной американской жизни; рассказывает им индейские легенды про камни, воду и ветер, а иногда — и про далекую неведомую птицу, похожую на повсеместный американский символ — белоголового орлана, но совсем другую по характеру. Когда ее ученикам задали написать сочинение про человека, оказавшего на них важное влияние, шестнадцать пятиклассников из двадцати написали про нее.

Один из канадских студентов — черноусый хохотун Хаджир, будущи эмигрантом из Ирана, разгова-



ривал во время наших путешествий с туркменами на смеси туркменского, фарси и пушту.

Наслаждаясь древним слогом и хлопая себя от восторга по ляжкам, он читал нам вслух арабскую вязь из бейтов Махтумкули на стене могильника у Шевлана (святое место у южных предгорий Сюнта), переводя текст на английский.

Через два месяца я прилечу в Канаду на Ньюфаундленд и первое, что увижу, выйдя из аэропорта, — физиономию Хаджира, окаменевшую, а затем вытянувшуюся при взгляде на меня: подрабатывая шофером такси, он кинулся тогда ко мне, как к очередному клиенту. Он признался, что, продолжая ежедневно жить копетдагскими воспоминаниями, в первое мгновение вовсе и не удивился моему появлению, а парализовало его секундой позже от сознания того, что это происходит в реальности.

Он отвез меня в отель, узнал, во сколько надо разбудить, чтобы доставить на завтрашний рейс; наутро появился на своем такси с коробкой пончиков и горячим кофе, и мы до самолета успели заехать на мое любимое место в Сэнт-Джонсе — на «Сигнальный Холм», с которого открывается далекий вид на скалистые берега Ньюфаундленда и на про-

стирающуюся за фьордами Атлантику. Встречая там рассвет, мы нетипично для Канады курили, вспоминали ястребиного орла над скалами Коч-Темира, наших спутников-туркменов, иранский пейзаж на горизонте и то, как мы с ним танцевали под дутар на столе среди безудержного веселья всей честной компании, отмечая день рождения другого канадца — Тейлора...

Лысый и бородатый Гэрри со смехом, но беззлобно переразвивал тогда Ленина, усевшись в общежитии Ашхабадского университета под огромной картиной точно в такой же позе, как и изображенный маслом вождь, сосредоточенно пишущий что-то на коленях в блокнот (Гэрри уверял, что Ленин записывает наблюдения за ястребиным орлом).

Когда мы уезжали из Кара-Калы, Гэрри отозвал меня в сторонку и заговорщическим шепотом спросил:

— Сергей, как ты думаешь, могу я увезти домой один кустик полыни? Уж очень она прекрасно пахнет... — Я так же конспиративно (оглянувшись по сторонам и дав понять, что риск за исчезновение одного кустика полыни беру на себя) ответил, что может. Он поспешно закинул уже приготовленный куст полыни в уже приготовленный непрозрачный мешок и спрятал его в рюкзак.

Через два месяца после нашей туркменской эпопеи мы будем вместе с Гэрри летать на вертолете над юго-восточным Лабрадором, изучая влияние низковысотных полетов военных истребителей на популяцию скопы (звук истребителей настолько силен, что раскалывает яйца в гнездах). Мы летали тогда в одном из самых диких уголков на земле, приземляясь на берегах озер со звучными индейскими названиями в местах, где не ступала нога человека. Вот уж было приключение так приключение...

Я оказался первым *бывшим коммунистом*, попавшим на авиационную базу НАТО в этой части Канады, но это вызвало не подозрения и проверки, а шутки и смех. Гэрри познакомил меня тогда с отличной командой — яркими самобытными мужиками, прекрасно дополнявшими друг друга.

Усатый приземистый Джекоб, пилот нашего вертолета, сам — прекрасный наблюдатель, фотограф и опытный натуралист. Поэтому, если во время полета в процессе учета и определения птиц он с чем-то не соглашался, то вертолет наш



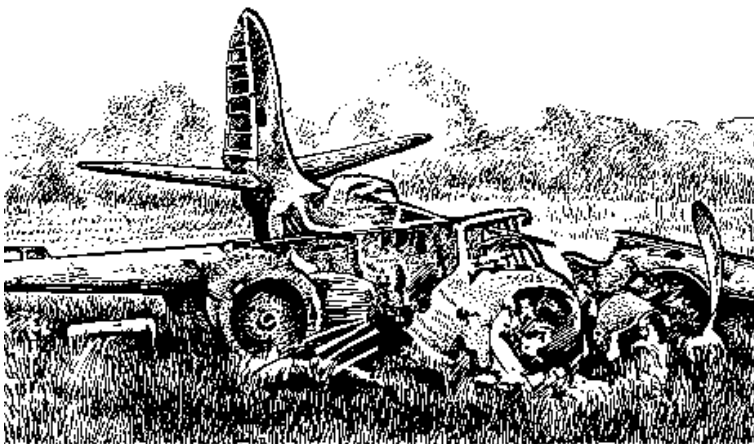
вставал на нос (так что все елки внизу оказывались в горизонтальном положении, а река в вертикальном), закладывая голвокружительный вираж и возвращался к необычно медленно (по сравнению с нами) летящей стае птиц, которую мы только что миновали («Ну, что я говорил? Про уток никогда со мной не спорь...»).

Неосмотрительно высказавшийся перед этим про чирков скромняга Джим смиренно принимал поправку коллеги, ибо после выполненного пилотажа не только был не в силах упорствовать с определением уток, но и просто не мог открыть глаза, сидя с мертвецки-бледной физиономией.

Потом мы работали над полигоном, где пилоты истребителей отрабатывали стрельбы по лежащим на земле макетам самолетов с нарисованными на их крыльях огромными красными звездами. Зависнув над приютившейся у края полигона палаткой, мы помахали в окна руками вышедшим из нее на шум нашего винта солдатикам, они помахали нам в ответ. На что двухметровый духарик Двэйн сказал:

— Если мы сейчас сядем и Серджей выйдет пожать им руки, передав привет из Москвы, у этих военных съедет крыша и они сразу сдадутся в плен...

Потом в бескрайних болотах Лабрадора мы нашли разбитый корпус небольшого винтового самолета, о чем Джекоб сообщил на базу по радио, вскоре выяснив, что про этот борт, исчезнувший много лет назад, никто ничего толком не



знал. Когда мы снизились до нескольких метров (сесть во всей округе было негде: сфагновая сплави́на), из заброшенно светлеющего на фоне болота зарастающего фюзеляжа вылетел и тяжело полетел в метре над землей огромный вирджинийский филин.



Потом были десятки гнезд скопы на вершинах тридцатиметровых елей в первозданно-недоступных местах по берегам никогда никем не посещавшихся озер и рек; удивленные медведи, в растерянности садящиеся на свои толстые мохнатые зады, рассматривая над головами наше невиданное рокочущее чудовище; бобровые плотины на глухих речушках и расходящиеся круги от всплесков бобровых хвостов; лоси, переплывающие прозрачные озера, испуганно фыркая на нас

раздувающимися ноздрями; десятки озер, поражающих тем, что, находясь рядом, все они порой имели воду разного оттенка; тысячи квадратных километров пожарищ — как погосты до горизонта, с черными обелисками обгоревших деревьев и становящимися вдруг заметными бесчисленными звериными тропами, словно паутина покрывающими всю тайгу; не покидающее меня (пешехода) восхищение тем, что, с легкостью покрывая десятки и сотни километров или играючи деля кряк, чтобы осмотреть «вон тот утес» на противоположной стороне речной долины (до которого пешим ходом — день пути), имеешь возможность определить в кустах даже дрозда или в деталях разглядеть валяющийся на болоте уже побелевший от времени лосиный рог...





Однажды ночью, на диком острове посередине глухого озера в бескрайней канадской тайге, отойдя от костра в жидко-сумеречную приполярную темноту и восхищаясь впервые увиденным мною северным сиянием, мы с Гэрри молчали, а говорить потом начали про завораживающее разнообразие нашего огромного мира, невольно вновь и вновь возвращаясь в разговор к Туркмении...

Через неделю, закончив свои вертолетные изыскания, мы летели на самолете с военной авиабазы на Лабрадоре назад в Сэнт-Джонс — столицу Ньюфаундленда. Пользуясь тем, что пассажиров в местном рейсовом самолете было всего ничего, мы почти в российской манере перешучивались с непривычной к этому стюардессой, раз за разом испрашивая у нее долива в свои стаканы; она удивлялась, с улыбкой смешивая нам необычный напиток — виски с кока-колой (Чача научил в Индии). Мы посматривали с Гэрри сверху на плавающие вокруг Ньюфаундленда айсберги, со смехом вспоминали туркменские приключения, хохотали как придурки над популярными у нас в Кара-Кале шутками, а когда прощались в аэропорту перед моим отлетом на материк, Гэрри так же заговорщически, как некогда в Туркмении, полез в карман и достал пластиковый пакетик:

— Сергей, я решил тебя помучить. Это тебе подарок. Держи! — В протянутом мне пакете была веточка от того куста полыны, который он «контрабандой» увез домой в Канаду.

Усевшись в фешенебельное кресло непривычного мне первого класса огромного «боинга», взлетев из Канады и летя над Атлантикой в родную Балашиху, я достал этот пакетик, расстегнул застежку, вытащил тонкую серую веточку, опустил ее на секунду в стакан с минеральной водой, а потом растер между пальцами и уткнулся носом в кулак...

И вот тогда, вдохнув знакомый терпкий запах, я мгновенно перенесся назад в Кара-Калу. И вновь увидел прокаленные солнцем холмы и скалы, парящих над ними птиц и наших канадцев-американцев, смотрящих вокруг во все глаза...

Триша и Ленор из Теннесси в тот раз первыми поддержали лозунг «Не бери в голову и наслаждайся жизнью!», когда у святого могильника на Шевлане беззубый мулла угощал нас бараньей шурпой из общей миски, раздав всем ложки, гостеприимно обтертые валявшейся рядом цветастой тряпкой.

Надо было видеть присутствовавших мужиков-туркменов, когда в жаркий день мы дошли до небольшого гаудана, устроенного на одном из ручьев в предгорьях, и те же самые Триша, Ленор и хохотушка Дженнифер, ничтоже сумняшеся поскидав с себя все, кроме весьма откровенных купальников, с визгом попрыгали в воду. Туркмены смотрели на это ошарашенно, с неявным осуждением и с явным интересом...

Мы с Зиминим наслаждались, созерцая происходящее; непонятно чем больше — видом наших плещущихся девиц или озадаченно-сосредоточенными лицами наблюдавших это туркменов; а участник нашей группы — московский студент Колька Дронин, проработавший год экскурсоводом в национальном парке в США, тактично делился с туркменами сообщениями о том, что наши гости приехали совсем из другого мира и конечно же отличаются от нас.

Мы все вместе провели целый день, наблюдая с разных точек за гнездом ястребиного орла, снимая его на видео и обсуждая перемещения птиц по рации. Наши буржуи в тропических шляпах, с телеобъективами на видеокамерах и с прочим экзотическим снаряжением, увлеченно рассматривающие орлов в бинокли, смотрелись в Коч-Темире просто шикарно.

Даже приставленный тогда к нашей команде под видом студента-биолога представитель туркменских компетентных органов, героически учивший названия птиц, чтобы не выглядеть в нашей среде совсем уж инородно, признался, что птица эта ему нравится.

Потом я показывал ястребиного орла своим близким коллегам и студентам, которые приезжали со мной на Сумбар в последующие годы (Ребята, всем привет!). Он у всех вызывал тогда неизменное восхищение, а сегодня он помогает всем нам заново ощутить нашу дружбу через незабываемые воспоминания о далекой загадочной Туркмении и о том, как нам там было хорошо.

«ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ»

Сергей-воробей на коне катался,
Руки-ноги растерял, без порток остался!..
(Частушка-дразнилка)

«18 июля. ...Солнце скоро садиться начнет, но все равно лето на самом пике, тепло, вечерней прохлады и не будет.

Все разноразное вокруг: пыльно-зеленые подорожники у края дороги, прямо на которых мы с Маркычем сидим; изумрудное поле, по которому эта дорога проходит; сочно-зеленый березовый перелесок невдалеке; справа от проселка — темно-зеленая опушка смешанного леса с кокетливыми рыжествольными хвойно-зелеными соснами и молчаливо-строгими, почти черно-зелеными елями; зеленоватым серебром отливают ивы вдоль реки. Даже наш серебристо-голубой пикап позеленел с боков, отражая всю эту близкую и дальнюю зелень.

Обзор широкий, километра на три, и такая красота вокруг, что и без этой четвертинки, которую я постепенно выпиваю в гражданском нешоферском одиночестве, дух захватывает. И словно крылья вырастают. Чтобы опять лететь неведомо куда, неведомо за чем; за своей неведомой извечной целью... За «жар-птицей», что ли, как Ивану-дураку?..

Не знаю, как вы, а вот я, как копну в себе, не в парадно-причесанном, а в настоящем, как, например, сейчас, когда, сидючи с початой четвертинкой на деревенском поле (хоть и не подумайте, что я «настоящий», лишь когда я с рюмкой, как, например, сейчас, когда сию с початой четвертинкой на деревенском поле в Тверской губернии), так вот, как копну в себе поглубже, то выясняется, что самую искреннюю и самую живую благодарность чаще ощущаю не к гениям, которым рукоплещут миллионы (и, разумеется, я в их рядах), а к людям, внешне совершенно незаметным, не «изысканным» (в нашем задрипанно-салонном понимании). К тем, кто сделал что-то простое, каждому понятное и важное для меня в не лучший мой момент: накормил, когда был голоден; приютил, когда брел по незнакомой дороге; понял, когда никто не понимал; уделил внимание, когда никто не замечал... Такое сде-

лать — талант души нужен, а не популярность или престижная известность.

Но талант души жизненной целью быть не может. Никакой талант целью быть не может, потому как любой талант — это Дуновение Божие, которое не на каждого снисходит, поэтому к нему стремись не стремись — один хрен.

Хотя... Похоже, что у некоторых он в скрытом состоянии присутствует, этот талант. Дремлет, так сказать, пока не встряхнет человечка невзгодой или счастьем, пока не встрепенется душа, пока не затрепещет на ветру сподвижничества наивный и взволнованный парус этого самого душевного таланта...

Ну так это — то же самое Дуновение, только прежде неведомое, неизвестное самому обладателю; это такое же исключительное везение, как и талант изначально очевидный... Поэтому и на подобное пробуждение уповать особо не приходится...

Короче говоря, к сорока годам (поздновато?) закралось в меня подозрение, а к сорока пяти — прочно и по-домашнему угнездились там уверенностью, что цель жизни — это правильно делать простые, всем понятные и хоть кому-то нужные дела. Не мудрствовать лукаво, замахиваясь на претенциозное сотрясение устоев и переделку мира, а помогать тем, кому помощь нужна. Помогать словом тому, кто жаждет услышать; молчанием — тому, кому надо высказаться; деньгами (пусть и небольшими) — тем, кто в удушающей нужде...

Не прошу себе одного совсем уже недавнего события (вчера произошло).

Едем, значит, вчера с Маркычем в Едимново на его сугубо иностранном и повсеместно вездеходном авто. Два фраера. Он — «новый русский», я — «старый», но только что из очередной командировки «из-за бугра».

Заехали в Конаково в магазин, накупили там водки, пива, конфет всяких; не ехать же в деревню с пустыми руками. Дождались парома на утреннем солнечном волжском берегу, побазарив с двумя уже принявшими местными «рыбаками», лишь для проформы мытарящими на крючках размокших червей.

Я как последний дурак с ними по инерции после Запада: «спасибо» да «спасибо», «пожалуйста» да «пожалуйста», а они оба встали, недокуренные бычки вынули и мне: мол, ты чего, мужик, блин, издеваешься здесь над нами?!

Короче, нам завидно стало с Маркычем, выпили и мы по бутылке пива *с утрава*, для пушшего провозглашения праздничности происходящего.

Переехали на пароме, мчимся дальше на японской резине по тверской гравийной дороге от Конаково к Юрьево-Девичье и дальше к Едимново.

Вдоль нее, вдоль этой дороги, на проводах и по округе — не туркестанские, не заграничные, не тропические, а исконно свои, незатейливые до щемящего совершенства птички: скворцы, сороки, обыкновенные и камышовые овсянки; жуланы восседают на сухих торчащих ветках; синичьи выводки перелетают хлопотливо вдоль куртинок ольхи; канюки парят как-то гостеприимно, а вовсе не хищно; воробьи хлопочут на покосившихся заборах.

Под звучащие в кабине мелодии «Битлов» проносятся мимо нас за окнами мелколиственные перелески, лесные опушки, поросли иван-чая вдоль обочин, маленькие деревушки, увядшие, но нарядные, как обихоженные покойницы.

И вот, на краю одной из них, стоит на дороге мужик. Коржавый, мятый, небритый, нечесаный; в растянутых на коленках тренировочных штанах, в выцветшей военной зеленой рубашке, застегнутой не на ту пуговицу; прижимает одну руку к сердцу, а другой показывает: мол, налейте, Христа ради... Как говорится, шлет привет уже даже не со дна, а с самого что ни на есть поддонника...

А мы и не притормозили. Неслись на такой скорости, что и подумать не успелось. А *реактивности чувства*, чтобы остановиться не думая, видать, и не хватило.

По тому, как у Маркыча тень пробежала незаметная по лицу, я сразу понял, что и он, так же как и я, про это самое подумал и скукожило его точно так же внутри, как и меня: нам эта четвертинка — что есть, что нет ее, а мужику этому — она желаннее всего, она бы для него манной небесной ниспала и счастья бы ему дала часов на несколько...

Но не притормозили, не пошли на неудобство резкого торможения, не стали скрипеть колесами по гравию, подняв

целый столб пыли, не стали сдавать задом, а проехали чисто, быстро, *иномарочно*, как раз так, как этот мужик, *не надеясь*, и ожидал своим помутненным подсознанием, что мы и проедем...

Это я не к тому, что цель жизни — алкашу стакан налить. А к тому, что уж если рассуждаешь о цели жизни, то алкашу не налить, когда трубы горят, — запахло...

А уже минуту спустя словно обожгло — вспомнилось, как несколько лет назад иду по Балашихе таким же временем (часов одиннадцать утра), но не летним, а зимним утром, перехожу через Горьковское шоссе у остановки «Спортивная», застрял на середине перехода, жду, пока поток машин на светофоре остановится. Недалеко от меня на разделительной полосе так же стоит мальчишка лет тринадцати, топчет от нетерпения, хочет перебежать. Я ему свистнул строго, хотел кулак показать, чтобы стоял смирно, но куда там, машины идут сплошной рекой, не слышит ничего.

Выбрал он момент и ринулся вперед в узкую пустоту между недалеко идущими друг от друга грузовиками, а в этот момент в эту же пустоту, в нарушение всех правил, из левой полосы в правую хищно и лихо поддала сзади, упиваясь мощностью шведского турбомотора, темно-сине-зеленая «вольво», и как раз, миновав грузовики, не видя ничего из-за них, на всем ходу и ударила бампером бегущего мальчишку, даже не притормозив...

Взлетело в воздух удивленное своей смертью тело, медленно перевернулось вверх тонкими мальчишескими ногами, беззащитно торчащими из сгормошившихся штанин, пролетело плавной дугой по воздуху, словно играя, словно на батуте. И с ужасной мясной мягкостью ударилось прямо грудью о расширенное бетонное основание стоящего на обочине шоссе фонаря. И замерло, обернувшись вокруг него податливой неподвижной дугой, словно кто-то бросил со всего маху размятую и разогретую в невидимых руках плитку живого пластика на ствол тонкого дерева...

«Вольво», рванувшись еще быстрее, ушла вперед к Москве. Номер я не успел разглядеть, хоть и присматривался (поздно уже было, когда взгляд перевел). А рядом с телом остановился обшарпанный «Запорожец», выскочили из него два обеспокоенных *невзрачных* мужика, подняли парня и полубе-

гом понесли его укладывать на заднее сиденье, неудобно за- тискивая уже почти выросшее тело в тесную кабину...

Автобус я ждать не стал, даже не вспомнил про него, по- шел домой, на «Южный», пешком по морозному воздуху че- рез речку, мимо церкви; зубы у меня сцепились, иду изо всех сил, чем быстрее, тем легче... Пришел, позвонил в дверь, Ро- за открывает, а у меня вдруг слезы из глаз двумя ручьями не- лепых и странных брызг, и хрип какой-то из горла, а я сам и не могу поделаться ничего, только затыкаю эти слезы руками, но не помогает.

Роза как увидела, помертвела вся: «Что? ЧТО С ВАСЬ- КОЙ?!» — а я и ответить ничего не могу, только промычал что-то, крутя головой, мол, ничего с ним, не волнуйся; в ван- ную заскочил, а хрен его разберет, не могу заткнуть, хлещет и хлещет из глаз... А я сижу на ванне и думаю почему-то: «Птич- ки, птички, ну куда же вы смотрели!..»

Потом подхватился, выскочил из дома, завел машину, благо, что стояла под окнами, и рванул туда назад зачем-то. Приезжаю — там уже наряд милиции разбирается, три мен- та; меряют рулеткой. Подхожу к одному, мол, видел, гово- рю. Он начинает записывать с моих слов, а самого его коре- жит, слезы потекли из глаз (я и не пытался его растрогать, просто рассказал без эмоций, как было, как пацан летел от капота в тот фонарь); он стоит, пишет, не морщится, только вытирает иногда глаза тыльной стороной ладони, но тут его второй милиционер окликнул, мол, блин, ты чего тут встал, пишешь-слушаешь... Ты слушать истории приехал или ра- ботать?!

Фу-у...

Вот и разглагольствуй после такого.

Если эти мужики на «Запорожце» пацана того довели до больницы живым и если выжил он потом, то им — тем, кто остановился его подобрать, рассуждать о цели жизни уже и необязательно. Они свою цель, может, уже и достигли, пой- мали свою жар-птицу, поди сами того и не сознавая; им такое, глядишь, и не по первому разу удалось...

Это пацану выжившему (если суждено) уже надо будет о своей цели в жизни размышлять; если счастье выпадет размыш- лять о ней *в жизни*...

И вот едем мы дальше с Маркычем по гравийной дере- венской дороге, а я сижу, как дешевое дерьмо в дорогом ав- томобиле, и представляю, как остановится кто-нибудь на «Запорожце» около того мужика, а может, и на новой, еще по-советски франтовской «Ладе» и протянет ему из окна пусть и не четвертинку, так бутылку пива, балагурия, что, мол, залей мужик дьявольский огонь и не грусти! И поедут потом себе дальше, говоря о своем в куда более скромной, чем на- ша, кабине и не ведая, что и они к своей цели ближе стали на большой и всамделишный шаг, когда мы с Маркычем от на- шей жизненной цели уже километров на пять уехали, остав- ляя за собой лишь пыль, оседающую на придорожный иван- чай...

Так что я уже давно не прицеливаюсь с лихим прищуром в свою пресловутую *цель жизни*, стараюсь поменьше выгребы- ваться (вроде как следуя заведомо высоким и достойным — а как же иначе?! — стандартам и идеалам), а помнить вместо этого о простой древней формуле: «Веруй в Бога, знай, что дважды два — четыре и будь честный человек».

Скромнее надо быть, дрын зеленый... Скромнее...

А когда из Едимново возвращались с Маркычем уже не че- рез паромную переправу, а другой дорогой, то перед выездом на асфальт, идущий уже до самой Твери, съехали в поле, оста- новились последний раз в деревенском эфире, прежде чем назад в столичную реальность опускаться. Уселись на траве на обочине дороги, разложили лук, хлеб, малосольные огурцы, колбасу какую-то. Устроили, что называется, прощальный *пикник*.

Маркыч — за рулем, а я распечатал четвертинку, налил в его походную гнутую серебряную стопку аж светящейся не- земным белым светом водки, выдул ее, не торопясь, за нашим очередным разговором на предвечернем солнышке...

Вот и сидим сейчас, смотрим на летний горизонт с макуш- кой церкви над далекой деревней, куртинами ив вдоль реки, а над нами жаворонок взлетел и поет-заливается, словно и не середина лета вовсе, а, как в юности, — вечная и обещающая все впереди весна...

Полевой жаворонок, *Alauda arvensis*, который и без поня- тия в своей пестрой птичьей голове, что есть далеко-далеко отсюда Туркестан и Копетдаг и что живут там другие жаво-

ронки, совсем не похожие на него самого... И так вокруг хорошо, что дальше и некуда...

Было бы и мне так же хорошо, был бы и я Частью всего этого Целого вокруг, если бы тот алкаш на обочине не вспоминался, когда я свою четвертинку пил и о разном романтическом размышлял, с подсознательно-кокетливым удовлетворением констатируя глубину своей слегка поддатой чувствительной души...

Это ведь я к чему про всю эту мутотень? К тому, что жизнь на удивление быстро идет... Вот к чему...»

ЭПИЛОГ

...Друзей моих вы соберите, наймите Ваньку-маляра.
Он нарисует вам картину про наши чудные дела...

(Русская народная песня)

— О юноша, спустя два-три дня, ты выйдешь на берег реки и увидишь там огромную птицу. Уцепись крепче за ноги этой птицы, и она понесет тебя над горами и реками прямо к железной земле. Там ты расстанешься с птицей и дальше пойдешь пешком...

(Хорасанская сказка)

«Клик-клик» — стучит шагомер, и время летит, как фасциатус.

Мои бывшие студенты незаметно выросли, разлетелись кто куда и стали мне еще дороже, чем в бытность восторженными второкурсниками, добросовестно ведущими полевые дневники. Многие из них работают учителями в школе, рассказывая детям о том, что они видели когда-то в Копетдаге.

Колька Дронин, с восторгом наблюдавший в Тарусе белых аистов в пойме Оки, работавший потом в Америке, а позже сопровождавший канадцев и американцев в нашей экспедиции в Кара-Калу, умер в двадцать один год, и сейчас он, наверное, уже знает о происходившем тогда с нами что-то, что еще лишь предстоит узнать мне самому.

Все молодые сотрудники заповедника, так вдохновенно трудившиеся в Сянт-Хасардаге веселой биологической командой, собранной там Николаевым, разъехались кто куда. Сам Николаев в Кара-Кале по-прежнему полон идей об охране природы Копетдага. С эпохой Интернет он снова в центре

событий, общается со всем миром, приглашая к сотрудничеству нас всех, вкупе с былыми недругами, ни на кого не держа зла.

Калмыков, как и раньше, похож на лемура и на Ф.Э. Дзержинского одновременно; Зимин все такой же бородатый, сдержанный и вежливый; Зубарев все так же бредит охотой, а Светлана Петровна по-прежнему прощает второкурсникам перебор времени, когда они делают доклады по систематике животных.

Мой дорогой Михеич благословенно ушел в мир иной, дожив до девяноста двух лет и до конца продолжая, как и всю свою жизнь, каждый день добросовестно работать за столом.

АБС в Павловке стоит, но подвесные мостики через Истру обветшали, развалились и болтаются ненужными тросами без настилов: «кукушка» из Нахабино давно не ходит, никто на нее не спешит рано утром по тропинкам, отороченным подорожниками, а хозяева роскошных особняков, как грибы поднявшихся по всей округе, запросто ездят в Москву на «джипах» и «вольво».

Королькова иногда все еще вывозит студентов на практику в Тарусу, где на опушках все так же распевают пеночки-веснички, и мы с ней уверенно мечтаем о временах, когда тарусская база проснется от многолетней дремы и вновь продолжит славные и шумные традиции геофака, — Таруса не может исчезнуть в никуда.

Едимново на Волге разрослось и для стороннего наблюдателя выглядит сейчас обычной дачной деревней. Теперь туда можно запросто проехать на машине и совсем необязательно ждать перевоза с другого берега. На деревенском кладбище все меньше свободных мест. Там и Валентин. Стареющие домики немногих оставшихся старожилов скромно соседствуют с новыми дворцами за глухими заборами, над которыми инородно круглеют тарелки спутниковой связи. Кривая Сосна стоит, но на нее уже так просто не залезешь: она оказалась частной собственностью за оградой чьего-то дачного участка (деревенские пытались было ее отстоять, но куда там, без Валюшки не вышло...).

Гуси по деревне уже не ходят; коров тоже почти не осталось; наступить босиком в коровью лепешку никому не про-

зит (я, правда, будучи там последний раз, умудрился-таки вляпаться, чуть не выронив от неожиданности фотоаппарат).

Американцы и канадцы, звоня по случаю, неизменно вспоминают орлов с восторженным придыханием: для них эта птица символизирует соприкосновение с неведомым доголе миром.

Жиртрест (он, кстати, тощий и длинный, я, кажется, не упоминал об этом) — большой человек в важном министерстве; готовит государственные доклады по загрязнению окружающей среды.

Чача вернулся из Индии, но последние годы мы с ним никак не общаемся. Я так и не понял до конца, почему (дружба ведь еще сложнее, чем любовь), но уже давно ни к кому не пристаю с важными вопросами о личном.

Андрюня по-прежнему военный; на его погонах появляется все больше звезд, и они все крупнее. Эммочка рано родила и уже вырастила двух дочерей. Ленка уехала с мужем в Америку; вроде не совсем. Я все жду, что она как-нибудь приедет, позвонит и соберет нас всех как в те времена, когда мы вместе гнули лучки для моих будущих жаворонков. Впрочем, сейчас нам по сорок с чем-то, встретиться как в былые двадцать мы уже не сможем, а чтобы встретиться вновь, мы еще не достаточно повзрослели, еще не готовы...

Маркыч программировал-программировал, а потом вдруг стал «новым русским», продолжая при этом, как и раньше, пялиться в компьютер день и ночь. На своем немислимом японском дизеле он подвозит знакомым деревенским мужикам мешки с картошкой и вытаскивает дачникам из грязи намертво засевшие «Волги» и «Жигули».

Володин все так же занимается хищными птицами и продолжает мотаться по всему свету; после Афганистана мы с ним общаемся постоянно. Ханум вся в заботах: растит смешного замечательного сына, похожего на Гурвинка.

Стас живет в Москве. Мы периодически видимся, пьем пиво, медленно обсуждаем новости или молчим про разное. Став популярным преподавателем-экологом, Стасик уже сам воспитал в экспедициях несколько поколений юннатов, и от него они тоже знают про ястребиного орла. Многие из них сейчас уже студенты на нашей кафедре, где до них учился Стас, а до него учился я. Кровожадно-смешливая акула все

так же стоит на шкафу в нашей зоологической аудитории на том же самом месте.

Игорь и Наташа по-прежнему никак не выберутся ко мне в гости, оправдываясь тем, что не на кого оставить своих очередных нахлебников — кошек и собак; да и поездка в Москву теперь для них — поездка за границу. А сам я езжу к ним сейчас тоже много реже, чем хотелось бы. Им за все, что они для меня сделали, я благодарен навсегда.

Из Афганистана, как вы знаете, нас бесславно выперли. Все те афганцы, с которыми мы сотрудничали в период освободительной советской агрессии и которые начинали энергичными преподавателями, врачами, инженерами, либо эмигрировали, либо убиты.

Что не лезет ни в какие ворота человеческой этики, но вполне вписывается в стиль бывшего советского интернационализма, всех афганцев, кто поддерживал нас тогда (не важно, кто почему, но очень многие — искренне), что в Афганистане, что у нас в Союзе, мы просто бросили на произвол судьбы. Многие из них до сих пор живут среди гостеприимных российских берез на униженном и несправном положении беженцев, которых в любой момент можно дернуть в кутузку или выдворить из страны; а можно и не делать ничего: человек и так каждый день просыпается с ненадежным и непредсказуемым будущим.

Я часто вспоминаю лицо молодой учительницы-афганки, которая, смеясь, на каблуках и в мини-юбке, утром на майдане перед школой собирала вокруг себя восторженно льнувших к ней, галдящих первоклашек. При этом я каждый раз думаю о том, что сегодня в Кабуле женщину забивают на улице камнями, если, потянувшись на рынке рукой к товару, она неосторожно обнажила запястье... Или о том, что выйти на улицу без мужчины она вообще не может, поэтому, если у женщины нет мужа, отца, или старшего брата, или кого-то, кто принесет ей еды, она просто умрет дома с голоду...

Еще хуже мне становится, когда в московском метро я вижу молодых мужчин в камуфляже с треугольниками тельняшек в расстегнутых даже на морозном холоде воротниках, без рук или без ног сидящих около шапок с подаванием. Нередко они пьяны или одурманены так, что не могут открыть глаза,

отстраненно и напряженно пребывая в своем, непостижимом для меня мире.

Я кладу в эти шапки что могу и ловлю себя на том, что делаю это от страха. И не столько от страха перед возможным будущим, перед мыслью о том, что моему сыну или мне самому еще может достаться такое в Чечне или где еще, сколько от страха перед прошлым, уже случившимся в жизни этих людей. Перед тем, что им, тогда мальчишкам, уже довелось пережить. Никогда и не думал, что можно так бояться чужого прошлого. А может, это просто подсознательный всплеск облегчения, что меня самого пока пронесло.

Когда я сую в шапку деньги, мне хочется то ли провалиться сквозь землю от взглядов окружающих, то ли замычать сквозь зубы оттого, что мы все привычно проходим мимо. Или занимаемся орнитологией. Или транслируем по радио в метро рекламу недорогих туров на Кипр и в Австралию... Но ничем, кроме этих смятых купюр, я никому помочь не могу...

Двадцатого января (день моего первого приезда в Кара-Калу) я каждый год выпиваю стакан вина за жаворонков, орлов, за ВИР, Копетдаг, Сумбар, Иран, за Муравских, за полынь под ногами, за солнце, кумганы, за Афганистан, за тельпеки, за змей, за родники и тюльпаны в горах, за экспедиции и караваны Зарудного, за древний великий Хорасан, за Едимново, Тарусу, за кафедру и за многое-многое другое...

Мои родители по-прежнему живут в Балашихе в том же самом доме и еще больше интересуются нашими делами и путешествиями. Сначала они водили в городской парк гулять моего сына, а когда он подрос — мою младшую дочь. Наблюдая это, я каждый раз пытаюсь представить, каким был этот парк, когда они водили туда меня (что-то помню, но смутно). Дай Бог им здоровья и долгих лет.

Васька вырос и к моим птичкам равнодушен, увлекается совсем другим. Не мечтая особо в детстве о путешествиях, он начал путешествовать еще до того, как приобрел сознательную способность мечтать, и сейчас сам признается, что он — скорее домосед. Хотя слово «домосед» имеет для него уже несколько иной смысл, чем для нас: каждодневно обсуждая повседневные мелочи на Интернет с друзьями из Испании, Индонезии, Колумбии, Австралии и Канады одновременно (в

куче-мале из разных языков), он поездку в Европу или в США далеким путешествием и не считает..

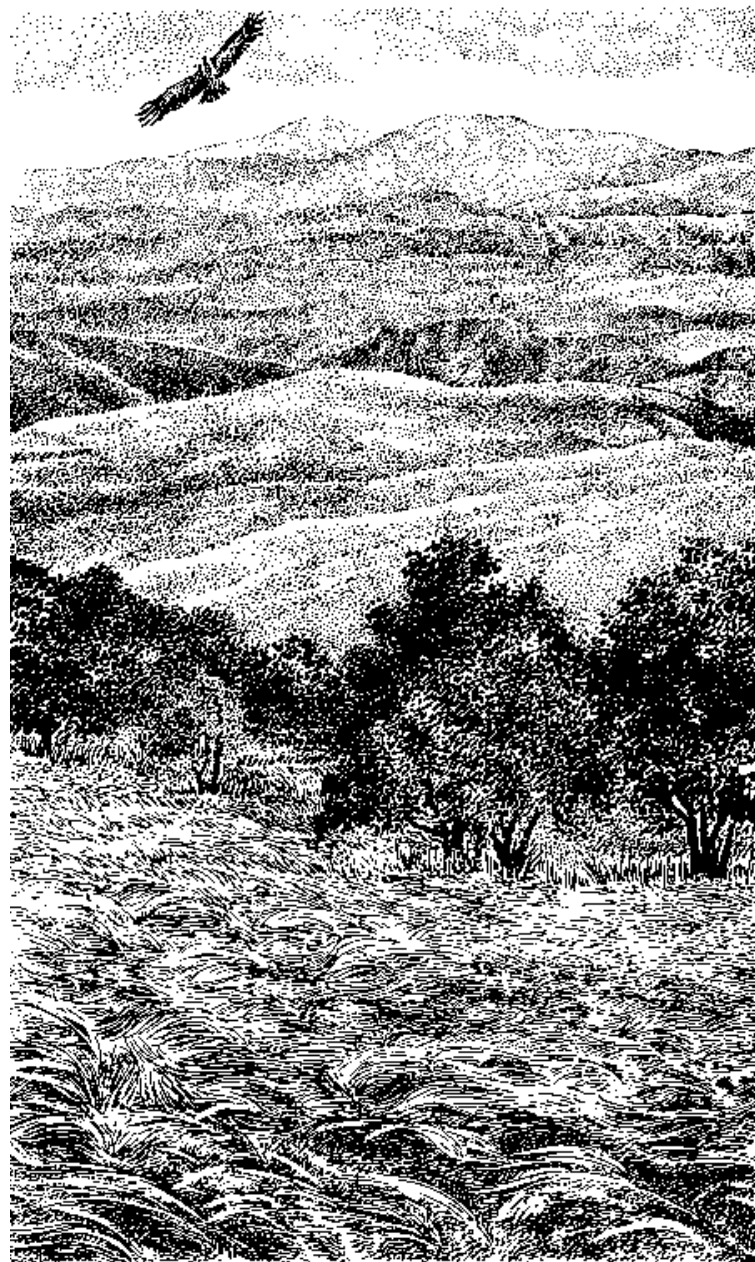
У меня все те же «ласковые жены. Мне хорошо с ними». Моя дочь Даша, родившаяся от них уже после описываемых событий, каждый вечер, послушав книжку перед сном, кричит мне: «Сергей! Пора!» — подражая маме, она зовет меня не «папа», а по имени. Когда я подхожу, она требует рассказать ей очередную «сказку-правду» про то, «что с тобой действительно когда-нибудь происходило *на самом деле*».

Иногда я рассказываю ей что-нибудь из этой истории, а сам не могу оторвать глаз от пятилетней девочки, пытающейся представить себе далекие горы, незнакомых людей и «строгих» орлов. Она слушает очень внимательно, но вопросы раз за разом задает не про орлов, а про маленькую пушистую песчанку с черными глазками, которая стремглав бежит к своей норке, неся во рту целую охапку зеленой травы...

Сам я по-прежнему в очках (контактные линзы не люблю), а когда путешествую — в шляпе. Раз в два-три года, бредясь, как обычно, по утрам, я вдруг опираюсь руками на раковину, смотрю внимательно в зеркало и спрашиваю сам себя: «Салам алейкум?..»

Мой верный саквояж за годы работы в Копетдаге износился так, что уже не подлежал починке. Я много лет с благодарностью хранил его в кладовке — не в силах выкинуть, а потом вдруг, в порыве освобождения от сентиментальных якорей (нельзя же бесконечно хранить даже важное и дорогое из уже случившейся жизни), достал его, попрощался, вышел из дома и понес на помойку. Но выкинуть не успел. Ко мне подскочили вездесущие балашихинские мальчишки («Дядь, а чой-то у вас?»), я с облегчением отдал им саквояж, и он унесся от меня на волнах ребячьего смеха и игры.

У саквояжа началась новая жизнь, наполненная мальчишеским весельем нашего балашихинского двора, а мое плечо сегодня оттягивает уже совсем другая ляжка с какими-то диковинными замками и специально разработанной заморскими дизайнерами подкладкой из непотеющей и не скользящей по плечу резины. В новомодном кофре я таскаю аппаратуру, которая мне и не снилась в былые времена, но ко всему этому великолепному снаряжению я почему-то отношусь равнодушно, просто использую его как инструмент, и все.



Сегодня на мои фотографии попадает много хороших людей, интересных мест и экзотических животных, которых я и не предполагал увидеть на своем веку. Снимая все это, я искренне восхищаюсь увиденным, но непроизвольно продолжаю выискивать в видеоискателе черты сходства наблюдаемого с тем, что снимал выдавшим виды «зенитом» в Копетдаге... В самых разных пустынях и горах очень далеко от Туркестана (все так же «клик-клик» — шагомер) я иногда вдруг ощущаю знакомый запах полыни или прокаленного солнцем пыльного ветра и непроизвольно вздрагиваю, настороженно оглядываясь вокруг...

Когда я встречаюсь с бывшими участниками этой эпопеи, мы обсуждаем своих взрослеющих детей, текущие дела и происходящее со всеми нами в наше интересное время. При этом мы всегда с неизменным удовольствием вспоминаем пережитое нами когда-то в Туркмении, и в наших разговорах с годами настораживающе всплывают все новые и новые детали боевой юности...

Сумбар течет, как ему и положено, с востока на запад; Сьунт и Хасар по-прежнему незыблемо стоят на своих местах; а вот холмы за Кара-Калой, где я наблюдал жаворонков, не узнать. Там теперь автотрек для тренировки шоферов, и вместо стай зимующих птиц в этом месте среди врытых в землю автопокрышек плят грузовики.

Нет больше СССР, нет ставшей столь дорогой всем нам Туркмении, а есть независимый Туркменистан. Но это все — детали. Потому что Копетдаг продолжает оставаться Копетдагом, а ястребиный орел — ястребиным орлом...

Я часто думаю про всю эту историю и не расстаюсь теперь с образом этой птицы, ставшей мне как бы близким другом и тотемным знаком. Банально, конечно, — орел в качестве символа, но уж так сложилось. Я стараюсь компенсировать это искренней самоиронией прилагающегося к тотему девиза, но это уже совсем личное — разбалтывать все до конца не могу.

Теперь вот и вы знаете про все это.

Я искренне желаю вам, всем дорогим мне людям, которых вспомнил сегодня, и всем людям вообще, счастья, здоровья и всего наилучшего. А всем в мире фасциатусам давайте вместе пожелаем выжить и навсегда остаться неотъемлемой Частью

того вечного и подлинного Целого, вне которого невозможна и наша с вами жизнь.

...Ястребиный орел, планируя сверху, садится на острый гребень скалы. Я вижу его сильные лапы, белую грудь, освещенную заходящим солнцем, и то, как он, крича, закидывает голову назад, оглашая затихающее ущелье звонким клетотом. Словно повторяя всем нам еще раз то, что так чутко услышал Киплинг: «Мы с вами одной крови, вы и я!..»

Кара-Кала, Западный Копетдаг — Балашиха, Московская область



СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

- АБС** — агро-биологическая станция.
- Алабай** (*туркм.*) — среднеазиатская овчарка.
- Альbedo** — отраженные от снега, льда или воды солнечные лучи.
- Антропогенный фактор** — та или иная форма воздействия человека на природу.
- Антропоморфизм** — приписывание черт человеческой психики животным.
- «**Бабслей**» (*тарус.*) — обливание водой (исходно — студенток, позже — обливание вообще) на практике в жаркий летний день.
- «**Бас-халас**» (*пушту*) — синоним «кутарды» (*туркм.*).
- Башлык** (*аз.*) — начальник, большой человек.
- Бутемар** — в хорасанском эпосе — сказочная птица; олицетворение скорби и печали.
- ВИР** (*разг.*) — сокр. от ТОС ВИР — Туркменская опытная станция всесоюзного института растениеводства.
- ВОСР** (*разг.*) — Великая Октябрьская социалистическая революция — свержение царской династии в России большевиками в 1917 году.
- Восточные земли** — в древнем Иране — страны Хорасана, Азии.
- Галаксий** — название Млечного Пути у древних греков.
- Гаудан** (*туркм.*) — бассейн.
- Геодезия** — наука об определении формы и размеров Земли и об измерениях земной поверхности.

- Герпетология** — наука об амфибиях (лягушки, жабы, тритоны, саламандры) и рептилиях (змеи, ящерицы, черепахи, крокодилы).
- Гносеология** — теория познания человеком окружающего мира.

- Дастан** (*фарси*) — роман.
- «**Дембеля**» (*тарус., муж.*) — 1) студенты-старшекурсники или выпускники геофака МГПИ (МПГУ), приезжающие в Тарусу во время прохождения там практики младшими курсами; 2) студенты, уже служившие в армии.
- Дендрофилы** — виды животных, тяготеющие в своем распространении к древесной растительности.
- «**Деуки**» (*тарус., жен.*) — студентки геофака МГПИ (МПГУ), проходящие полевую практику в Тарусе.
- ДжиПиЭС** (*GPS, Global Positioning System, англ.*) — прибор для определения местоположения на местности.
- Дивы** — сказочные могущественные существа (демоны), сочетающие в облике черты фантастических животных; обычно злые и вредоносные, но нередко — гостеприимные и с чувством справедливости; не лишены рассудительности; признают превосходство человека.
- ДНК** — дезоксирибонуклеиновая кислота — органическая молекула, в которой зашифрована вся наследственная информация организма.
- Друг** — в древнем Иране символ мрака, лжи и злого слова.
- Дутар** (*туркм.*) — национальный струнный музыкальный инструмент.

- Жаворонки** — семейство птиц в отряде воробьинообразных; наземные виды открытых пространств; имеют необычно длинный коготь на заднем пальце.
- Жизненная форма** — тип внешнего облика организмов, отражающий их приспособления к среде обитания.

- Западные земли** — в древнем Иране — страны Европы.

- Импринтинг** (*англ. imprinting, запечатление*) — запоминание молодыми животными жизненно-важной информации

(облик, голос родителей и т.п.) в самый начальный период жизни после рождения.

Кайтарма (*туркм.*) — 1) перемешивание зеленого чая для осаждения чаинок, 2) жизнь мужа и жены в разлуке.

Катахреза — совмещение несовместимых понятий.

Кинология — наука о собаках.

КНБ (КаэНБэ, *разг.*) — Константин Николаевич Благосклонов (1910 — 1985), преподаватель кафедры зоологии позвоночных МГУ; замечательный человек, орнитолог, в последние годы своей жизни массу сил отдавший именно воспитанию юннатов.

Конвекция — восходящие токи прогреваемого воздуха от поверхности субстрата (земли, воды, льда).

Конджо (*яп.*) — воля, характер, внутренний стержень личности в ситуации противоборства, бойцовские качества.

Кукушка — 1) (*орнитол.*) — птица, которая кричит «ку-ку»; 2) (*народ.*) — местная короткая электричка (в данном случае — из четырех вагонов, курсировавшая между станциями Нахабино и Павловская Слобода).

Кумган (*туркм.*) — высокий туркменский «чайник» с длинным изогнутым носиком.

«Кутарды» (*туркм.*) — конец, баста, хана, отъездился; синоним «Бас-халас» (пушту).

Лох (*разг.*) — недотепа, лопух, салага, чайник, неопытный и недалекий человек.

Лучок — ловушка для наземных птиц — проволочный круг с натянутой на него сеткой, настороженная половина которого захлопывается пружиной, накрывая птицу, зацепившую ногой нитку-насторожку.

Ляшкер (*фарси*) — вооруженный мужчина.

Малика (*фарси*) — принцесса, царевна; обычно — красавица, склонная к загадыванию загадок женихам.

Маринки — рыбы из семейства карповых; в р. Чандыр водится закаспийская маринка.

МГПИ — Московский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина (ныне МГПУ — Московский государственный педагогический университет).

Медоед — млекопитающее отряда хищных, семейства куньих; африканский вид, достигающий на север до Туркмении; редок, внесен в Красную книгу СССР.

Михраб — молитвенная ниша в мусульманском храме.

Моббинг — у птиц: окрикивание хищника потенциальными жертвами в ситуации, когда он не представляет для них реальной опасности.

Мул — гибрид лошади и осла.

Мухаммед — пророк, основатель ислама.

Орнитология — наука о птицах.

Перемет — рыболовная снасть с несколькими крючками.

Пери — фантастические существа, сочетающие черты людей (женщин, склонных к мирским утехам) и животных (обычно — птиц); могут быть злыми или добрыми; признают превосходство человека; пугливы; по преданию, теряют вредоносность после близости с женщиной.

Плакор (*геогр.*) — слаборасчлененное водораздельное пространство с наиболее типичными для данной природной зоны ландшафтами и экосистемами.

ППС (ПэПээС, *разг.*) — Петр Петрович Смолин (1897 — 1975), удивительная и замечательная личность; сотрудник Дарвинского музея, воспитавший несколько поколений юннатов; так или иначе коснувшийся жизни большинства ныне здравствующих полевых зоологов, которым по сорок или больше.

Редан — уступ на дне быстроходной лодки, за которым при разгоне образуется воздушная прослойка, снижающая трение и сильно увеличивающая скорость.

Росьянка — насекомоядное болотное растение с липкими листиками-ловушками, закрывающимися при попадании на них насекомых.

«Сааб» (*от англ. SAAB*) — марка шведского автомобиля.

Слайд (*фотогр., от англ. slide*) — обратимая фото пленка, в отличие от негатива позволяющая проецировать на экран цветное позитивное изображение.

Сообщество (*экол.*) — совокупность совместно обитающих биологических видов; все живое на той или иной территории.

Сукцессия (*экол.*) — смена одного экологического сообщества другим; эволюция сообщества во времени.

Сулейман — царь Соломон, понимавший, по преданию, язык животных и растений.

Тандыр (*туркм.*) — глиняная печка для выпечки чурека.

Ташакор (*нушту*) — спасибо.

Тельпек (*туркм.*) — высокая туркменская баранья шапка, надеваемая обычно поверх тюбетейки или повязанного на бритую голову платка.

Топонимика — наука о географических названиях.

«Умывальники» (*тарус., муж.*) — не служившие в армии студенты младших курсов МГПИ (МГПУ), проходящие полевую практику.

Фарсанг (*фарси*) — восточная мера длины (около 7,5 км; варьирует в длине в зависимости от трудности пути).

Фенечка (*разг.*) — носимое самодельное украшение, безделушка.

ФР (*студ.*) — физиология растений.

Ханум (*фарси*) — уважаемая женщина.

Харам (*фарси*) — гарем.

Хувайда (*фарси*) — в хорасанском эпосе — сказочная пустыня; всегда таит в себе массу опасностей, но и много прекрасного, манящего и интересного.

Ценоз (*биол.*) — сообщество организмов.

Чегалар (*туркм.*) — ребенок.

«Чемен» (*туркм.*) — крепленое туркменское вино.

Чин (*фарси*) — в хорасанском эпосе — сказочная восточная страна.

Чурек (*туркм.*) — туркменская лепешка, хлеб.

Шахзаде (*фарси*) — принц, царевич, молодой наследник престола; мотается по горам и пустыне, верша добрые дела.

Шурави (*нушту*) — гражданин СССР.

Экологическая ниша (*биол.*) — абстрактное пространство, объединяющее критические для животного или растения параметры жизнедеятельности (местообитание, укрытие, пищу, воду, прочие ресурсы, время активности и т. д.); «профессия» вида в экологическом сообществе.

Экосистема (*биол.*) — совокупность всего живого и неживого на той или иной территории.

Эндемик (того или иного региона) — вид, обитающий лишь в пределах данной рассматриваемой территории.

Этология (*биол.*) — наука о поведении животных.

БЛАГОДАРНОСТИ

Ну, вот и все. Теперь — самое приятное: мой поклон всем тем, кого я хотел бы поблагодарить.

Богу — за все, мне посланное, и судьбе — за то, что она складывалась именно так, а не иначе.

Моим родителям — за то, что они вовремя произвели меня на свет, предоставив шанс пожить именно в наше удивительное время, и за все прочее, что они для меня сделали и делают.

Моей жене, стойко идущей со мной через орнитологические и прочие передряги, в которые мне вольно или невольно приходилось и приходится ввязываться.

Моим детям, которые у нас так удачно родились и которые своим интересом к «сказочной взаправде» в немалой степени стимулировали меня на мой рассказ.

Наташе, Игорю и Стасу, без которых Западный Копетдаг никогда не смог бы состояться для меня так, как это произошло на самом деле.

Моим друзьям, составляющим несущую основу моего бытия (господа, прекратите глумление, я говорю всерьез! И придержите бокалы: я еще не закончил!).

Моим недоброжелателям — за своеобразное разноцветие эмоций, дополнительно расцветивающих мою жизнь, отменяя в ней все хорошее. И заодно — мои искренние извинения всем тем (и друзьям, и наоборот), кого я ненароком или специально когда-либо обидел.

Профессору А. В. Михееву, который взял меня под крыло еще в бытность мою второкурсником и который был и будет

для меня примером неустанного трудолюбия и человеческой порядочности.

Моим учителям и коллегам из Московского государственного педагогического университета, вместе с которыми я живу в прекрасном мире географо-биологической науки, дарящей всех нас счастьем работы в природе и общения с интересными, увлеченными людьми.

Моим студентам, вечно галдящим вокруг и олицетворяющим для меня само будущее и продолжение всего того, что для меня столь дорого и важно («Вольно!..»).

Моим попутчикам в экспедициях, которые так часто помогали мне в трудные минуты и сами принимали мою помощь без счетов и формальных расшаркиваний (мужики, все заходите на огонек!).

Моим знакомым (и туркменам и русским) из Ашхабада, Кара-Калы и Сюнт-Хасардагского заповедника, а также — всем моим друзьям-иностранцам из разных стран — за помощь в понимании иных культур.

Многим замечательным талантливым людям разных времен и народов, чьи мысли, песни, строки и картины пробуждали брожения в моей душе. Ссылок на их имена я не приводил. Отчасти чтобы не уподоблять этот текст наукообразному трактату, но главным образом — дабы не поминать имена великих всеу.

Всем вам, мои дорогие читатели, за то, что зашли ко мне в гости, и за ваш труд приобщения ко всему, о чем шла речь (если интересуетесь, на Интернет есть электронная версия «Фасциатуса» с парой сотен фотографий; милости прошу!).

Особо — всем тем, кто, может быть, напишет мне (fasciatus@yahoo.com) о своих впечатлениях от этой книжки (не важно, положительных или отрицательных).

Заранее — тем, кто еще починит в Павловской Слободе подвесные мостики через Истру, или восстановит в Тарусе базу геофака, или сохранит в Едимново то, что там еще можно сохранить, или же сделает что-нибудь подобное в тысячах других хороших мест.

Коллективу издательства «Армада-пресс», трудами которого эта рукопись стала книгой.

Ястребиному орлу, Копетдагу, луне и солнцу за то, что они есть.

Всем моим будущим приключениям за то, что они и сегодня манят меня куда-то так же, как и много лет назад, когда я впервые ехал в далекую и загадочную Туркмению, лишь пытаюсь угадать, что же я там увижу, и уже смутно предчувствуя, что меня ожидает впереди что-то важное.

Спасибо!

С. П.



ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие автора	5
1	7
2	9
Ворон	11
Встреча с юннатами	13
«Сидела птичка на лугу...»	21
Ястребиный орел	25
Личное дело	27
3	29
Стас	30
Крик осла	33
4	34
Пешеход	35
5	44
Птицы и овцы	45
Коллектив и личность	48
С ветерком и с песней	50
Золотая середина	51
Иду по Кара-Кале	52
Альбинос	55
На черный день	55
«Пароксизм довольства»	58
6	59
Галаксий	62
Турач	62
7	64
Конджо	64
Червячок врозь	66
«Сними портрет!»	66
Завидующие глаза	68
Авдотка	68

8	70
География	71
Западный Копетдаг	72
Архивы	75
9	77
10	78
Казан-Гау, вечер	79
Змея	81
Гнездо стервятника	83
11	84
Птичье молоко	86
Канатик на курятника	87
Валентин	91
12	99
«Кутарды»	100
13	101
Ишаки	102
14	105
15	106
16	107
Вода и закон джунглей	107
Зеленая жаба серого цвета	109
17	112
18	113
Чандыр	114
Як-истребитель	126
Что-то с фонарями	127
Ода шляпе	128
Полевой дневник	129
19	137
Змея	137
Бамар	141
Твари летучие, твари ползучие	142
Дойка	143
Как глотать	146
Шрамы на руках	147
Выпей яду	149
«Тихо, девки...»	150
20	152
Пустынный снегирь	152
Черный аист	154
21	156
Дикобраз	157

День пограничника	158
Под фонарем	159
Дракон с шершавым хвостом	160
Объектив	163
22	165
Добровольцы	165
23	166
Русский гость	168
Разговор	173
Дружба с петлей на шее	174
«Позолоченное брюхо»	175
«Хотите семечек?»	177
24	179
А. Б. Калмыков и пустынная куропатка	180
Грибной снег	183
Кваканье в сугробах	185
Коммунальная квартира	185
«Не бывает налыса»	187
Зимняя ночевка черной амебы	189
Гастроном-архитектор	190
Белое ухо	193
Алиса	194
Пол-лисы	196
Ну и дела...	197
25	199
Афганистан	200
Ночь в Кабуле	214
26	218
Вечная весна?	219
Чибис	220
Странно	221
Зоосюр	221
Хохлатая молодежь	223
Четыре раза по сорок сорок	224
Моббинг	226
Двупятнистый жаворонок	228
Шашки наголо	228
Охота балобана	229
Прикол в Кизыл-Атреке	231
27	234
28	234
Степной жаворонок	234
Эротический цемент	235

Зеленые усы	238
Саксетания копетдагская	239
Вниз головой	241
Черепаша на лету	242
Радость кровососа	243
29	244
Удод	244
Почти галки	245
Дополнительный орган	245
Совы в масштабе	247
Разноцветные филины	247
Запасные детали	248
30	254
Шакалы	258
31	259
«Огненный мустанг?»	260
Черный коршун и Чача	261
За кордоном	264
Суперменские щенки	268
32	270
Новая Земля	271
Начало	273
Ашхабад	273
Кизыл-Арват	274
Дым отечества	277
Кара-Кала	278
ВИР	280
Топонимика	281
Трагикомедия-экспромт	282
33	283
Студенты	284
Дубонос	287
«Курица — не птица»	287
Детям до шестнадцати	288
Каменный цветок	289
Дискриминация цветных?	290
Народный контроль	293
Пустельга	293
Муравьи на небе	295
Пустынный жаворонок	296
«Болел в детстве...»	298
Полоз Полозу глаз не выкусит	300
Батарейка для комикадзе	301

34	307
«Сучья мясо»	310
Кошки-собаки	311
Сантименты	312
Фиг поймешь	318
Каменка-плясунья	319
35	322
«Из точки А в точку В»	322
36	331
Место под солнцем	333
Головастик	335
37	341
38	343
39	345
Чижик в Павловке	346
Акула на кафедре	360
Пеночка в Тарусе	363
40	370
41	371
Отступление про наступление	377
Винты	378
«Драка с милицией»	381
Птичий рынок	385
«Прикоснуться щекой...»	387
Намаз	390
42	402
Птенец и шурави	403
«Летающая баня»	406
43	412
Жажда с акцентом	412
Кормящий отец и Вовик	423
44	427
45	432
46	433
«Пикник на обочине»	442
Эпилог	449
<i>Словарь терминов</i>	458
Благодарности	464

К ЧИТАТЕЛЯМ!
Издательство просит отзывы об этой книге
присылать по адресу:
127018, Москва, ул. Суцеский вал, д. 49
Издательство «Армада-пресс»
Телефон редакции: (095) 795-05-43

Оптовое-розничную продажу книг производит
Торговый дом «Школьник» по адресу:
Москва, ул. Малые Каменщики, д. 6, стр. 1А (м. «Таганская», радиальная)
Тел.: (095) 912-15-16, 911-70-24, 912-45-76

Полозов С. А.

П 49 Фасциатус (Ястребиный орел и другие); Худож. Ермаков А. В. — М.: Армада-пресс, 2001. — 480 с.: ил. — (Зеленая серия).

ISBN 5-309-00212-X

Фасциатус — название красивой и редкой птицы, известной в нашей стране, как ястребиный орел, или длиннохвостый орел. Он совмещает соколиное изящество, телосложение и быстроту полета с силой и мощью орла. Встретить эту великолепную птицу можно в Туркмении, Казахстане и на юге Европы.

Сергей Полозов — орнитолог, долгие годы наблюдавший за повадками пернатых. Человек с внимательным взглядом он замечал многое, что проходит мимо сознания других людей. Привычка записывать свои замечания в дневник привела к тому, что у автора собрался обширный материал о наблюдениях за птицами, встречах с людьми, раздумьях о жизни. Листочки дневника постепенно, как камешки мозаики, сложились в картину окружающего мира, и часть этой картины мы предлагаем вниманию нашего читателя.

УДК 82-311.8(02)
ББК 84(2Рос=Рус)-44я5

РЕДАКЦИЯ
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Литературно-художественное издание

Зеленая серия

Полозов Сергей Александрович

ФАСЦИАТУС

Ястребиный орел и другие

Заведующая редакцией
М. Л. Жданова
Ответственный редактор
Л. В. Лобанова
Художественный редактор
А. В. Ермаков
Технический редактор, компьютерная верстка
С. А. Шубёнкин
Корректор
Т. С. Дмитриева

Подписано к печати 17.05.01. Формат 84x108¹/₃₂
Бумага типографская. Гарнитура «Ньютон». Печать офсетная
Усл. печ. л. 25,5. Тираж 7000 экз. Заказ №

ООО «Армада-пресс»
109428, Москва, 1-й Вязовский пр., д. 5, стр. 1
Изд. лицензия ИД № 01276 от 22.03.00

Издание осуществлено при участии издательства «Дрофа»

ООО «Дрофа»
127018, Москва, ул. Суцеский вал, 49
Изд. лицензия № 061622 от 07.10.98

**По вопросам приобретения продукции издательства
«Армада-пресс» обращаться по адресу:**
127018, Москва, ул. Суцеский вал, 49
Тел.: (095) 795-05-50, 795-05-51. Факс: (095) 795-05-52